

ОКтябрь

Сухбат Афлатуни

ПЕНУЭЛЬ

Дмитрий Александрович

Пригов

ХОТЕЛОСЬ БЫ
ПОЛУЧШЕ, ДА...

Анатолий Найман

ТЕСНЫЙ МИР

Гай Валерий Катулл

ВСЕ ВЕНЕРЫ,
ВСЕ ГРАЦИИ...

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

9 2007

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Сухбат АФЛАТУНИ
Пенуэль. *Повесть* 3

Дмитрий Александрович ПРИГОВ
Хотелось бы получше, да... *Стихи* 74

Анатолий НАЙМАН
Тесный мир. *Из цикла рассказов* 78

Дмитрий ТОНКОНОГОВ
Три стихотворения 88

Алекс ТАРН
Одинокий жнец на желтом пшеничном поле. *Рассказ* 90

Ирина БОГАТЫРЕВА
Сторонник. *Рассказ* 108

Искусство перевода

Гай Валерий КАТУЛЛ. Все Венеры, все Грации...
Стихи. Вступление и перевод Алексея Цветкова 119

Из литературного наследия

Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ. *Две новеллы*
Вступление и публикация Вадима Перельмутера 123

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Национальное сознание: размышления и споры

Владимир КАНТОР
Бесы versus Мадонна 138

Игумен Вениамин (НОВИК)
Христианские персонализм и дионисизм
Ф.М. Достоевского 146

Григорий ПОМЕРАНЦ
Божий след в творчестве Достоевского 153

Тамара ЖИРМУНСКАЯ
«Над гробом друга / Нельзя на Бога не восстать...» 156

Валерий МИЛЬДОН
От Раскольникова к Смердякову 161

Там, где
Анна САМУСЕНКО. Не столько книжный, сколько летний 167

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Здесь и сейчас
Мария РЕМИЗОВА. Девяносто пять процентов 171

Близко к тексту
Дмитрий БАК. Биография двойным пунктиром (Александр Гордон. Не утоливший жажду).
Сергей СОЛОУХ. Склонение Генделева (Книга о вкусной и нездоровой пище).
Владислав ПОЛЯКОВСКИЙ. Век начинается в субботу (Марианна Гейде. Слизни Гарроты).
Евгений СИДОРОВ. Светлый дар (Евгений Храмов. Куда вы уходите, люди)..... 175

Андрей ВОЛОС. Больше раствора? 186

Литерный ряд

Григорий ЗАСЛАВСКИЙ. Мечта о невесомости 189

Главный редактор
Ирина БАРМЕТОВА

Редколлегия:

Алексей АНДРЕЕВ	зам. гл. редактора
Инесса НАЗАРОВА	отв. секретарь
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	зав. отделом критики

Олег ЖЕЛЕЗКОВ	отдел прозы
Валерия ПУСТОВАЯ	отдел прозы
Анна САМУСЕНКО	отдел публицистики
Наталья СОЛОГУБ	главный бухгалтер
Елена ЛАПШИНА	референт гл. редактора

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский,
Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин,
Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов,
Людмила Петрушевская, Сергей Юрский

**Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
и Федерального агентства по культуре и кинематографии**

Адрес редакции: 125040, Москва, А-40, ул. «Правды», 11/13
Телефоны: главный редактор – 614-62-05, заместитель гл. редактора – 614-63-64,
ответственный секретарь – 614-34-44, отдел прозы – 614-51-68, 614-69-37,
отдел поэзии – 614-62-05, отдел критики – 614-71-34, отдел публицистики – 614-51-68,
коммерческий отдел – 614-79-49, приемная редакции – 614-31-23

© «Октябрь». 2007. Электронная версия журнала <http://magazines.russ.ru/october>
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте

Учредитель – трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь»
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Подписано к печати 20.08.07. Формат 70x108 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8. Учетно-изд. л. 21,6
Тираж 4000 экз. Заказ № 9. Цена свободная

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»
105005, Москва, ул. Фридриха Энгельса, 46

Пенуэль

ПОВЕСТЬ

Часть I. СТАРЕЦ И ЕГО ПРАВНУК

Можно уже говорить?

Да.

Родился я одна тысяча восемьсот девяносто девятом году. Как потом объяснили, год Кабана. При чем тут Кабан?

(Молчит.)

Говорят – звезды. Не знаю. Когда родился, Кабана не было. Потом появился Кабан. Когда советский человек в космос. Гагарин, потом Титов. Герман Титов. Не знаю.

Сто шесть лет. Теперь все, конечно, уважают – и цветы: «А, вам столько лет! Натя подарок». Врачи ясность сознания у меня выявили. Один даже хотел диссертацию, с конфетами всё лез. На мне диссертацию. Ничего не написал, зря на гостинцы тратился. Восхищался организмом. Пульс щупал, конфеты со мной это самое. Диссертацию так и не писал, наука, потом говорит, бессильна. Зачем старался? Заранее не знал, что бессильна? Ясность сознания. Могу жить полностью независимо. Большую и малую нужду – всё самостоятельно. Так что могу вот этим гордиться.

Родился где? В городе Ташкенте, в новой части. Ташкент, он тогда уже был. Маленький, правда. Не то, что сейчас: о! дура огромная. Тогда – все поблизости. Переводится: каменный город. Таш – камень. Кент – каменный город. По-русски то же самое: Таш-кент. Удобное для всех название. Детство прошло как бы в сумерках.

В сумерках?

Да. Сейчас человек не успеет из матери выбраться, его уже на фото, пожалуйста. На дорогую пленку, как он ползет или матом «а-а!». Ты вот мне объясни: зачем на это деньги, а? Он сам потом стесняться таких своих портретов станет.

Все-таки фото – дело основательное, на всю жизнь и после, для истории. Сосредоточиться нужно, волосы водой пригладить. У меня от всего детства одна только карточка. Зато от нее воспоминания все, какие для памяти требуются. Вся семья на ней в лучшее оделась, в самую парадную одежду, из сундука. Отец – лицо серьезное, кулаки на колени; мать к нему голубкой прижалась. И меня рядом посадили: готовое продолжение рода.

Вот это вижу отчетливо, у фотографа, и как мать душилась, чтоб красивой выйти. Как фотограф под черную тряпку лезет. Вспышку помню... Остальное хуже. Помню, иду. И люди вокруг тоже идут. Одеты как? По тогдашней царской моде. Сейчас в такое не. Может, только в сумасшедшем доме. Хотя они там, наверно, голые. В своем этом доме. Ты не знаешь, они там как?

Хорошо, не буду отвлекаться. Просто любознательный. Всю жизнь интересовался, чем мог. Газеты с киоска килограммами.

Раньше другой мир. Наверху царь, под ним главный министр. Под министром – все народ, как муравьи такие: тип-тип-тип. Кровь и слезы проливали, да оркестр играл. Родители брали нас оркестр смотреть. Труба! Очень тонкий инструмент. Неправильно дунешь – уже не звук, а гороховая каша.

Войска ходили. Мимо типографии, где отец с матерью. Отец наборщиком, мать на другой работе, потише. На службу с собой не брали, строгости. Только разок. А мимо солдаты, с винтовкой. Про царя поют, проходим улыбки. Я тоже прохожий, в гуще шапку к небу бросаю. Так кричал – горло заболело, голоса лишился.

Болел тогда много, из ушей вода. Медицина наука была слабая: одна касторка и порошок в рот не взять. Порошок тайно плевал. Хотел офицером. Из винтовки стрельнуть и на трубе. Вперед, за мной! А меня, наоборот, в одеяло. Одеяло у узбеков купили, пыльное, жаркое, чужой душой пахнет и козым молоком как будто.

Сколько из меня пота вышло, благодаря одеялу и выздоровел. А на трубе так не поиграл. Дарований не хватило, и случая не было. И детей на трубе не подготовил, хотя при советской власти каждый на трубе мог учиться сколько хочешь. Школы были, и дамы в них сидели музыкантши. Пу-пу, пу-пу-пу.

О братьях рассказы.

А что рассказывать? Трое их было, я четвертый. Все умерли. Еще сестра была. Вышла она за одного за нашего железнодорожника, с Бородинских. Сейчас где депо. Сам с Поволжья. Как там голод поднялся, говорит: всё, точка, везу родителей, пусть здесь кормятся-выживают. Прыг на поезд – и канул в бездну.

Девочка надулась, как матрас для плавания, и поплыла. От обиды. Над нагретым до голубизны асфальтом. Позвякивали сандалики.

Мы шли с Яковом мимо этой девочки, шли очень быстро. Все время ее обгоняли, чем только нагнетали обиду. Ей хотелось обогнать нас. Но это было невозможно.

Ее губы шевелились от зависти. Тонкие ноги с прозрачными колготками пытались идти быстро. Можно было, конечно, побежать. Полететь, пронестись мимо нас, обдав ветром превосходства. Но бежать было не по правилам, а девочка любила правила. Она любила правила, как мороженое, как запах из пудреницы. Как кот, который терся об ее тонкие ноги, за что получал колбасу и любовь.

Она снова отстала. Дрожали губы.

Но Яков не видел девочку и ее горе. Думаю, что он не видел даже меня.

Считалось, что он меня любит.

«Коля! Слава! Рустам! Паша!» – долго звал он меня именами других правнуков. Он не мог запомнить моего имени. Оно выскальзывало из его памяти и плыло зеленоватой рыбой. Он смотрел на уплывающее имя и повторял: «Коля. Слава. Рустам».

Меня назвали в честь него. Яковом. Чтобы позвать меня, ему было достаточно повторить собственное имя.

Игорь! Паша! Азизка!

Я подходил.

Он облегченно улыбался пустым ртом.

Мы шли гулять. Яков с Яковым. Мужчина с женщиной. Русский с русским – по подогретой, как вчерашний ужин, ранней улице.

Мы шли так медленно, что нас перегоняло даже солнце. Когда мы доходили до конца улицы, был уже закат. Небо горело, тело покрывалось пленкой страха. К счастью, конец улицы был моим домом. Нам мыли руки и запускали за огромный стол, ужинать.

Но девочка не могла нас обогнать. Яков ее вообще не видел. Когда я рассказал ему о ней, он только спросил: «Внучка?». Люди делились для него на внуков-правнуков и все остальное, несущественное для него человечество.

На то чтобы понять, что жизнь уходит, – уходит целая жизнь. Передо мной сидит Яков, стучит указательным пальцем по клеенке и диктует свое прошлое.

Он может умереть каждую секунду. Но вместо этого продолжает вспоминать.

Закрываю глаза и вижу, как в церкви съеживаются свечи, потом седые женщины выдергивают комочки из золотых гнезд и бросают в ведра.

Я открывал глаза и снова видел Якова и его стучащий палец с темным ногтем.

...Сестра, она, конечно, ждала и справки о муже все пыталась. А что пытаться, кругом поезда не ходят. Блокаду сняли, а толку. А тут она со своим мужем и мокрым платком. На нее, кстати, как на одинокую, сразу напозлили кандидаты. Но сестра себя держала и, если что, могла кулаком объяснить. Я ей тоже помогал: одного, который перед ней все кандидатом крутился, чуть не убил, потом он долго со мной не здоровался.

А я уже тогда жил отдельно, вечером на гармошке. Были тогда в моде гармошки, девки их любили и гармонисту фору давали, мы и старались.

(Разводит руками и шевелит пальцами.)

Сколько поцелуев на мои губы тогда свалилось, даже не знаю. Всех разом сложить, взрыв будет. Работал в Бородинских. Паровозы красил. Красные звезды через трафаретку. Целый день звезды трафаретил, вечером отдых, гармошка.

Ты скажи мне, гармоника-а. Где подруга моя. Где моя сероглазынька. Не помнишь дальше? Где моя серогла-а-азынька.

(Кашель.)

Молодость. Самое такое время биографии. Хотя сифилиса было, с фронтов сифилис вагонами везли. Крепко мое поколение с этой болезнью дружило. А я... ничего. Средство одно знал. Съешь – и как рукой. И давай дальше с гармошкой.

А тут вечером прихожу, гармошку шмяк и сапог с ноги пытаюсь. Гляжу, в темноте моя родная сестра сидит. Она ведь на той же улице. Сидит и на меня неясным взглядом.

Поздоровались. Сидим, молчим, керосин в лампе тратим. Она молчит, я тем боле. Раз пришла, сама пусть первая и докладывает.

Она и начала. «Я пришла, Яков, чтобы ты меня насильничал».

«Что?» – подпрыгиваю.

«Вот, что слышал. Не могу больше. Сон видела. Что стою у окна, занавесочку мну и Митеньку своего жду. Тут ты прямо из окна и одежду с меня

рвешь. И чтобы не кричала. Потому что, объясняешь, как с тобой это сотворю, так твой Дмитрий Алексеевич и вернется».

У меня от этого рот как на пружинах открылся. Где такое написано, чтоб братья сестер?

А она говорит: «Цель благородная».

Так если, говорю, кто узнает, разговор пойдет – и в тюрьму.

А она говорит: кто ж узнает? Клянусь, говорит, лежать тихо, без маневров. Главное, мужа верни.

А если, говорю, не вернется?

Она молчит, про себя борется. Тогда, говорит, жизнь кончу. И снова молчание.

Легли.

Лежим деревянные, потолок разглядываем.

Помнишь, говорю, как мы с тобой лавку краской красили?

Она кивает: помню, ты весь перемазался и еще, дурачок, радовался. И мне волосы помазать собирался.

«Вот именно», – говорю.

Лежим, не знаем, что друг с другом делать.

«А помнишь...» – говорю.

А она: «Яша, если у тебя мужское затруднение, то я немного водки с собой».

Нет, говорю, тогда это уже совсем, как у собак с кошками. Устал просто сегодня, а так я пружинистый.

Она лежит, плачет, кажется. А я не знаю, с какого места ее начинать. Может, ей, дуре, поцелуй требуется для разогрева дизелей. Хоть голая, все-таки не чужая. И вообще. С разбегу такое не делается.

Чую, прижались мы друг к другу на моем лежаке. Ладно, думаю. Зажмурился, как перед горьким порошком, и обнял ее, родную, мокрую от страха.

Тут в ворота и постучали.

Муж приехал?

Он самый. Шурин. С матерью своей на спине. Мать легкая, оголодавшая. Как дитя, только седое.

Да, такая вот радость. Хорошо хоть одеться успела, грешница. А я вроде больной, из постели здороваюсь.

Пошумели, поплакали, ушли. Лежу, думаю: вернутся. Так и есть, здрастье еще раз. У сестры вода кончилась, а у меня, как назло, целое ведро. А шурин с дороги пыльный, вшей привез зоопарк целый, воды ему подавай. Стала сестра его моей водой. Воду на него, скелета, расходует и все задом перед ним крутит. А на мне его мать сидит и смотрит на все.

Потом ушли, мне мать оставили и лужу от помывки. Мать уснула, ее на сундук, был у меня сундук как раз ей по размеру.

А я встал водку искать, от сестры аванс. Не нашел. Значит, унесла. Обидно стало, думаю, сейчас разбужу эту на сундуке, пусть к ним. А то сейчас у них там любовь на всю катушку, а мне кости на сундук накидали, и спасибо. Потом думаю, нет, пусть лежит, я ж не животное, ее гнать.

А шурин, как отъелся, стал сестру снова обижать. Она ко мне бегала, защитника искать. Вот, думаю, не надо было купать его так сразу и моим ведром. Тусклый он мужик, и мать у него, как ни зайду, абрикосовые косточки колет и в рот.

Вот так.

Ты скажи мне, гармоника: где подруга моя?

Где моя сероглазынька, с кем гуляет она?

Ташкент мне всегда казался большой сковородкой. Плоский, жирный, с буграми подгара.

Вдоль горизонта бежала девочка: «Они посмотрели на наши трусики! Они на них смотрели!».

И ослепли, наверное.

Я медленно шел по сковороде. Сверху текло солнце, смешанное с хлопковым маслом. Деревья не спасали. Тень от них такая же горячая. Обжигающая тень.

Плюс сорок по Цельсию. Такой шутник этот доктор Цельсий. Выдумал температуру, при которой плавятся деревья и испаряется трава. А сам жил во влажной Европе, хранимой добрым ангелом Гольфстримом.

Ангел Гольфстрим, машущий голубыми атлантическими крыльями. Виновник нежных газонов и облаков из клубничного йогурта. Плюс сорок? Вы шутите, доктор. Такого не бывает. Вы шутите, говорю вам.

Рыжее солнце шумело в ушах.

Пра открыл калитку. Забыл сказать, «Пра» – так мы звали его, Якова.

Длинное, как обгоревшая спичка, лицо.

Мне всегда страшно обнимать старых людей. Вдруг они умрут в моих руках? Старость в плане смерти непредсказуема. Я обнимал их осторожно, как аквариум с водой и беременными рыбками.

Я стоял, обнимая Пра. Яков обнимал Якова. Молодость прижимала к себе старость, изучая свое сухое морщинистое будущее.

Он отделился от моего тела.

Стоял напротив, солнечный и хитрый. Выловил из кармана вставную челюсть. Облизал, пристроил на десна.

«Ты кто?» – спросил он меня.

«Я – Яков».

«Я – тоже, – обрадовался Пра. – Заходи».

14 июля 1918 года в парке Свободы города Ташкента состоялось собрание киргиз-казахов.

Шевелились обветренные губы, вверх и вниз двигались руки, не попадая в такт наполозавшему полонезу.

Стучала быстрая степная речь.

На собрании было решено создать в Ташкентском уезде организацию коммунистов-большевиков из киргизов. 24 беднейших киргиза вступили в партию.

Им горячо хлопали.

В тот же день, 14 июля 1918 года, в саду военного клуба Самарканда состоялся городской митинг, на котором коммунист товарищ Гуца призвал вести борьбу с заговором буржуазии.

Было жарко, но слушали внимательно. С деревьев на митинг падали муравьи и сухие листья. Муравьев давили по привычке ногтями, как вошь.

В тот же день была распущена Андижанская городская дума.

В тот же день Председатель Туркеспублики товарищ Колесов составил радиogramму вождю товарищу Ленину: «В момент смертельной опасности жаждем слышать Ваш голос. Ждем поддержки деньгами...».

Радиogramма была отправлена на следующий день. Она выползла длинной вермишелиной в накуренном, как мужская уборная, Кремле.

Молодая республика была в опасности.

В тот же день в районе Кувинского участка селения Кара-Тепе было совершено нападение басмачей. Раскаленный воздух прорезало несколько пуль австрийского производства. Глиняный дом горел медленно. Уже не дом, а труп дома. Люди из него бежали, роняя громкие сухие звуки. В самом доме еще можно было видеть лежавшего на полу человека. Он лежал в позе зародыша, поджав к подбородку бурые от крови ноги. Во дворе горел виноградник и лаяла, задыхаясь от дыма, привязанная собака.

В тот же день в Ташкенте состоялось открытие Практической школы ремесел. В школе имелось семь отделений: дамского пошива, мужского

пошива, шляпное, корзиночное, переплетное, сапожное и промышленно-художественного рисования.

В тот же день в городе Коканде состоялось собрание коммунистов-чехословаков. Собравшиеся единодушно осудили вмешательство чехословацких частей в дела красной России.

В тот же день в Ташкенте были поставлены первые опыты по лечению летаргии. «Борьбу с этим заболеванием, - сообщали газеты, - считавшимся при царской власти неизлечимой, объявили красные ташкентские медики...»

В тот же день Яков открыл глаза и увидел часть своего носа и потолок.

Окно было открыто, на нем сидела кошка цвета мокрой глины и вылизывала когти.

14 июля 1918 года мой девятнадцатилетний прадед поднялся с лежачка и потянулся, растопырив руки, так, что пальцы чиркнули по стене и на подушечках осталась побелка.

Комната была длинной, как коридор, который никуда не вел.

В конце коридора сидела мать и двигала иглой.

«Проснулся, странник?» – сказала она.

Подвижная нитка зачеркивала ее лицо по диагонали.

Яков зевнул и пошел во двор по утренним делам.

А мать осталась в комнате с ниткой. Моя прапрабабка с ниткой. Надо спросить у Якова, как ее звали. У нее должно было быть тяжелое, как сахарница, русское имя. Лукерья? Аграфена?

Не спросил.

В восемнадцать лет себе невольно нравишься.

Даже когда в руках грязным ребенком надрывается голод. И ты прижимаешь его к пустому животу, и по всему организму эхо.

14 июля 1918 года для облегчения мук голода имелись деревья с яблоками, персиками, грушами и другими дарами красного Востока.

Яков умывал лицо. Оно оказалось таким грязным, что не хватило умывальника и пришлось доливать из ведра, в котором плавал шмель.

Пальцы Якова выловили шмеля за желтое купеческое брюхо.

В потревоженной воде качалось лицо Якова, шея и плечи. Потом все это перелилось в умывальник. Шмель остался лежать на земле.

Когда Яков состарился, он попросил себе женщину.

Постель его была длинна, как ночь. Он ложился в одном ее конце, просыпался в другом. Там, где он ложился, пахло вечерней старостью. Там, где он просыпался, пахло утренней старостью.

Подушка была набита камнями, смазанными жиром, чтобы не стучали друг о друга ночью. Но камни все равно стучали. От этой музыки Яков просыпался.

«Ты здесь? Ты здесь?» – спрашивал Яков Бога. Он боялся засыпать без Него.

Ночь молчала. Только по слабым признакам догадывался он о Его присутствии. Шепот невидимой птицы. Наплыв ветра. Внимательный взгляд ящерицы.

Где-то в темноте спал и вздрагивал мелкий рогатый скот.

Якову становилось холодно. Вначале начинали зябнуть ноги. «Зачем вы зябнете? – разговаривал Яков со своими ногами. – Разве вы не укрыты богатым одеялом? Разве вы не прогрелись днем, бродя по песку?». Ноги молчали.

Холод двигался по телу. «Что это за земля, где женщины начинают рожать в глубокой старости, а у мужчин...» – и Яков бормотал что-то про мужчин. Но то, что он говорил, слышали только его ноги. И кончики пальцев – они тоже начинали мерзнуть. «Ты здесь? Ты здесь?» – спрашивал Яков.

Утром Яков умылся и объявил всем свою волю.

Мне нужна девица, сказал Яков. Я не буду с ней спать, добавил Яков и оглядел толпу.

Толпа состояла из рабов и родственников. Толпа молчала. Якову не нравилось это молчание. Когда евреи молчат, это не к добру.

Она будет согревать мою постель, закончил Яков и устало закрыл глаза.

К старости вся мудрость скапливается в веках.

Весь холод – в ногах.

Ночью под одеяло к нему просочилась женщина. «Я самая теплая из дочерей Вениаминовых», – здоровалась она.

Яков не слышал. Он спал.

Я тоже родился 14 июля. Но это не имеет никакого значения.

В день, когда я родился, ничего не произошло. Все события моей жизни были истрачены Яковым. Проглочены им, как занозистая хлебная пайка.

Иногда маленьким меня приводили к Якову и забывали у него. На день или два.

Яков лежал на большой кровати с газетами. Ноги Якова были раскинуты буквой Я. У кровати был церковный запах. Я залезал к Якову и его газетам. Его ноги были моей крепостью. Ступни – башнями. Солдатики двигались по ногам Якова. Шел бой.

У Якова жила молодая некрасивая женщина. Я иногда встречался с ней на кухне. Передвигаясь по квартире, она топала. «Почему она топает?» – спрашивал я, выглядывая из-за крепостных рвов и башен.

«Жизнь у нее была тяжелая», – говорил Яков, переворачиваясь на другой бок, отчего мои крепости рушились, неприятель вторгнулся и убивал людей. Проливалась кровь. Я падал лицом в песок и думал о зареве. Улыбка Ленина грела меня через покрывало с черными точками песка. Женщина, наполненная до краев тяжелой жизнью, топала между кухней и верандой. Я кусал покрывало, отчего оно делалось мокрым и противным, а изо рта долго не выплевывались волоски.

Нет, это подлинные письма.

Я списал их с книги «Письма трудящихся Туркестана В.И.Ленину». Иногда мне хочется все списать с книг, потому что в книгах хоть что-то происходит.

У меня не происходит ничего, кроме черно-белого движения строки.

Ничего. Только эта любовь, которая хлынула на меня, как груда пыльных детских вещей с верхней полки.

...Джизакский исполком на экстренном заседании 1 сентября 1918 года, обсудив телеграфное известие о покушении на апостола коммунизма товарища Ленина со стороны паразитов пролетарского тела в лице буржуазии, объявляет террор капитализму и смерть посягателям на вождей.

...Первое краевое совещание заведующих женотделами мусульманских секций, приветствуя вождя мировой революции тов. Ленина, выражает твердую уверенность, что в деле раскрепощения женщины-мусульманки заложен прочный фундамент. Пробуждающиеся от вековой спячки труженицы Туркестана не останутся в стороне от общего дела! Да здравствуют освобожденные от векового рабства женщины-мусульманки!

...Красное знамя, гордо развевающееся над Туркестаном, не дрогнет в руках красного Ташкента. Красный Северо-Восточный фронт вместе со своим горячим приветом далекому Центру шлет из своих запасов к празднику второй годовщины Октябрьской революции в подарок детям-школьникам красной Москвы: сухих фруктов 230 пудов, рису 200 пудов, муки 1000 пудов, 1 цистерну хлопкового масла.

...От исполнительного комитета советов Самаркандской области Туркестанской АССР. С отъезжающими на съезд заведующими коммунотделами послать тов. Ленину в подарок ящик виноградного вина разных сортов и 10 пудов кишмиша. Да будь счастлив и здоров, дорогой Ильич!

Познакомились на вечеринке.

Лето. Стоим, сидим и лежим в каком-то дворе. Измученно цветут розы. С виноградника летят опьяневшие от солнца муравьи. Вся скатерть в муравьях, все тарелки с бедным студенческим пловом. Выпив, некоторые стали есть муравьев. Они были кислыми и вызывали пьяную жалость.

Она стояла в конце двора. Лицо испачкано вишней.

Я давно уже шел к ней. Шел и не мог пройти. Постоянно наткнулся на чью-то движущуюся на меня рюмку. В рюмке обязательно плыл муравей, я чокался. Пил. Она стояла в конце двора возле крана, из которого текла теплая вода.

Раскося, темная, в белой майке. На майке, чуть ниже груди, сидел кузнечик.

Я осторожно снял его.

Кузнечик оказался сухим виноградным листком.

«Я думал, что это кузнечик», – говорил я, растирая пальцами листок.

Из пальцев текла листовая пыль.

Кстати, звали ее Гуля.

«Ты все еще пионерка?» – спросил, глядя на красный значок на ее майке.

«Это мой любимый человек».

«Кто?»

«Ленин».

Я посмотрел на Гулю и ее любимого человека.

«Ты любишь Ленина?»

«А ты?»

«Мне больше нравится Че Гевара», – сказал я, глотая пиво.

«Да, его легче любить».

«Легче любить?»

Нет, она не дура.

Чем больше мы говорили, накачиваясь муравьиным пивом, тем больше это понимал. Не дура.

«И вновь продолжается бой!» – заорал я, запрыгивая на лестницу, прижатую к забору. – И сердцу тревожно в груди!».

Потом мы целовались возле грязного канала, обросшего ежевикой. Когда прижимались, значок врезался в мою грудь. Попросить снять я не мог: губы были заняты. Под конец мы потеряли равновесие и чуть не упали в вонючую воду.

Так был открыт сезон поцелуев.

Встречались почти каждый вечер. Пачкались мороженым. Она рассказывала мне о Ленине; я слушал и болтал ногами.

Ленин был прелюдией. Говорила она о нем торопливо, во всем обвиняла Крупскую: не доглядела старуха. Весь детсадовский эпос, все эти снегири и лесные гномы, которых кормил дедушка Ленин, – все это вываливалось на меня снова, между поцелуями и кока-колой. Постепенно ее дыхание становилось частым, глаза плыли, в них просвечивал лунатизм. Тогда я падал на нее губами, и недоеденное мороженое таяло рядом на скамейке, и подбегавшая собака слизывала его.

В остывающих паузах она снова вспоминала о Ленине.

Вспоминала, как он провалился под лед Финского залива, и изо рта у него вырывались теплые, смешанные со слюной пузыри.

...В восточном вопросе съезд примет все меры, чтобы перебросить стальной мост мусульманским массам, уничтожить всякое господство недоверия. Съезд уничтожит все языы, продолжающие поныне мешать нашим историческим заданиям. Мы все швырнем к ногам пролетариата, и последний наш вздох будет за социальную революцию. За освобождение многострадального, поработанного Востока громкое, могучее ура!

...Пятая конференция горняков Туркестана шлет горячий привет вождю рабочего класса и великой пролетарской революции тов. Ильичу. Горняки Туркестана чувствуют ту боль, которую переживает тов. Ильич при постигшем Поволжье несчастье и обещают напрячь все силы для облегчения этой боли.

Да здравствует великий вождь пролетариата тов. Ильич!

...В знак преданности и признательности мы, члены Ферганского областного комитета партии коммунистов: Бедняков – председатель, члены: Щепанов, Эйнгорн, Исеев, Ходжаев, Саясов – секретарь, шлем Вам 30 фунтов сушеного изюма (по-фергански кишмиша), 30 фунтов урюка (который так обилён в Фергане) и 30 фунтов риса.

Просьба наша, ещё раз обращаемся к Вам, не забывать о нас, далеких соседях Востока.

«А ты в его Мавзолее была?»

Мы шли уже где-то в наступившей осени.

Лиственные деревья наполнились мусором. В лужах темнели каштаны. Сезон поцелуев и выдохшейся колы исчерпал себя; мы молча стояли перед пропастью. Пропасть была неширокой, но прыжок все откладывался. От летних встреч на губах остались болячки.

«Нет, не была»

О чем она? А, Мавзолей. Я спросил о Мавзолее. Спросил, чтобы о чем-то спросить. На краю пропасти нужно разговаривать, общаться. Так легче.

Мавзолей, часовые с замороженными глазами. Гуля смотрела под ноги и пинала листья. Нет, она не была в Мавзолее. Зачем ей там бывать? Для нее он жив по-другому.

Знаю я, как он для нее жив. Закроет глаза, когда на скамейке губами бодаемся, и догадываюсь, кого она вместо меня себе рисует. Бегу потом домой, лезу в зеркало. Не похож!

В такие минуты я хотел ее ударить. Но только сильнее целовался. Отсюда болячки.

Мы двигались по Пушкинской. Куда-то шли. Просто гуляли.

Я вспомнил, как однажды в детстве я шел здесь с Яковом. У него была болезненно длинная тень, я все время наступал на нее и извинялся, а он смеялся. Иногда встречные мужчины вынимали ладонь из правого кармана, готовясь к рукопожатию с Пра... «Пра, ты это построил, да?» – показывал я на Саларский мост. «Я строил», – говорил Пра, снова подсовывая мне под ноги свою тень.

Никаких мостов он не строил. Охранял один недостроенный. Который потом все равно исчез.

«Мы все были тогда строители», – говорит Яков, стуча ногтем.

В дождливый день она позвала меня к себе. В районе «Ганги». Семья уезжала в Газалкент на похороны. Гуля срочно придумала сердечную боль. Ей сунули под язык валидол и включили телевизор, который она ненавидела.

Я видел, как они выходили из девятиэтажки и залезли в «Жигуль». Большая узбекская семья. Папаша инкрустирован золотыми коронками.

Я наблюдал за ними из подъезда, сквозь первые капли дождя.

«Жигуль» поехал, угостив на прощанье кислым дымом.

Сверился с адресом.

Я стоял перед прямоугольником сухого асфальта, оставленного уехавшей семьей. Прямоугольник быстро темнел.

Я думал, что вся ее комната обклеена Лениным.
Не была.

Гуля лежала в углу, маленькая, в маленьком халате, от которого пахло другой женщиной, возможно, ее матерью.

Стены были голыми, в веселых цветочных обоях.

Я склонился над ней. Мы бесшумно поздоровались губами. Ее ротовая полость была пропитана валидолом.

Мы лежали; за окнами качался дождь. Гуля рассказывала о смерти Ленина. Потом перешла на телеграммы, которые посылали Ленину трудящиеся Туркестана. Помнила их наизусть.

«Ну как?» – спрашивала она после каждой телеграммы.

«Класс, – отвечал я. – Только это же все пропаганда».

Она отворачивалась к стене. К пестрой стене в мелкобуржуазных обоях.

...Ташкентский уездный съезд Советов, состоящий исключительно из рабочих и дехканских масс, выслушав доклад о Вашем выздоровлении и начинании управлять рулем мирового корабля для угнетенных народов, избрал Вас единогласно почетным председателем съезда и приветствует в Вашем лице весь мировой пролетариат и угнетенные народы Востока.

Ну как?

Вспомнил, как ждал ее в метро. Станция была пустой, качались вывески. Рядом пристроилась пара. Я сидел к ним спиной. По их голосам догадался, что они держатся за руки. Захотелось встать и уйти.

Остался и стал подслушивать.

Он говорил на непонятном языке. Она отвечала по-русски.

«Дымдымдым», – сказал парень.

«Стол», ответила девушка.

«Жимжим?» – спросил он.

«Собака», подумав, откликнулась она.

Урок иностранного языка. Он проверял, как она запомнила «дымдым» и «жимжим». И держал ее за руки.

«Гымгымгав?».

«Я хочу есть».

«Пить!».

«Да, пить».

«Я хочу есть – будет: хымхым-ау».

«Я знаю», – резко сказала девушка.

Они замолчали. Пришел поезд. Вылезли люди. Поезд уехал, качнулись вывески.

«Фуфумымы».

«Меня зовут Лена».

«Бубубушиши».

«Я живу в Ташкенте».

«Нет».

«...Я живу в Москве».

«Нет!»

«Я... Я живу...»

«Нет! Нет!»

«Я никогда не выучу это долбаный язык!» Она вскочила, вырвала руку и понеслась к эскалатору.

Он тоже вскочил: «Лена! Лена, мышшиши хы гвым-гвым!»

Она остановилась.

Снова бросилась к эскалатору, ошиблась дорожкой. Наконец, эскалатор подхватил ее и потащил наверх.

Парень вернулся на скамейку; сунул тетрадку в пакет. Пробормотал: «Хрышиши... пушиши...».

На станцию врывался поезд.

«Они скоро приедут, – сказала Гуля и оттолкнулась от меня, как от лешки в бассейне. – Идем куда-нибудь».

Она отплывала, качаясь в сырых сумерках.

Я разлепил глаза.

Каким клеем сон успел заклеить мне веки на этот раз? Иногда это был едкий канцелярский клей, иногда – вкусный ПВА. Иногда сон просто проводил по векам своим языком, как по конверту. Веки уснувших летаргическим сном склеены клеем «Момент» с надписью «Бережь от детей!».

Комната успела потемнеть. Гуля стояла у открытого шкафа, из которого падала одежда.

«Скоро они придут. Идем куда-нибудь».

«Куда?»

Быстро оделся. Одежда успела стать чужой. Направился в туалет. И еще причесаться. До этого я не человек.

Она все стояла около шкафа. Одежда продолжала тихо падать.

Весь туалет был в гномиках. Я сел и начал нервно крутить в руках осветитель «Яблочный» и читать инструкцию на украинском. «Чудово усугае неприемни запахи». Мне казалось, что они поднимаются по лестнице. На унитазе лежали скомканные детские колготки.

Выскочил в коридор. Гуля прикалывала к груди звездочку с Лениным: «Идем?».

«Куда?» – снова спросил я.

«Куда водят тех, кого лишили невинности?»

«В кафе “Буратино”».

Мы пошли в кафе имени этого деревянного человечка. Асфальт затянуло пленкой воды; мы утробовались под один зонт и мокли по бокам. От ветра спицы били по затылку. По пути мы заходили в подъезды и помогали друг другу согреть сырые, заочевенные губы.

Мы пережевывали шашлык.

До “Буратино” так и не дошли. Устали от дождя и луж, упали в первую кафешку. Официантка с сиреневыми ногтями принесла обернутое в мокрый полиэтилен меню и уксус для шашлыка. Потом тряпку и стала тереть.

«Раньше этой тряпкой протирали гильотину, – сказал я, принюхиваясь холодным носом. – Давай уйдем отсюда».

Но официантка уже шла на нас с охажкой дымящихся палочек.

«Мне кажется, из меня продолжает течь кровь», – задумчиво сказала Гуля.

Ела она с аппетитом.

В воскресенье ездили на Чарвак.

Поездку придумала Гуля. Я был вяло против. Купаться холодно, что еще делать у водохранилища? Можно целоваться, но после той субботы поцелуи вдруг стали безвкусными, словно промытыми кипяченой водой.

Хотелось нормальной любви. В нормальной постели, с одеялом, наволочкой и матрасом.

И все же мы целовались. И довольно озверело. Горный воздух, наверное. Воздух дрожал между нашими губами. Мы пересекали его, как реку Чаткал, протекающую где-то в небе.

«А от поцелуя можно стать инвалидом?» – спросила Гуля.

Я задумался.

Постояли возле памятника козлу. Козел весь в завязанных на счастье грязных тряпочках. У меня только платок; и вообще, не нужно козлиного счастья.

Это я пошутил, чтобы Гуля улыбнулась, а то стоит грустная.

Около Юсупхоны спустились к воде. Воды было мало, долго шли по бывшему дну. Наконец, дошли до воды. В ней, несмотря на осень, носились головастики.

«Морозоустойчивые головастики», – сказал я.

«Это мальки».

Я посмотрел на Гулю и пошевелил обкусанными губами.

«Я биолог», – сказала Гуля.

Когда она успела стать биологом?

До сих пор уверен, что это головастики.

На обратном пути зашли к Гулиной подруге. Подруга жила недалеко от плотины, и работала на ней.

Звали ее Эльвира.

Это имя ей так же не шло, как и ее поблекшее за тысячу стирок платье. Как большие ладони и узкие глаза. Говорила она громко, с шорохом, как будто в складках вылинявшего платья припрятан микрофон.

Я смотрел, как она бодро, с хрустом обнимает Гулю.

Дом ее был глиняным, во дворе пахло коровами. В воздухе плавали крупные широкозадые мухи.

Заведя нас в комнату и почти запихнув за стол, Эльвира исчезла.

Стол украшал чайник и печенье «Зоологическое».

«Эльвира – святой человек», – сказала Гуля.

Я кивнул.

Вернулась Эльвира с пионерским галстуком на шее.

«Тот самый?» – спросила Гуля.

«Тот самый», – кивнула Эльвира и стала разливать чай.

Пиала была надтреснута, стали просачиваться капли. На клеенке заблестела лужа.

«У меня есть немного водки, – сказала Эльвира, посмотрев на меня. – Могу принести».

«Не надо», – ответил я.

«Я всегда для гостей держу. У меня ведь мужчины тоже бывают», – добавила она и покраснела.

До этого я не замечал, как краснеют смуглые люди.

Лицо Эльвиры стало похоже на гранат.

«Я вот тост хотела сказать и чокнуться, если не возражаете».

«Говори, Эля, никто над тобой смеяться не будет», – сказала Гуля и строго посмотрела на меня.

Первый раз посмотрела на меня строго.

«Может, проголосуем?» – спросила Эльвира.

Мы подняли руки, чтобы Эльвира сказала тост.

Другими, свободными от голосования руками, мы держались под столом и ломали друг другу пальцы.

«Кто продолжает заботиться об этой плотине, носившей его имя? – говорила нараспев Эльвира. Кто продолжает заботиться о нашей планете? И мы понимаем, как важно сегодня любить этого человека... За Ильича!»

Эльвира выпила залпом чай, задохнулась и со стуком поставила на стол. Заела зоологическим печеньем.

«Жаль, у меня уже ленинских книг почти не осталось, – говорила Эльвира, дожевывая кролика из печенья. – Последний раз, как течь в плотине

ночью почувствовала, схватила остаток от полного собрания, в сумку – и бегом к плотине. Обидно, конечно. Хотела “Материализм и эмпириокритицизм” на черный день оставить, да что уж там».

«И что вы сделали с книгами?» – спросил я, устав от своего молчания.

«Что сделала? В воду покидала. Потом водолазы в то место спускались. Да, говорят, все заделалось».

«И вы в это верите?»

Я посмотрел на Гулю, ожидая, что она попытается меня остановить. Гуля спокойно пила чай и водила пальцем по клеенке. Совсем как Пра.

Эльвира встала и вышла из комнаты.

Тут же вернулась, держа перед собой миску с мытым виноградом и кувшин с молоком. С миски летели капли.

«Когда любят, – громко сказала она, – приносят себя в жертву. Я всю жизнь любила двух мужчин – Ленина и своего мужа Петю. Ленина духовно, а Петя аквалангистом работал, получал премии. Кстати, мог всю ночь не кончать...»

Было слышно, как Гулин палец водит по клеенке.

«Когда разошелся, – глухо сказала Эльвира, – только мне Ленина и оставил. А оказалось, что так даже лучше. Теперь у меня и дом есть, и коровы, все благодаря ему».

«Как это *благодаря*?»

«А так. Если у человека есть вера...»

«А в Бога вы верите?»

«Верю», – сказала Эльвира.

«И в Ленина?»

Эльвира кивнула и быстро поцеловала галстук.

«А то, что Ленин приказы отдавал людей расстреливать?» – почти крикнул я и даже сам испугался своего голоса.

«А если человеку ночью сено в рот засовывают и поджигают, что ему делать?» – крикнула Эльвира.

Рот у нее был приоткрыт, над верхней губой выступили капли пота.

«Какое сено?» – спросил я.

Эльвира отвернулась.

«Разве ты поймешь? Ты не женщина, и муж от тебя не бежал, и на плотине не живешь. Только скажи, честно мне скажи: жалел ты его в детстве, когда о смерти его узнал? Жалел или не жалел?»

Гуля перестала водить пальцем по столу и тоже смотрела на меня.

Перед глазами стучал паровоз. Ползли шпалы. Раздваивались, разбегались, снова срастались. И снова ползли.

Ветер вырывал из трубы дым.

...службы пути и телеграфа, г. Ташкент. Под гром аплодисментов собрание постановило пожелать Владимиру Ильичу скорейшего выздоровления, встать на корабль СССР, взять руль в свои руки и довести его до светлого и цветущего коммунизма...

...рабочие самаркандского узла, как маленькая частичка всего рабочего мира, надеются, что ты в скором будущем с нашей незначительной для тебя помощью вступишь на работу и поведешь за собой к светлому будущему...

В поезде ехал гроб. Он качался и вздрагивал на стыках.

Ни гром аплодисментов, которые посылали ему из Ташкента, ни пожелания от маленькой частички из Самарканда, ни другие пролетарские знаки внимания не могли разбудить вождя, заснувшего тяжелым зимним сном.

Проносились ветви. Ветвились и качались шпалы.

Я сидел возле теплого телевизора с перевязанным ангинным горлом. А поезд все ехал, все тащил холодное тело из точки А в точку Б.

В точке Б торопливо готовились траурные речи и обед для своих. Что на нем ели? Сушеный ферганский урюк. Тарелки с кишмишем и чищенным грецким орехом. Все обдавали кипятком, борясь с дизентерией.

Но я этого не знал.

Я жалел Ленина.

«А зачем сейчас от своего детства отказываешься?» – спросила Эльвира.

Я не знал, зачем я отказываюсь от своего детства.

Два раскосых глаза смотрели на меня, обдавая невидимым кипящим маслом.

«Поздно уже, – вдруг поднялась Гуля. – Ехать пора».

«Да-да, поздно... – вскочила и закружилась Эльвира. – Сейчас печенья вам соберу, в дорожке погрызете... Гуль, могу я его об этом попросить? Ну ты знаешь, о чем».

И, не дожидаясь ответа, Эльвира протянула мне ладонь: «Пожми мне на прощанье руку, товарищ. Только долго пожми, ладно? Совсем я уже без вашего пола научилась жить, а без рукопожатий не могу, вот и прошу об этом...»

Я посмотрел на Гулю. Она стояла, улыбаясь, в дорожной куртке. Левый рукав измазан глиной.

Протянул руку Эльвире. Ее ладонь оказалась внутри моей. Она была шершавой и влажной, как газета, которую заталкивают в обувь для просушки. Я сдавил ее и потряс, как это делают при рукопожатиях.

Истощенно тикали часы, а я все жал и тряс руку, которая казалась Гулиной рукой, но доказать это в сумерках было невозможно. Во дворе мычала корова, и плоды хурмы болтались на ветру, еще слишком вязкие для того, чтобы их есть.

Эльвира вышла в мужских туфлях сорок страшного размера. Она нас провожала.

«Там была его голова», – говорила она, тыча пальцем выше плотины.

Голова Ленина на бетонном кубе. Рельеф или барельеф, всегда путаю. Потом сняли, теперь на месте головы большая ленинообразная дыра.

«А я даже рада, друзья, что его сняли, – сказала Эльвира. – Чем меньше изображений, тем лучше. Изображения – это идолопоклонство. Я вот ни одного портрета у себя не держу, все в воду побросала. А теперь зато около этого места открылась белая дыра».

«Кто?» – переспросил я.

«Не кто, а что, физику учить надо, – обиделась Эльвира. – Есть во вселенной черные дыры, а есть, значит, и белые, которые счастье приносят. А Земля – часть вселенной, у нас, значит, тоже эти дыры есть, и черные, и белые, и еще, может, какие, которые пока от науки скрываются. А вот там, где раньше его голова стояла, там белая. Я там свадьбы сейчас организую. Я же в загсе два года работала, сейчас частную практику хочу открыть, чтобы квалификацию не терять».

При слове «свадьбы» Эльвира с плотоядной надеждой посмотрела на нас.

«Ладно, приезжайте еще, – остановилась она. – Ты, товарищ Яша, рыженький наш, Гулю люби и защищай. А когда будешь целовать, то на губы сильно не напирай, а лучше поцелуй ей по отдельности каждый глаз. Потом возьми руку, между пальцами на руке поцелуй и ее грудь не оставь без внимания...»

«Эльвира!» – сказала Гуля.

«Гулечка, я же как старший товарищ советую. Главное, Яша, от детства не отрекайся, детство – самое коммунистическое время жизни. Гуль, ты расскажи ему потом о стеклянном человечке, который детство ворует. Жил здесь такой раньше, еле прогнала. Не забудь рассказать, обещаешь?»

Целую. Целую вас крепко, товарищи. И тебя, Гуля, в глаза целую и в грудь, и тебя, рыженький, туда же... А что? Товарищи мужчины тоже любят, когда им грудь языком тревожат. Приезжайте!».

Больше мы туда не приезжали.

Только дня через три я увидел во сне, как иду ночью по дому Пра.

Под ногами хрустит песок. Открывается дверь на кухню. На кухне свет. В самом ярком месте сидит Эльвира в расшитом золотом платье. Перед ней миска с молоком. Эльвира чистит над ней большой гранат. Красные зерна падают в молоко. Туда же капает сок. Молоко становится розовым, Эльвира глядит на меня и все сыпет зерна.

Гуле об этом сне я рассказывать не стал.

Эльвира напомнила другую женщину. Самую первую. От которой я запомнил только горячее яблоко колена.

Мы ехали в одном троллейбусе. Троллейбус умирал и оживал и все тащился по направлению к Дружке. Мы дергались, приклеившись ладонями к поручням.

Она покачивалась рядом. С большими базарными сумками, раздутыми, как две опухоли.

Несколько остановок по мне двигался ее взгляд.

Вначале я почувствовал его на затылке. Потом он влажно скатился по шее и пополз по спине, постепенно согреваясь. На пояснице он уже был таким горячим, что я повернулся и посмотрел на нее.

Так взрослые ищут взглядом маленького идиота, пускающего им в лицо солнечные зайчики.

Горячая капля на пояснице набухла, вздрогнула и скользнула вниз.

«Пойдем со мной», – сказал ее голос.

Мы вышли из троллейбуса. Я нес ее сумки.

Когда мы вошли в лес девятиэтажек, она положила мне на глаза ладонь. Она не хотела, чтобы я запомнил дорогу. Ладонь пахла сумками и поручнями троллейбуса.

Стали подниматься. Под ногами застучали ступеньки. Она вела меня, как слепую лошадь.

Мы вошли в квартиру, она сняла с меня ладонь. В коридор вышли дети: «Это наш новый папа?». «Да, на сегодняшнюю ночь это будет ваш папа», – сказала женщина и стала доставать из сумок продукты.

Потом мы сидели на кухне и слушали, как шипят котлеты. «Останься у меня», – сказала она, опуская мне в тарелку котлету и сухие комья гречки. В котлете отблескивала кухонная лампа.

Потом я звонил домой и лгал, а она вытирала руки об халат. Было слышно, как дети за стеной кидаются друг в друга гречкой.

Сколько ей было лет? Может, двадцать. Может, сорок. Есть женщины, заспиртованные в одном возрасте, как уроды в кунсткамере.

Но она была красивой. Колено.

Потом я помогал детям собирать железную дорогу. Поезд носился по рельсам и сбивал маленьких человечков, которых мы заботливо укладываем на его пути.

Наконец я отлепился от детей и зашел в спальню. Она стояла над кроватью и трясла простыней. «Как тебя зовут?» – спросил я. Она посмотрела на меня и опустила простыню. Простыня вздулась воздушным куполом и медленно осела. Мы легли. Было холодно.

В спальню заглянули лица детей.

«Что смотрите? – сказала женщина. – Несите скорее презерватив. Или вы хотите еще братика или сестренку?»

«Нет, лучше собачку!» – крикнули дети и бросились выполнять поручение.

«Они знают, что такое... презе...?» – спросил я, замерзая.

«Это было первое слово, которое они научились говорить, – ответила женщина. – А еще они на английский ходят».

Потом мы замолчали, потому что говорить было не о чем.

И я познал ее.

Утром мы наблюдали мокрый снег. Я увидел длинный кухонный нож у изголовья кровати. «Если бы мне было с тобой пресно, я бы тебя убила, – объясняла она, заправляя кровать. – И если бы слишком сладостно – тоже».

Я посмотрел на нож, на нее, потом на свои голые руки и живот. В окне продолжался снег.

«А как тебе со мной было?» – спросил я. И получил сырую тишину вместо ответа.

И снова ее ладонь была на моих глазах – она уводила меня из своего дома. И дети громко прощались с балкона и кидали вслед какую-то дрянь. А я все пытался поцеловать эту ладонь.

Больше мы не виделись. Через день я заболел и врал родным, что наелся снега. Постепенно сам стал верить, что это я упал в снег и медленно его кусал, пережевывал и заглатывал. И снег таял во мне, превращаясь в весеннюю воду.

Я долго думал, что у всех мужчин первый раз это происходит так же. Троллейбус, постель, нож. Очень долго так думал.

Шла осень. Нам с Гулей нужно было где-то встречаться. Нужна была некая точка в мировом пространстве, желательно с кроватью. Я ломал голову; Гуля смотрела на меня и поднимала с земли листья. Наполовину желтые, наполовину – зеленые. Как будто борьба осени с летом шла внутри каждого листа.

«В Ташкенте надо создать специальный парк для влюбленных, – говорил я. – С кабинками. Назвать Садам радостей земных».

«Такие парки уже есть. Только называются не так красиво».

«Где? Ты знаешь адрес?»

«Не знаю, – отворачивалась Гуля. – Тебе надо, ты и узнавай. У меня до сих пор все болит».

Золотистый Ленин с укором глядел на меня с октябрьской звездочки. И тогда я вспомнил о Якове.

У Якова в доме было четыре комнаты.

У Якова были глуховатые, забитые песком времени, уши.

Яков радовался моим редким приходам. Ему нравилось, как я пью с ним чай. Ему нравилось мое ухо, куда безболезненно укладывались его километровые рассказы.

Я хотел записать его на диктофон. Молодость Якова прошла под гул сражений и войны с тифом. Он писал на паровозах «да здравствует», прикладывая трафаретку. По вечерам он болтался с гармоникой, и кривоногие сарты* глядели на него со смуглым любопытством.

Я привел к нему Гулю без предупреждения. Гуля стояла причесанная, блестя сразу двумя значками, пионерским и октябрьским.

Калитка была открыта. Мы вошли в грязный плодоносящий сад. На земле гнили и пузырились мухами яблоки. На смоковнице сидел соседский мальчик и объедался. Увидев нас, он с достоинством слез и удалился.

Его трусики мелькнули над забором и исчезли.

«Яков! – позвал я. – Яков!».

Тишина.

«Яков! Я-я-яков!»

«А какое у него отчество?» – спросила Гуля.

«Не знаю».

* Одно из названий оседлых жителей Туркестанского края.

«Странно все-таки у русских. Придумываете всем отчества, а сами их не любите».

Во дворе потемнело. Погасли золотые Ильичи на груди.

«Может, уснул, – сказал я. – Уснул или...».

Я представил, как мы заходим и натываемся там на его опустевшее тело. Как я начинаю куда-то звонить, путая цифры.

«Какое у него все-таки отчество?» – сказала Гуля, оглядывая двор. Мальчик подсматривал из-за забора, чтобы снова вернуться на дерево, где ему было так хорошо и интересно.

Надо было войти в дом. Вместо этого я обнял Гулю. Ткнулся носом в ее щеку. У нее были какие-то новые духи: сухие, осенние, с запахом айвы.

Пра стоял на пороге и смотрел.

Мы отшатнулись друг от друга. Гуля спрятала лицо в ладони.

Яков подтянул брюки и стал искать в кармане инструмент речи.

Мы пили чай с тортом и сухарями. Торт принесли мы. Яков посмеялся над тортом, но на стол его допустил.

«Гостите, – смотрел на нас Яков. – Гостите и делайте, что вам там надо. Комната у меня о! – цыганочку плясать можно, а вы молодые. Только не прибрано, Клавдия вон обещает мне все субботник, а не дождешься. И крыша шалит, протекать стала».

Я махал руками: ничего, сойдет.

«Родился я одна тысяча восемьсот девяносто девятом году», – начал Яков, глядя на Гулю.

«Да, у меня дедушка тоже очень долго жил. Все из-за горного воздуха. Дышит и живет. Когда, ругается, я уже умру? А сам все горным воздухом дышит».

Яков слушал внимательно. Несколько раз подносил к губам чашку, но не пил.

«А вы видели Ленина?» – спросила Гуля.

«Я его голову на поездах рисовал. Хороший был вождь. За это Каплан в него палила из пушки. Все от бабской ревности».

Он снова посмотрел на Гулю.

И спросил ее что-то. Я не понял что. Это было на узбекском, который я не знал. Гуля улыбнулась и ответила. Еще вопрос. Ответ, улыбка. Вопрос. Они засмеялись.

«Пра, Гуля прекрасно говорит по-русски», – попробовал я проникнуть в их беседу.

Они не обращали на меня внимание. Они весело разговаривали.

В середине разговора Яков заснул.

Гуля стояла и рассматривала картинку. Картинка была вырезана из журнала и криво приклеена скотчем к стене. Часть скотча отошла и почернела.

Я с детства знал эту картину с желтым голым мальчиком на красном коне.

Раньше не понимал, почему конь такой красный, а мальчик такой голый и не стесняется. Мне казалось, что в трусах все было бы гораздо красивее. Потом я узнал, что и лошади могут быть красными, и мальчики – не такими, как нас заставляли быть с детства. Но я был обычным – раздевался только под шумящим душем, когда никто меня не видел, и никакие лошади не дышали в мое мокрое плечо.

«Ты на него чем-то похож», – сказала Гуля, проведя пальцем от уха мальчика до его впалого, напряженного живота.

Там, где прошел ее палец, краски стали ярче. На кончике Гулиного пальца застыл полумесяц пыли.

Мы бесшумно вышли из комнаты. Для нежности оставалось совсем мало времени.

Спальня состояла из динозавра железной кровати и двух книжных полок. На полках темнели банки с огурцами.

Кровать расстелена и горько пахла свежим бельем. Когда Яков успел постелить эти простыни? Простыни были наждачными от крахмала и брезгливо отталкивали человеческое тело. Я снял их. Они были не нужны.

Гуля стояла с простыней и смотрела, как я сдираю с себя рубашку и борюсь с рукавами.

В каких позициях мы с ней только не пробовали.

Сплетясь и перекатываясь по хрипло рыдавшей кровати.

Забравшись под потолок, где от нашего дыхания двигалась паутина.

Упершись пятками в подоконник, а ладонями – в полки с огурцами.

Сползая по стене вниз головой.

Раскачиваясь на оконных рамах.

В этой позиции нас увидел снова соседский мальчик на смоковнице. Смоква выпала из его рта и полетела на землю.

Яков проснулся от холода. Потрогал скатерть.

Где-то хлопали рамы. Надо включить телевизор. Глядя в телевизор, Яков немного согрелся.

Правда, звук из телевизора давно исчез. Испарился куда-то, вытек. Яков пробовал принять меры; пару раз стукнул по нему кулаком. Когда Яков был нестарым и сильным, это помогало. Теперь телевизор плевал на его кулаки.

Тогда Яков притащил к телевизору радиоприемник и стал включать их вместе.

«Нет, это не дело, – сказал Яков, дрожа от холода. – Радио телевизору не товарищ. Попрошу этого... пусть он стукнет. Он молодой, кулаки свежие».

Мы стояли в дверях и смотрели, как он дует на пальцы, пытаясь их согреть. Хотя в комнате было тепло, изо рта у него шел пар.

Я бил по телевизору кулаками.

Не помогало. Мелькали кадры немого кино. Ползли и раздваивались какие-то рельсы.

«Молодежь, с техникой обращаться не умеет», – говорил Яков. Гуля сидела в шали, которую опустил на ее плечи Яков, и пила чай.

Внезапно прорезался звук.

«Вот теперь – другое дело. Айда последние новости слушать».

Шел прогноз погоды. Потом стали показывать фильм про человека, который ходил и охранял мосты. Человек дул в холодные руки, потом доставал из кармана маленького человечка и вел с ним разговоры.

«Такие фильмы делают для того, чтобы их не смотрели, – сказал Яков и потянулся к выключателю. – Все хочу написать им, чтобы комедии хорошие снимали».

Изображение исчезло, уступив место отражению комнатной лампы и отпечатку ладони посреди экрана. Потрескивало статическое электричество. «Пусть лучше кинокомедии делают».

Я нащупал Гулино колено под столом и сжал его.

Яков растянул гармошку.

«Нам пора идти», – сказал я.

Гуля кивнула: «Отец за опоздание ругать будет».

Я вспомнил золотые зубы.

«Что, отец гармонь не любит?» – нахмурился Яков.

«Любит», – неуверенно сказала Гуля.

«Тогда скажи ему, что тебе дедушка Яков на гармонике романсы пел».

Гармошка чихнула пылью; красный в прожилках глаз Якова подмигнул Гуле.

«Ты скажи мне, гармоника: где подруга моя?» – запел Яков.

Вставная челюсть вылетела из поющего рта и упала в остатки торта. Соседские дети, подглядывавшие в окно, засмеялись.

«Провод на заборе наматаю и ток пропущу, – говорил через несколько минут Яков, вернув себе дар речи. – Леденцами кормить не буду!».

«Мы пойдем, наверное», – сказала Гуля, вставая.

«Куда – пойдем? – расстроился Яков. – Я вам главного не спел. Вы мне только ее, сукину дочь, придержите...»

И потыкал пальцем в челюсть.

Выходя от Якова, натолкнулись на женщину. Она стояла в воротах, расширяясь и зорко глядя на нас. Резкая тень от нее тоже, казалось, смотрит на нас снизу.

Мы обнялись.

«Навестать приходил? – строго поглядели женщина и ее тень. – Или домом интересуешься?»

Я поклялся, что просто навещать.

«Смотри, а то старик еще не помер, дай Бог ему здоровья и спокойной смерти, а наши уже зашевелились, дележку устраивают. А я адвоката наняла, тоже не дура, правильно? Что, я буду ждать, когда дом от меня уплывет, что ли? Я ж в эту недвижимость кровь и пот свой вкладывала, правильно? А остальные думают: с тортом сегодня пришли и завтра они наследники. Я правильно говорю?»

Я вспомнил ее. Тетя Клава. Золотая тетя Клава. Работала в кассе цирка, проводила нас, сопливых, с заднего входа на елки. В благодарность мы целовали ее щеки, похожие на апельсины из елочного подарка.

Мы попрощались с ней и пошли, а она все кричала нам в спину: «Я ведь правильно говорю? Правильно? Правильно? Или нет?..»

Я проводил Гулю до дома. До девятиэтажки.

До квартиры провожать не стал. Мерещился ее отец, лязгающий золотыми коронками.

Мы устало целовались перед лифтом.

Двери то закрывались, то открывались. Гуля нажимала на кнопку, ее палец просвечивал красным.

«Можно, я буду называть тебя “Солнышко”?» – спросил я, прощаясь.

«Можно. А я тебя – “Ильич”, идет?»

«Почему Ильич?»

«Да так... Месячные все никак не начинаются».

Она шагнула в лифт и поплыла сквозь этажи, закрыв лицо ладонями.

...Приветствуя Коммунистическую партию, собрание женщин-работниц Самарканда шлет свой сердечный привет великому вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину и от всего сердца пролетариата желает ему скорейшего выздоровления. Мы ждем Ильича снова у руля мирового пролетарского корабля.

Да здравствует международная солидарность пролетариата!

...Привет вождю мировой революции шлет красная молодежь Бухары. Выздоровливай поскорее да и за работу!

«Я, кажется, ошиблась с подсчетами, – говорила она на следующий день. – Они завтра начнутся. Завтра, как штык».

Мы стояли в ее подъезде, я вытащил ее звонком, сонную, в час ночи.

«Послушай, Ильич, иди домой. Мои все спят».

«Идем, я скажу им, что мы женимся».

«Дурак, они тебя убьют, расчленят и спустят по частям в мусоропровод. Кто ночью такие вещи делает?»

«Хорошо, я подожду утра».

«Утром они на работу».

«Днем!»

«...на работе».

«Вечером...»

«...смотрят ящик – не оторвешь».

«Когда?»

«Никогда! Никогда. Они мне уже определили жениха».

Она провела рукой по моему свитеру. У меня заболела кожа, как будто пролили смолу. Так было со мной один раз, когда наверху смолрили крышу. С неба упала тогда черная капля и застыла на голой коже.

«Он сейчас в Штатах, на приданое вкальвует».

Теперь капли смолы летели на меня дождем.

«Лакей мирового империализма...»

«Да, типичный лакей и ревизионист. Недавно мешок помады прислал. Я теткам раздала...»

Мы озверело целовались.

Внезапно я потерял ее губы.

«...зачем ты меня превращаешь в животное, зачем, ну скажи, зачем ты превращаешь меня в животное, в животное, зачем?..»

Слезы соленым молоком текли по ее щекам, губам, подбородку. Я тихонько слизывал их.

«Солнышко, я не превращаю тебя в животное».

«Нет, превращаешь, зачем, зачем ты меня в животное, я не хочу животным...»

«А кем ты хочешь быть?» – крикнул я.

Эхо разносило мой крик по этажам.

Гуля замолчала. «Никем. Маленьким листиком. Маленьким-маленьким листиком».

«Я буду твоим деревом».

«Ты будешь костром, в котором я буду долго и добросовестно дымиться».

Она еще рассказывала про свою семью, но я не запомнил.

Ночь закончилась снегом.

Я вышел из Гулиного подъезда и оказался среди беспокойного пространства. В воздухе трудились тысячи кристаллов.

По тротуару двигалась дворничиха. Она сметала снег и пыль в маленькие мазонские пирамиды.

«Знаете, что я делал всю ночь?» – спросил я вольную каменщицу ливня, снега и мусора. – Целовался в подъезде».

«Одолжи, сколько не жалко», – сказала дворничиха.

Я сунул ей какие-то бумажки и пошел в сторону метро, ловя языком снежинки.

За ночь понаросло глиняных заборов со спрятанными в глубине птицами. Ржавыми голосами пели петухи.

Дорога в метро оказалась долгой, вся в заборах и петушиных криках. Или вдруг десяток мужчин перекрывали путь, неся на плечах скелет паровоза. Один из них, солдат, проводил меня долгим женским взглядом.

Наконец, я шагнул в какую-то яму. Это и было метро. Подошел состав. Темные трубы тоннеля всосали меня, и я поплыл, вжав лицо в пропахшие подъездом колени.

Я ехал в метро и представлял, как отвожу Гулю к врачу.

Врач – мой ровесник, даже похож на меня. Постепенно я понимаю, что он специально стал похож на меня, он перенял мой голос и перекарсил в мой цвет волос. Все для того, чтобы я верил и не ревновал. Потому что многие не выдерживают. Под белым халатом прячется шрам от ножа, след птицы-ревности. Поэтому врач гримируется под тех мужчин, которые приводят к нему своих больных подруг.

Он просит Гулю раздеться. Я смотрю, как она снимает через голову платье, как ее лицо на секунду исчезает в скомканной материи. Он тоже смотрит и пишет в истории болезни. Потом подходит к раковине и долго моет лицо и полощет рот. Потом берет спирт и протирает свои губы и кожу вокруг них. Подходит к Гуле. Смотрит на меня. Прикасается губами к Гулиной спине. «Дышите!». Гуля дышит. Я тоже для чего-то дышу. «Задержите дыхание». Задерживаем. Он водит губами по смуглой, в мурашках ужаса, Гулиной спине. «Дышите». Теперь его губы у нее на груди. Я вижу слой грима на его лице. Ему очень хотелось выглядеть, как я.

«У вас в легких – посторонний воздух. Это не воздух современности, – говорит он Гуле. – Вам не стоит прятать его там».

Гуля молчит. Я смотрю на обрезки своих волос на голове врача. Теперь он прослушивает губами сердце. «У вас сердце человека, сорвавшегося с отвесной скалы», – говорит он Гуле.

Гуля кусает губы и смотрит перед собой, на таблицу для проверки зрения. Таблица выключена из розетки, буквы в темноте. Потом она закрывает глаза – он трогает своими сухими медицинскими губами ее веки. «Глядя на предметы, вы пытаетесь увидеть их прошлое, их историю. Отсюда нагрузки на зрение. Чаще занимайтесь зрительной гимнастикой. Глаз вверх-вниз! Вправо-влево!»

Он опускается на корточки. «Теперь я должен исследовать ваш мавзоль». Прикасается губами к животу.

«Нет! – кричит Гуля, отшатываясь. – Не дам!»

Я прихожу ей на помощь и сбиваю врача с ног. «Вы должны мне за осмотр! – кричит он на полу. – И за грим! Я так старался, чтобы быть похожим на вас, чтобы между нами возникло доверие!»

После аборта я отвез ее к Якову.

Яков стоял во дворе и кормил леденцами двух чумазных эльфов. «Возьми еще! Русский дедушка дает, брать надо».

Увидев нас, Яков обрадовался и стал прогонять эльфов. Хрустя леденцами, они упорхнули.

«Убили они меня. Весь сад съели. Еще дедушкой называют. Гитлер им дедушка».

Мы сидели за столом.

Напротив меня все так же висела картина с мальчиком и красной лошадью. След от Гулиного пальца на теле мальчика еще не опушился пылью.

«Сам виноват, – говорил Яков. – Радуюсь им, детям. Глядеть на них люблю, как они ручками по-деловому работают, и глазками моргают. Сладкие... На моих яблоках-грушах растут, оттого и сладкие. Животики у них маленькие, а внутри – о! прорва ненасытная. Весь мой сад в этих животиках внутри. Родители их нарожают и забрасывают ко мне, на самое плодоносящее дерево. Знают, что я добрый и даже шлепок по заду у меня вкусный, детям только нравится».

Я посмотрел на Гулю. Надо срочно менять тему.

«Пра, лучше расскажи, как ты мусульманином был».

«Кем?.. Да, смотрю на эту саранчу голозадую, детей этих, и губу кусаю: почему я такую сейчас настругать не могу? Почему я, хрен старый, такую малютку произвести не умею, чтобы своя кровинушка мою яблоню обдирала, а не чужая саранча?»

«Пра, у тебя же были уже...»

«Были и сплыли! Сплыли все. По заграницам они теперь, важные люди, все с пузами. Карточки с этими пузами шлют, как они там, на своих пляжах. Вот я их для чего кормил-воспитывал – для пляжей. С американской горки они теперь ездят, потом карточку покажу. А кто в Ташкенте залип, еще хуже: по норам сидят, тайком от меня пьют и детей рожают. Да. Нарожают, вырастят, а мне только взрослых подсовывают, когда они уже не сладкие козявки, а дылды, бо-бо-бо басом мне тут. А мне же не это бо-бо-бо нужно, мне ручки тоненькие нужны, чтобы в них светилось, чтобы глазки были».

Гуля закрыла лицо ладонями.

«Одна надежда на вас, молодежь, – сказал Яков, вставая. – Когда только пришли и пошли вон в ту комнату, мне прямо детьми и запахло. Вот, думаю, кто ребеночка в мой сад приведет, пока эти саранчи все деревья не сгрызли. Я даже ангелу помолился и все ему изложил...»

Гуля быстро вышла из комнаты.

«Что это она, а? – нахмурился Яков. – Ты смотри, ее не обижай!»

Я выбежал во двор. Яростное солнце плеснуло в лицо кислотой; «Гуля!»

Гуля!

Заметался между калиткой, сараем в глубине сада, кустами одичавшей смородины. Снова калитка. Кусты. Паутина с летящими в лицо пауками. Ветви яблонь – все в слепящем зимнем солнце.

Споткнувшись о корягу, упал.

Я упал и лежал.

Не ушибся, или совсем немного. Просто подумал: зачем вставать? Зачем останавливать кровь с подбородка?

Она тихо подошла. Я смотрел в землю.

«Ушибся?»

«Подбородок», – ответил я, не поднимая головы.

«Зачем ты меня искал?»

Красные капли падали на потерявшие цвет листья. В глине отпечаталась маленькая ступня.

«Как себя чувствуешь?» – спросил я голосом из старого фильма.

«Прекрасно. Как будто удалили сердце. Как думаешь, они могли удалить сердце? Ну, не сердце, а что-нибудь похожее... Я же была под наркозом. Они могли сделать все».

«Это хорошие врачи...»

«Ага. Добрый доктор Айболит. Приходи к нему, волчица. И корова. Всех излечит, исцелит...».

«Тысячи женщин через это проходят...»

«...добрый доктор Айболит!»

«Но тебе нельзя было рожать! Ты сама говорила, родители. Я заботился только о тебе».

«Спасибо».

Я повернул к ней лицо. Снизу Гуля казалась огромной, как мягкая статуя непонятно кого. Лицо скрыто облаками.

Сегодня на ней впервые не было никаких значков.

Она помогла подняться. Болел подбородок. Я обнял ее. От нее пахло лекарством. Наверно, этим лекарством их убивают. Детей.

Потом я услышал, как бьется ее сердце.

«Слышишь, оно бьется?» – сказал я.

«Кто?»

Оно билось так, как будто о чем-то спрашивало: «Тук? Тук?»

Тук?

Я не успел ответить.

Новые люди входили во двор. Впереди, с черной собакой, двигалась тетя Клава. На собаке была кофточка.

Их было много. Разных людей. Разной формы, с разной длиной рук и ног, разным цветом одежды.

Только глаза были как под копирку. Бухгалтерские глаза тети Клавды.

Мы здоровались. Мелькали и исчезали ладони. Собака тоже дала лапу.

Потом стала обнюхивать забрызганные кровью листья.

«Ну что», сказала тетя Клава, «начинаем субботник?»

В руках у пришедших качались тряпки, веники и другие инструменты пыток.

У ног тети Клавды поблескивал пылесос.

Яков швырнул гармонику. Она ударилась об асфальт, пошевелилась и замолкла.

«Какая такая уборка? У меня чисто. Только голуби, дряни, сверху это самое. А так чисто... Запрещается уборка!»

Тетя Клава рассмеялась и поставила ногу на пылесос.

«Дедуля, я же тебе два дня назад вот этими руками звонила, правильно? Про уборку тебе говорила, ты еще кивал: да, надо, надо. Ну и что это ты теперь гармоникой раскидался? Не рад? Я вон помощников сколько притащила, все твои правнуки, правильно говорю? Они сейчас мигом весь сор выметут, потом шашлычок замастырим, и Яшку с его сожительницей угостим, не жалко... Ну, ребята, начинаем!»

Ребята тоскливо начали. Зашумели веники, заскреблись железными зубами по бетону грабли, залаяла собака.

Яков убежал в дом.

Потом выбежал снова: «Уведи их, Клавдия! Уведи, где взяла. Не нужно мне здесь свой порядок наводить!»

Грабли и веники замерли. Только в саду продолжали пилить ветви.

«Продолжай, что встали?» – смеялась тетя Клава, тряся шлангом пылесоса.

Снова все зашумело, заскрипело; Яков что-то кричал тете Клавде, она водила пылесосом по коврику возле двери, всасывая скорлупки жуков, седые волосы Якова, пыльные леденцы.

Я снова искал Гулю.

Вырваться из этого субботника, увезти Гулю к себе, сочинить что-нибудь для родителей или даже сказать правду. Пусть схватятся за сердце, пусть вспомнят, что у них взрослый сын с личной жизнью.

Ворота были заперты на замок. Уйти Гуля не могла. Я бродил среди субботника. Все это были бывшие дети, с которыми меня водили на елку. Выросшие, тяжелые. Мальчиков звали Славами; у девочек были еще более стертые имена. Мимо меня пронесли бревно.

Гули нигде не было.

Яков ходил за пылесосом: «Убери их, Клава. А то сейчас лопату возьму, слезы будут!».

«У-у-у», – гудел пылесос.

«Дедуля, это потомки твои, кровь твоя и плоть!» – перекрикивала пылесос тетя Клава.

«А вот и не моя плоть!».

«Твоя плоть!»

«Это того клоуна плоть, с которым ты любовь-морковь!»

Тетя Клава выключила пылесос, выпрямилась: «Между прочим, он был заслуженный артист республики. А про твою морковь я тоже могу кое-что рассказать. Интересное такое кое-что».

И снова принялась всасывать пыль.

«У-у-у», – гудел пылесос.

Я ушел в дом. Гуля. Гуля.

Гуля сидела на высоком стуле.

Стул был с длинными ножками, вроде стремянки. На него залезали осторожно подкрутить лампочку. Иногда сажали наказанных детей. Дети не могли слезть, плакали и падали вниз.

Теперь на стуле сидела Гуля и читала вслух газету.

Под стулом ползала девочка и подметала обрывки газеты, которые бросала сверху Гуля.

«Пятого июня, – медленно читала Гуля, – банда Мадаминбека произвела налет на старый город в Андижане, захватила в плен 18 человек и, ограбив население, отступила в село Избаскент, где учинила кровавую расправу над пленными».

Обрывок полетел на пол.

Девочка вздохнула и стала замечать его в совок. Посмотрела на меня: «Скажите тете, чтобы она не кидалась газетой. У меня руки устали».

Еще обрывок.

«Грузинские коммунисты опубликовали Воззвание к грузинам и грузинкам Туркестанского края с призывом встать на защиту Великого Октября».

Я подошел к стулу. «Гуля...»

«В Намангане создан профсоюз мусульманских женщин – ткачих и прядильщиц. Председателем союза...»

«Гуля, пойдём домой!»

«...избрана Тафахам Ахмат Хан-гизи, товарищем председателя...»

«Гуля, ты меня слышишь?»

«...Орнамуш Мигдуск Уганова».

«Гуля!»

«Все члены президиума – неграмотные».

Крык. Желтый обрывок падал на меня сверху.

«Гуля, зачем ты это делаешь?»

Она смотрела на меня сверху. На меня и на пыльную девочку.

Скомкала остатки газеты.

«Я боялась».

Газетный комочек выпал из ее рук.

Покатился по полу.

«Чего ты боялась, Гуля?»

«Посмотри... Нет, вот сюда. Это же наш ребенок».

Она показывала на девочку с золотистым венником.

«Дочка, обними своего папу».

«Гуля!»

Девочка поднялась и отряхнула китайское платье: «Мой папа на кладбище заслуженный артист».

«Заслуженный артист!» – восхищенно повторила Гуля.

Я уложил ее на железную кровать и накрыл одеялом.

Гуля спала. Лоб был горячим.

Девочка с венником следила за моими руками. Она хотела что-то сказать, но потом быстро, с детским остервенением обняла меня. И выбежала из комнаты.

«Уведи их! – кричал Яков. – Маленькими были, ты от меня их прятала, а теперь бери и ешь их обратно».

«Прятала? – откликнулась тетя Клава откуда-то с крыши. – Когда я тебе их маленькими тогда привела, ты что с ними устроил, а?»

«С ними в гражданскую войну играл».

С крыши сыпались комки сгнивших виноградных листьев вперемешку с землей. Скелетик виноградной грозди. Еще один.

Собака, поиграв с гнилыми листьями, подошла к Якову. Яков плюнул. «И собаку эту уведи! Я ее сейчас побью... Слышишь, я уже ее бью. Клава! Ну убери ты их, твой дом будет, твой. Клянусь тебе!».

И почему-то подмигнул мне.

«Уходим, уходим, – говорила тетя Клава, спускаясь с крыши по лестнице. Ее бедра покачивались над двором, как колокол. – И не надо собаку бить, собака больших денег стоит».

«А шашлык?» – разочарованно спрашивали дети.

«Дома шашлык!»

Подростки вздыхали и вытирали руки.

Я искал глазами девочку с веником.

Около валявшейся гармоники сидела собака и отбрасывала длинную тень.

Я закрыл глаза. Точно такая же собака могла сидеть на месте расправы Мадамин-бека с пленными. Именно такая собака. Может, только та не понимала команд на русском языке. Сидеть! Лежать! За годы советской власти в Средней Азии количество собак, понимающих русские команды, значительно возросло. А теперь их все меньше. На горизонте маячит тень последней собаки, понимающей «Сидеть!». Старой, бредущей куда-то собаки с пушкинскими бакенбардами.

«Яшычка!»

Тетя Клава стояла в воротах, в холодном вечернем солнце.

«Яшычка, мы пошли. Следи хорошо за стариком, хотя дом все равно не получишь, понял? Я вон, видишь, с каким зверинцем в своей клетушке проживаю, или я домик не заслужила?».

«Заслужили», – сказал я.

«Четверо своих детей и еще двоих усыновила по глупости. Они выросли, тесно. А я не Жаклин такая Кеннеди, квартир двадцатикомнатных не имею. Сама – на трех работах, правильно? Спасибо, что правильно. В цирк приходи, у нас программа новая с собаками. Обхохочешься. Билет со скидкой организую».

«А где девочка... с веником?»

«Какая?.. А, вот и Немезида».

Собака стояла около тети Клавы и вытирала об нее слюни.

«Немезида, Немезидочка, – гладила ее тетя Клава. – Это собака моего адвоката. Я ее выгуливаю, а он мои права на дом доказывает. Немезида, дай лапку!»

Немезида дала лапку.

Я ткнулся губами в сухую апельсиновую щеку тети Клавы.

Елка. Сладковатая вонь манежа. Заслуженный артист республики, клоун Вовочка поет и пляшет в костюме Бабы Яги. Маленькие ладони дружно хлопают.

Я вернулся в дом. Нужно было забрать Гулю.

На плите извергался чайник. Я осторожно поднял крышку. Внутри, как большое жидкое сердце, шумела вода.

Крышка начинала жечь пальцы. Я бросил ее и вошел в комнату.

В центре, как и прежде, стоял высокий стул. Под ним ползали на сквозняке обрывки газет. В углу, на железной кровати, лежала Гуля. Над ней сидел Яков и дул на чашку с паром.

Он говорил на узбекском. Заметив меня, нахмурился и перешел на русский.

«Вот. Тогда приказ вышел, и нас, бородинских, стали в армию. Меня, как художника, долго не трогали, потом тоже. Край, говорят, в блокаде, не стыдно тебе тут кисточкой, когда товарищи там кровь свою? Побегал, с кем надо простился, родня слезу сразу, руки ко мне тянет. А я уже митинг

стою, слушаю, потому что пригнали в Парк Свободы. За дело Ленина! За свет с Востока!.. На вот, попей».

Яков понес дымящуюся чашку к Гулиному лицу.

Я слышал, как она глотала.

«Я потом тебе расскажу на ухо секрет этого чая, – сказал Яков, протягивая мне пустую горячую чашку. – На, унеси... Как тебя? Осип? Венька?»

«Яков», – напомнил я.

«Да. И меня тоже Яков. Хорошее имя, революционное. Был такой Свердлов Яков Михайлович, человек с большой – да просто с огромной – буквы! Мы его именем паровоз назвали, я его революционными птицами по трафаретке, премию получил за это и паек с жирами. Яков Михайлович. И ты туда ж – Яков. Яков-Яшка, вот те чашка».

Я нес чашку. На дне ее темнели травинки, веточки, соринки и муравьи. На кухне кипел чайник, обливаясь горьковатым паром.

«...Стояли мы в трех верстах от селения Яга, такое название. Потом ему, кажется, другое дали, подходящее: имени Кирова или там Светлый Путь. У города и села должно быть такое название, чтобы душе приятно. Чтобы душа пела. А если живешь в Яге, что она тебе, душа, петь будет? “Фу-фу-фу”, – петь будет. Вот так. Фу-фу-фу. И голосую против. Против Яги и других таких вот. А тогда мы расположились около нее, и все лошади с нами. Вода в речке – стеклышко, а хлеба нет. Местные свое попрятали, запасы. Мы их так-сяк агитировали: проявите, дорогие товарищи сукины дети, солидарность. Не, ни в какую. Плачут, лицо царапают: нет ничего, сами умираем. И на землю ложатся, такие артисты. Там еще басмачи шалили, вот. Знаешь, что такое басмачи?»

«Да, – тихо пошевелилась Гуля, – у меня дедушка басмачом был».

«А... Хорошо. Значит, знаешь. Вот они нас и разбили тогда, под Ягой. Мы-то голодные, только лошадей резали и с зеленым этим виноградом. Началась эпидемия поноса. И так бойцы от голода слабые, а тут еще виноград в кишках подрывную работу. А басмачи, они сытые. Вот и победили. Сытостью против голода. С гор спустились, морды – о!, давай нас, как мух. А я как раз в кустах страдал из-за винограда. Со спущенными штанами по этому поводу. Поднимаю голову: враги с лошадей смотрят. Кто такой? Я говорю: великий русский художник, умею звезды похоже красить. Они говорят: понятно. И взяли в плен. А могли секир-башка. Потом слышал, что у них учение такое есть: срущих не трогать, только в плен. Потому что когда Последний суд будет, то эти, убитые, так на корточках и воскреснут, со всеми этими. А ангелам смотреть каково? Хорошее, если разобраться, учение. В плену они меня в свою веру и сагитировали».

«Пра, мы пойдем, – сказал я. – Гуле надо домой».

«Никуда не надо», – сказал Яков. И стал говорить ей по-узбекски.

Я вышел из комнаты. Под ногами трещали веники.

Жалко, что тетя Клава не успела сделать шашлык.

Наконец я споткнулся о гармонику.

Звук.

Я поднял ее. Гармонь была грязной, с листьями. Стал нажимать на кнопки и растягивать перепончатое тело. Вместо музыки лезла пыль.

Я чихнул и смотрел, как рассеиваются и опадают маленькие капли.

Гуля вышла тяжелым мужским шагом, уже одетая.

«Пошли, идем».

Запах больницы снова вдавился в мои ноздри; я посмотрел на нее. Она держала в руке маленький веник.

«Как ты себя чувствуешь?» – спросил я.

«Если ты еще раз спросишь, как я себя чувствую, я тебя задушу».

Я поднялся, положил гармонику на пол, натянул куртку, и мы пошли.

Несколько недель ее не было. Как назло, возникла пустая квартира: уехал брат.

Я поселился у него бесплатным сторожем.

Первые дни я обрастал пустыми бутылками. Пустые бутылки обрастали пылью. На десятый день, разглядывая свое стеклянное имущество, я увидел на дне паука. «Это к письму», – сказал я, вытряхивая паука в ванну. Хотел вытряхнуть его в унитаз, перепутал место погребения. Из крана прозрачной палкой торчала и дергалась холодная струя.

Вместо письма зазвонил телефон.

Я стоял возле ржавой ванны с пауком и пытался угадать, кто звонит. Если звонили долго, то это родители. Они жили в соседнем доме и тихо радовались моему отсутствию. Питались одними сосисками, чтобы не отвлекаться. До сих пор влюблены. Когда я приходил по своим делам, разговаривали со мной из постели. Иногда – через закрытую дверь спальни. Иногда вообще молчали.

Поэтому мы договорились, что будут звонить. Когда они сосисок по рассеянности больше сварят. Приходи, поешь. Но только со звонком. Только со звонком.

Долго звонят. Значит, родители. Значит – сосиски.

Телефон стоял на пыльной вязаной салфетке. Я снял трубку, соображая, какое ухо подвергнуть истязанию: правое или левое? Трубка приближалась. Правое или левое?

«Алё».

В трубке оказался одноклассник.

«Привет, как дела, – сказал он. – Деньги нужны?».

«Нет», – сказал я.

«Ха-ха-ха».

Ухо разбухало, как пельмень в кипящей воде.

«Я сменщика ищу», – сказал одноклассник.

Потом позвонили родители и вызвали на обед.

Я сидел за их столом и трогал ложкой суп. В супе отражалось мое лицо. Я зачерпывал лицо и отправлял по частям в себя.

Отец курил у открытого окна и стряхивал пепел.

Суп был пакетным, из прошлогодней рекламы. Там сначала едят, потом поют и танцуют. Я набрал полную ложку и втянул в себя.

Отец докурил и пошел в спальню, хлопая тапками.

Он не любил смотреть, как я ем. Ему казалось, я издеваюсь над едой, а не еда – надо мной, как в действительности.

«Ты поливаешь там цветы?» – спрашивает меня мама, как всегда, в ночнушке.

Нашли ослика-огородника.

Вслух говорю, что поливаю цветы регулярно. Слово «регулярно» произношу с нажимом, чтобы больше не вынуждали меня так мелко лгать.

Спрашиваю маму, как она относится к Владимиру Ильичу Ленину.

«Делом бы ты занялся», – говорит мама и начинает мыть посуду.

Я давно заметил, что мытье посуды вселяет в женщин чувство правоты. Раковина кажется им маленьким алтарем, на котором они мокрыми руками приносят в жертву свои лучшие годы.

«С завтрашнего дня я выхожу на работу», – говорю я, отодвигая тарелку.

Мама меня не слышит. Шумит вода, лучшие годы уплывают в канализацию.

«Мама, почему бы вам не завести кошку? Она бы доедала за вами лишнее. И вам бы не приходилось звать для этого меня».

«У отца на котов аллергия», – говорит мама, и ее голос пахнет средством для мытья посуды из еще одной рекламы, где тоже поют и танцуют.

Говорю спасибо за обед и ползу обратно в свою чужую норку. Проходя мимо спальни, вижу, как отец приседает перед зеркалом.

Вернувшись, иду поливать цветы. Все засохли, только кактусы похорошели. Начинаю все яростно поливать. Неожиданно вспоминаю Гулю. Остановливаясь, наблюдаю, как из горшков вытекает вода и причудливо течет по подоконнику и обоям.

Расскажи, как ты был мусульманином.

Вначале увели в горы. Тяжело в горах. Жду все время. Когда убьют и каким способом. Тебя вот в мирные годы сделали, ужасов не знаешь. А я столько крови вот этими вот глазами, удивляюсь, как они у меня не это. Помню, был один набег, целую семью к сардобе привели. Сардоба у местных вроде колодца с каменной крышей, воду хранили. А эта сардоба, которая та, – пустая, только лужа, и все. Эта семья водой в сардобе руководила, и она с водой что-то такое. Или отраву бросила и бегом, или врагу продала. Ну, воды нет. Семью выловили, к сардобе, давай резать. Я говорю: «Может, пойду? Тяжело такое видеть». Они мне: нет, нужно, чтобы зритель. Зрителя из меня хотят сделать. А сами детей.

Это когда ты в плену был?

Какая разница. Все тогда перепуталось. Это только на картинках война понятная, а я внутри был. Внутри войны. И детей резали. И кровь их в сардобу. А главу семьи не трогают, стоит вязаный, все на его глазах. Детей его на его глазах. И стекает все туда на его глазах. И эти глаза у него, вижу, сейчас выскочат и полетят. Потом стали из жен его и сестер кровь, в сардобу. И так всю семью. А его пока нет. Так сардобу и наполнили. Кровью. И местные вокруг стоят, нос зажимают и от мух отмахиваются. Потому что местные для агитации тоже привели. А глава семьи стоит и в сардобу смотрит, конец, думает. Так и есть. Бросают его со связанными руками в сардобу, в самую кровь, для того и старались. Он тонет, ногами дергает и крик поднимает. Люди ему: тони уже с Богом, не позорься! А он все орет и брызгается. Пока не захлебнулся. Видно, до последней секунды жизнь была ему это. Ну, потом все разошлись. Только два старика остались, говорят, колдуны, у них в таких местах свой интерес.

Вот я первые дни в плену об этом думал, какую смерть мне мои изобретатели изобретут. Они тоже не знают, как со мной. С одной стороны – убить руки чешутся, с другой стороны – художник. Как-то я на камне углем льва нарисовал. Честно скажу, на собаку получилось похоже. Ты не улыбайся, я ж до того по трафаретам все, а в горах какие трафареты? Только моим все равно понравилось, оценили, сволочи. Посмотрели на льва, пощурились: жить, спрашивают, хочешь? Этого, отвечаю, все очень хотят. Они говорят: правильно. И льва ты хорошо нарисовал, царский характер в нем правильно выразил. Так что давай-ка в нашу веру. И жизнь пока при тебе останется, и, как безбожников прогоним, уважаемым мастером тебя сделаем. Будешь наши дворцы львами украшать. И вера у нас самая правильная, станешь нашим – сам почувствуешь.

Я, конечно, схитрить хотел: дайте испытательный срок, товарищи! Они: вот тебе испытательный срок. И плетью по спине. По голой. Ладно, кричу, что размахались?

В общем, перешел. Прощай, думаю, святая Русь и сто грамм этого. Стал к их вере приглядываться. В душе, конечно, надеюсь, что Красная Армия отобьет. Но пока не происходит. Молюсь понемногу вместе с ними. Про себя иногда шепотом «Отче наш», а то и к самому Владимиру Ильичу Ленину в уме обращаюсь.

А к Ленину зачем?

А для надежности. Я ж его именем столько раз паровозы подписывал, и еще халтуру брал транспаранты писать, спиртом рассчитывались. Молюсь ему: построй, сокол, скорее мировое государство справедливости и освободи меня. В голах-то не сахар. Ну, еще одного льва им нарисовал, на собаку уже почти не похожего. Так критики набежали, говорят: «Ты зачем русского льва рисуешь? Ты нам нашего льва рисуй». А какой он, говорю, ваш лев, так его саяк? А они сами толком не знают, какой лев; ну, говорят, такой... потолще немного. Все-таки почтенный зверь, его надо с уважением.

Дулю вам в рот, отвечаю, а не зверя почтенного. Вы сначала условия обеспечьте. И плетку вашу уберите, нечего мне ею в нос тыкать. Если выпить не разрешаете, то хоть бабу организуйте. Человеческую. Чтобы я с ней понятно чего.

Они руками: да ты что, мастер, какие бабы в походе, мы тут сами скучаем. Вот когда твоих прогоним, будут тебе и бабы, и все такое с музыкой, а пока – совершенствуйся в рисунке.

А другой душегуб, который добрее, говорит: ладно, ты, говорит, слезой тут не это, придумаем кое-что. И бельмами загадочно вращает.

Ну, сию ночью, льва нового обдумываю и их это кое-что жду. Тут тот, который добрее, из темноты на меня и еще что-то впереди подталкивает. Ну, говорит, на. Утешайся. Только потом в благодарность мой дом, в котором сейчас неверные свою проклятую школу устроили, львами и птицами разрисуешь.

Я говорю, подожди, дай ощупаю, что мне привел, – темно было. Тыкпык, все на месте, косы, брови намазанные, дыхание такое.

И вдруг, мать честная, понимаю, что парня они мне. Мальца даже, может, ему тринадцать или еще. Только в женский халат засунули и косы приплюняли для порядка.

Это, говорю, что за шуточки? А мой этот: не шуточки. Это, говорит, война. Артиллерия и сам видел что. И настоящих женщин мы от этого всего оберегаем. Это ваши перы из пушек стреляют и с солдатами – я сам, говорит, видел. Вышли из вашего лагеря двое, около ручья встали и все такое. Не выдержал такого позора, говорит, пристрелил обоих. Поэтому вот, говорит, тебе Наргис: он подруга послушная, и танцует прелестно, если хорошего подзатыльника дать.

Да не нужно, говорю, мне мужских, говорю, танцев, мне баба нужна, а не вот это с косичками. Не привык, говорю, к такому, чтобы.

А тот мне: ну вот, говорит, снимай штаны и привыкай. Давай, Наргис, покажи мастерство.

Да, кричу, провалитесь вы с вашим мастерством!.. А он уже ушел и с чучелом меня наедине оставил.

Заплакал я тогда. Честно скажу. Лучше, думаю, сразу бы в крови утопили, я бы себя держал и ногами бы не это. Песню бы обо мне на нотной бумаге написали. А теперь – для чего я живой? Ни водки, ни бабы, ни советской власти, только чучело рядом ресницами длиннющими своими хлоп-хлоп.

Сидим вот так. Он – украшениями поблескивает, я – хлопаю-сморкаюсь. В общем, взял себя в руки, слезы на щеках ликвидировал, спрашиваю: как ты, малец, до такой жизни докатился? Не стыдно перед товарищами?

А он говорит: умерли товарищи. И отец-мать умерли. И братья умерли. И ты умер. Какая теперь разница?

Как же, говорю, я умер? Живой я, вот, пощупай. Нет, не здесь... Здесь щупай. И сердце вот потрогай.

А он мне: а, сегодня жив, завтра умер. И я умер. Какая разница?

Нет, говорю, разница бор*. Огромная разница бор. Ты, говорю, молодой, к рабочему классу должен, с передовой молодежью.

* Есть (узб.)

А он отвечает: и рабочий класс умер. И передовой молодежь умер. Какая теперь разница?

Я даже рассердился: что заладил одно и то же? Кто тебя такому учил?

А он: трава научила. Дерево научило. Баранья кость научила.

Какая еще, говорю, баранья кость?

На дороге лежала, говорит, подобрал. Теперь с ней разговариваю. У нее голос моей матери. Она меня учит.

Тут на меня такая злоба напала, что, думаю, он мне тут сказки, а я потомственный рабочий, и грамотный.

А он отскочил от меня и стоит, боится. А потом... Потом руки свои поднял, и вот те крест: плясать начал, кругами так, кругами. И все зло во мне прошло, и слезы, которые не успели из глаз вытечь, прошли: сiju дураком, пляской люблюсь.

Дух у него в пляске был, дух, понимаешь? Никогда больше столько духа в пляске не видел. Другие – тело показывали, душу разливали, до духа не доходило. Я одно время к народным нашим артистам присматривался: тыфу эти народные рядом с дружкой моим непутевым. В общем, простым словом это не сказать – я даже львов своих устыдился... Наплясался он, сел рядом, кашляет. Я ему говорю: вот лепешки кусок у меня есть, возьми. Он взял, отщипнул немного, остальное вернул: мертвые много не едят.

Вот, думаю, охота ему в мертвого поиграться! Подползаю к нему: слушай, как освободят нас, давай вместе держаться, я на гармошке буду, ты плясать, нас мастерами искусства оформят и такой паек назначат – в жи- вот с трех раз не уместится.

Ты скажи мне, гармо-ника... Где подруга моя... А? Согласен, говорю, что ли?

Смотрю, а он уже спит, только кусочек лепешки изо рта выглядывает. Устал от плясок, сны теперь смотрит.

Положил я ему на живот голову, чтобы помягче было, и сам заснул.

Потом только пару раз его, Наргиса этого, видел. Издали. Из другой банды люди прибыли, он перед ними плясал. А потом они его... В нашей банде люди все-таки культурные были, меру в непотребствах знали, а те, видать, как с цепи. Кровь из него пошла, ну и... Медицины никакой, а тут еще обстреливать нас, то есть их, начали. Положили мы нашего танцора под куст, говорим: не скучай, может, еще выживешь. А он тихо так: а какая разница?

Так мы и ушли. Что смотришь? Холодно мне. Мерзну. Мне бы вот...

Работа, которую мне предложил Алиш, оказалась даже веселая. Караоке.

Ставить населению любимые песни, давать ему в потные руки микрофон.

Алиш стал таким толстым, что я его не узнал. Объяснил, куда чего нажимать. Говорил про экран. На экране должны выскакивать разные картинки, стимулирующие процесс пения.

Вокруг нас вяло полз Бродвей. Время было раннее, только студенты-юристы с задумчивыми лицами будущих взяточников бежали на занятия.

«Понял?» – спросил Алиш.

Алиш меня любил со школы. Я давал ему списывать, хотя сам был троечником. Теперь, когда все одноклассники отвалились, как засохшая зубная паста, Алиш остался единственным другом.

Правда, для меня и этого слишком много. В детстве мне все внушали, почти гипнозом, что нужно дружить. Почему? Никто не объяснил, для чего это нужно. Для того, чтобы попить иногда вместе пиво, дружить, по-моему, не обязательно. Или эти прокуренные посиделки с лужами возле бутылок и улетающими куда-то пакетиками от сухариков и есть дружба? Может быть. Надо же как-то обозначить это размякшее состояние, которое меж-

ду мужчиной и женщиной заканчивается постелью, а между мужчиной и женщиной – еще одной бутылкой.

Я смотрю на Алиша. Хочется спросить, есть ли у него женщина.

Алиш сочно хлопнул меня по спине и ушел. Я остался один с песнями.

Ближе к вечеру я начинаю глохнуть. Наплыв подростков. «А-ы-у-эээ!!!», лезут губами в микрофон мои пубертатные соловьи. Большим спросом пользуются песни про безответную любовь.

Тогда приходит Алиш и сменяет меня.

Я ухожу неохотно: самое хлебное время, вечер. Вечером основная масса моих клиентов выплескивается на Бродвей поесть, попить, влюбиться. И прокричать свои «а-ы-у-эээ» в тяжелое, как нестираный халат, ташкентское небо.

У Алиша есть женщина. Она старше его на четыре года, у нее *пацан* от первого брака. Алиш любит детей, но с этим *пацаном* ему приходится быть строгим. Почему? Чтобы он ко мне не привыкал, говорит Алиш. Если он ко мне привыкнет, ему потом будет тяжело. Когда – «потом»? Когда я ее оставляю.

«Я ведь ее оставляю, – говорит Алекс, пересчитывая выручку. – Она русская, старше меня и с ребенком. Родители узнают – убьют. А зачем мне эти проблемы?»

Я хочу рассказать ему о Гуле, но подходит стайка вечерних клиентов и заказывает песню Чебурашки.

Я иду по Бродвею и для чего-то покупаю презерватив. Я такой же идиот, как и все. Вслед мне несутся вопли Чебурашки.

Внезапно мной овладевает страх смерти.

Холодеют руки.

Нет, только не сейчас. Только не на Броде. Только не под Чебурашку. Только не с презервативом в кармане.

Я покупаю пиво.

Пиво на Броде дорогое и кислое. Я его сознательно покупаю. Напиток Вечной Тупости. Тупость помогает растворить страх в желтой жиже с всплывающими пузырьками.

У входа в метро мне вдруг становится жалко женщину, с которой живет Алиш. Жалко ее ребенка. Жалко себя. Жалко милиционера, который плюет на асфальт. Жалко асфальт в серебряной чешуе плевков. Жалко нищенку, которой я сейчас не подам, потому что никогда не подаю нищим.

Я вхожу в метро.

Ненавижу слово *пацан*. После него язык и небо в мелких царапинах.

Горьковатый ветер метро треплет отросшие волосы, напоминая, что пора стричься.

Останавливаюсь возле старика. Он стоит возле мраморной стены и перебирает четки. Ладонь для подаяний качается, как лодка для переправы в царство мертвых.

«У меня нет мелких денег, – говорю, глотая пиво. – Только презерватив».

И кладу ему на ладонь пакетик.

Старик, продолжая перебирать четки, подносит пакетик к глазам и по слогам читает надпись и инструкцию.

Потом кивает: спасибо, внуку дам, он образованный, ему будет интересно.

По-моему, он принял меня за иностранца.

Это хорошо. Люблю быть иностранцем.

Метро. Я вообще не поклонник метро. Некоторые самолетов боятся, а я, наоборот, в самолете чувствую себя хорошо и шучу со стюардессами. А метро, если вдуматься, большая электрифицированная могила. Мрамор, запахи. И ветер, свистящий сквозь залапанные створки «дохВ» и «дохыВ».

Я захожу в метро. В метро захожу я. Этот «я» - уже не я. Как будто от меня остался контур, как на раскраске. И бездарный ребенок скребет карандашом, вылезая за контур и оставляя внутри меня белые пятна.

Ко мне подходит милиция и смотрит в лицо. Мое лицо раскрашено желтым карандашом, включая глаза и губы. Я вытягиваю из кармана паспорт. Милиция рассматривает мою фотографию, сверяя с моим неряшливо раскрашенным лицом, обведенным черным контуром.

Я тоже рассматриваю милиционера. Хорошо бы угостить его мороженым и расспросить о разном. Есть ли у него женщина. Старше она его или младше. О чем они говорят в тоскливые осенние вечера или просто обмениваются нечленораздельными звуками.

Милиционер читает мой паспорт, как детективный роман. Напряженно листает страницу за страницей: чем там все закончится?

Когда уничтожат всю литературу на земле, последней книгой останется паспорт. Пока его не заменят пластиковой карточкой или другой дрянью.

«Иди», – говорит милиционер, начитавшись.

Мне не хватает воздуха.

Ташкентское метро – одно из самых красивых в мире.

Я, плохо раскрашенный контур, плыву по эскалатору. Ноздри и глаза залепило мрамором. Я открываю рот и шевелю бумажным языком. В руках трещит банка пива. Контур моей руки сжимает ее, выдавливая невкусные капли.

Сойдя с эскалатора, я смотрю на станцию.

Она пуста. Только в середине стоит большой черный казан. Из казана с любопытством выглядывает голый человек. Милиционер и уборщица пытаются развести под казаном огонь. Слышно, как они забавно путают русские слова. Человек в казане морщится, но не исправляет.

Яков сидел в холодном шатре и играл с лучом света. Луч был длинным и острым. Яков вытянул язык, пытаясь дотянуться до луча. Дотянулся; тысяча маленьких радуг возникла на кончике языка.

Яков улыбнулся деснами.

Но холод все равно не проходил. С высунутым языком стало даже холоднее.

Яков спрятал язык и вытер слюну, набежавшую на волосатый подбородок.

А ведь когда-то Яков был гладким, без этих отростков на щеках, похожих на сухих червей. Кожа была голой, светлой и излучала неяркое жидовское сияние.

Теперь он почти как брат его Исав, у которого даже на губах волосы.

Яков подумал о брате и посмотрел на луч. Вытянул ногу, пошевелил пальцами. Луч стекал по ступне, не согревая. Надо позвать собаку. Пусть оближет горячим, как летний дождь, языком.

В шатер вошел человек в одежде слуги. Человек был похож на собаку. Маленькие глаза, большие темные ноздри. Ходил почти на четвереньках.

«Господин, к вам пришел Ангел».

«Зови».

Слуга пошевелил ушами и выбежал.

Вошел Ангел в женском платье. Сел на край лежанки.

Яков приподнялся на локтях и попытался поцеловать гостя.

Ангел созерцал движения Якова с обычной, принятой у его сословия, улыбкой.

Яков заметил, что глаза Ангела постоянно меняют цвет. То голубые, то теперь – карие. Интересно быть ангелом!

«Постарел ты, Яков, – сказал Ангел слегка гнусавым, как пастуший рожок, голосом. – Как-то вы, люди, стареете быстро. Только подружисься с человеком, а его уже заворачивают и уносят».

Яков присел под одеялом: «Не ангелы мы, мы стареем. Это вы все как огурчики».

Глаза гостя стали серыми. «Мы тоже меняемся. С нашей первой встречи я стал старше на одну десяти тысячную вечности».

Яков закрыл глаза и стал представлять себе десяти тысячную вечности.

«Люблю я тебя, Яков, – сказал Ангел, – за твою простоту. Что принимаешь меня просто как я есть и чудес не требуешь».

«А кто их требует?»

«Пока никто, – сказал Ангел, – а потом начнут: и сияние, и музыку, и чтобы по воздуху летали».

«Зачем по воздуху?»

Яков знал, что ангелы не любят вопросов. Но вопросы так и кололи ему язык.

«Сам не знаю, – сказал Ангел, – зачем по воздуху. Мы же не птицы. Птицы глупые, вот и летаю».

«А вы – ангелы».

«Да, – согласился гость, – ангелы».

Вошел слуга с подносом. На подносе был наспех разогретый вчерашний ужин.

Ангел взял кончиками пальцев хлеб с мясом и поднес к правому глазу. Подержал возле глаза, бросил на пол. Потом поднял чашу с вином, поднес к левому глазу. Подержал немного – выплеснул.

«Вкусно живешь, Иаков, – сказал Ангел, смахнув набежавшую слезу. – И умирать тебе, наверное, не хочется».

«Холодно мне», – тихо сказал Яков.

«Да уж. Старость – холодное время жизни. Хочешь наше народное средство? Пусть тебе девицу приведут и рядом положат».

«Стар я с девицами под одеялом играть».

«А я не про играть. Ты-то, думаю, уже и помочиться без молитвы не можешь, а? Пусть просто по соседству с тобой лежит, девица».

«Стыдно мне».

Ангел встал с лежанки, отряхнул с платья перья и крошки. «Ну, пошел я. Весело с тобой беседовать. Но, сам понимаешь, не могу вечность на разговоры тратить. Я ведь что приходил? Сказать тебе одно слово... Умрешь ты скоро, Яков. Вот такие новости».

Яков пошевелил сухими, как шкура ящерицы, губами и посмотрел на гостя.

«Ну, – усмехнулся Ангел, – что смотришь? Испортил тебе настроение, да? Извини. У меня вон тоже от твоего угощения изжога, и не жалуюсь».

Яков смотрел, как гость надевает сандалии и исходит из шатра.

«Ты здесь?» – прошептал Яков.

«Ты здесь?!» – крикнул он со всей силы, так что упала чаша с вином и густая влага разбежалась по подносу, заливая хлеб.

Из-за завесы показались широкие ноздри слуги.

«Вот что, – сказал Яков, глядя перед собой. – Нагонишь того, кто сейчас от меня вышел, и пустишь в него три стрелы – две в глаза, одну в губы. Понял? Потом найдешь для меня... Нет, об этом тебе позже скажу. Теперь догоняй того и возвращайся, ждать буду».

Ноздри кивнули и исчезли за пологом.

Яков наклонился к подносу и погрузил лицо в разлитое вино. В глазах зашиповало. Размокший хлеб прилип к подбородку.

...Услышав шаги, он поднял лицо. Капли висели на волосатых щеках.

Слуга держал перед собой поднос с тремя окровавленными стрелами. На конце одной стрелы висело, качаясь, глазное яблоко.

«Господин, я убил его, – сказал слуга. – Но он улетел».

«Улетел?» – спросил Яков, вытирая вино.

«Улетел. Вылетел из мертвого тела на крыльях и поминай, как звали».

«Странно. Птицы летают, они глупые... Но думаю, теперь он понял, как меня огорчил».

«Да, – кивнул слуга, – теперь точно к нам не сунется».

Яков посмотрел на слугу и швырнул в него подносом с мясом и вином. Ему хотелось побыть одному.

Часть II. СЛЕПОЙ АДВОКАТ

Мое пребывание в раю с пустыми бутылками подходило к концу: возвращался брат. Я сонно собирал вещи, путая свои с чужими.

Я – яблоко, раздавленное бульдозером скуки.

Яблоко село на кровать и стало думать о Гуле.

Алиш не может жениться, потому что боится родителей. Я не могу жениться, потому что боюсь детей. Родители не при чем, они даже не заметят. Вылезут из спальни, послушают Мендельсона и обратно залезут.

В детстве они гнали нас с братом спать в восемь часов: режим! Голос отца: «Сейчас ремень сниму»; хотя был уже в трусах. Откуда ремень, если трусы? У него вообще не было ремня. Но мы с братом летели под одеяло, как торпеды. Через две минуты заходила мама, проверяла рукой. Брат спал. Я притворялся. «Ну что?» – слышал я сквозь влажное, надышенное одеяло. «Как мертвые», – говорила мама и шла к отцу. А брат спал.

Сейчас у брата семья. Я сам слышал, как он обещает детям снять ремень. Ремень у него есть. Позорный ремень из кожзама. Но дети все равно боятся и исчезают.

Я учу узбекский язык.

Сижу на фоне убиенных растений, листаю школьный учебник. Натякаюсь на Ленина. У него умные раскосые глаза.

Думаю о Гуле.

Один раз я слышал, как она говорила во сне. На узбекском. Разведчик выдал себя. Люди спят на родном языке. И видят кошмары на родном языке. И все эти порнографические фильмы, которые крутятся в ночных мозгах. Все на родном языке.

А я молчу во сне. Мой родной язык – тишина.

«Бу киши – ишчи. Этот человек – рабочий».

Закрываю учебник и повторяю несколько раз.

Бу киши – ишчи.

Бу киши – ишчи.

Бу киши – ишчи.

Когда я звоню, она поднимает трубку. Молчим. «Гуля», – говорю я.

Короткие гудки.

Бу киши – ишчи.

Рабочий в учебнике, жирный черный контур, сжимает гаечный ключ. Рядом нарисован другой человек, в галстук и с телефонной трубкой.

«Бу киши – хизматчи. Этот человек – служащий».

...хизматчи.

...хизматчи.

Учебник старый.

«Этот человек – рабочий» давно ушел с завода, потому что зарплаты стало не хватать. Он решил стать «Этим человеком – бизнесменом». Покупал-продавал. Иногда сам не понимал, что. Просто какие-то люди что-то ему привозили. Пили с ним чай-водку, пытались его надуть. И он пытался. И надувал.

Одного из этих людей он знал и доверял ему больше остальных. Это был «Этот человек – служащий», их когда-то нарисовали на одной картин-

ке в учебнике. Встретившись после разлуки, они обнялись, как старые друзья. «Ташкент – большой город», – сказал бывший сосед по учебнику. И, подумав, добавил: «Зеленый и благоустроенный». «Да», – согласился человек-бизнесмен. И разыскал свой ржавый гаечный ключ, чтобы вспомнить молодость.

Поговорив на тему «Моя семья», друзья решили начать совместный бизнес. Бывший человек-рабочий купил мебельный цех, а человек-служащий – который, кстати, так и оставался служащим и теперь занимался озеленением «Ташкента – большого города» – стал выдавать разрешения на вырубку лишних деревьев и лишних ветвей. Отрубленные ветви и стволы везли в понятный чей мебельный цех, где из них производилась стулья, табуретки и другие хорошие предметы из темы «Моя комната».

Правда, зелени в «зеленом и благоустроенном» становилось все меньше, а деревья с обрубленными ветвями выглядели так, что даже птицы от них шарахались. Зато два лучших друга, потягивая коньяк, делали устное изложение «Как я провел лето» (Майорка, Биарриц, Анталия...). «А хорошо бы часть древесины пустить на учебники для школ, – предлагал бывший рабочий, поигрывая платиновым гаечным ключом, усыпанным изумрудами. – Мы все-таки должны производить себе подобных», – добавил он, вспомнив картинку в учебнике, с которой когда-то все начиналось... «Бу киши – ишчи!» – громко сказал он и ударил себя в грудь. Рюмка с коньяком опрокинулась, пятно расплылось по скатерти.

Сидевший напротив «бу киши – хизматчи» только тонко улыбнулся.

Смысл этой улыбки стал ясен через неделю, когда бывшего рабочего вызвали в первый раз в прокуратуру... А чуть позже мебельная фабрика перешла во владение к его прежнему партнеру по бизнесу. После чего человек с гаечным ключом исчез.

Впрочем, это исчезновение не было полным. На пожелтевшей странице школьного учебника он все так же гордо сжимает орудие производства, пока его сосед по картинке, располневший, с серебристым мобильником, повторяет спряжение глагола «брать» в прошедшем, настоящем и будущем времени...

Что я скажу Гуле? «Бу киши – хизматчи»?

Ничего не скажу. Не видимся уже месяц. Да, сегодня ровно месяц. Круглая дата, можно праздновать.

Швыряю учебник на пол.

Из него вылетает облачко пыли.

Я быстро нагибаюсь к учебнику и глубоко вдыхаю эту пыль в себя.

Несколько таких ингаляций, и я усвою весь учебник. Жизнь станет радостной, и я стану разговаривать со смуглым Ильичом на родном для него хорезмском диалекте.

Я снова на Бродвее, кормлю население песнями.

Ноты черными головастиками лезут в уши. Присматриваюсь к поющим девушкам. Мысленно очищаю их от одежды и прислоняю к себе. На четвертой прекращаю, надоело.

Нет, правда, весна. Торговка сувенирами в соседнем ларьке ударилась в беременность. Как она умещается там со своим животом и грудой глиняных старичков на осликах? Старички блестят на солнце, но расходятся медленно. Некому покупать. Туристов не навезли, они пока греются у своих каминов в Европе, потягивая из кружек пенистую мочу ангелов.

Утро. Сувенирщица достает помаду и медленно красит губы цветом пожарной машины. «Бабайчики, бабайчики есть», говорит она и смотрит на меня.

Чуть дальше, за стеклом, закружились куры-гриль.

«Бабайчики, бабайчики!»

Она возникает неожиданно, с детской каталкой. В каталке трясется круглый ребенок и дергает пуговицу на куртке

«Привет, – говорит Гуля и плюхается в грязноватое песенное кресло. – Вот, пришла попеть. Почему берешь за песню?»

«Откуда у тебя ребенок?» – я гляжу на каталку.

«Ребенок? Какой? А, этот... Да, ребенок. Нравится? Племянник. Мы гуляем. Рустам, скажи здрасте».

Рустам вертит пуговицу.

«Я звонил тебе», – говорю я.

«Слушай, я пришла петь... Поставь что-нибудь».

«Что?»

«Не знаю. Выбери сам».

«Ты это серьезно?»

«Что?»

«Ну вот это всё»

«Да. И скажи, сколько будет стоить».

«Бесплатно».

«Почему?»

«Сама знаешь».

«За то, что была честной давалкой, да?»

«Гуля!»

Соседние лавки оживленно подслушивают. Продавщица бабайчиков выползает из своей норки и, маневрируя животом, проходит мимо как бы по делам.

Я называю сумму. Гуля достает кошелек, утыканный пионерскими звездами.

«Я пошутил. Я не возьму у тебя».

Отсчитав, Гуля кладет купюры на колонку.

«Сейчас улетят», – говорю я.

«Твои проблемы... Ну что, выбрал?»

«Что?»

«Песню. Песню выбрал?»

«Да пошла ты!»

Сувенирщица следует в обратном направлении, поглядывая на Гулю и бормоча: «У меня, кажется, схватки... Схватки...».

Наконец, песня выбрана.

Гуля поет, как все: вцепившись в микрофон, фальшивя и путая слова. Деньги, которые она положила на колонку, действительно сдуло ветром. Их подобрал какой-то подросток и протянул мне, ожидая, что я от них откажусь.

Мы шли мимо выставленных на продажу картин. На картинах все, как всегда. Мечети с аистами и горные пейзажи, срисованные с фотообоев.

Остановились.

«Мне нужно срочно восстановить девственность, – тихо говорит Гуля. – Я выхожу замуж, а там семья... В общем, придумай, как снова сделать меня девушкой».

Мальчик в каталке протягивал мне оторванную пуговицу.

Я беру ее, кладу в карман и говорю «спасибо».

Когда я вернулся на свой музыкальный пост, там уже курил Алиш.

«Где гуляешь? Клиента теряем».

Он был совершенно прав; от этого еще больше хотелось его послать.

Мы поздоровались.

Ладони у Алиша скользкие, будто только что чистил рыбу.

«Алиш, а когда ты будешь жениться, тебе нужна будет только девственница?» – спросил я.

«В смысле – целка?»

«Ага».

Алиш задумался. Слышно, как трутся друг об друга его извилины.

«С одной стороны...» – начал Алиш.

«Понятно, – перебил я. – Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых».

Это была единственная цитата из Маркса, которую я знал.

Алиш посмотрел на меня и прогнал домой.

Кажется, я был уволен.

Надо было думать, где раздобыть деньги на возвращение невинности.

Почему-то захотелось купить бабайчика; у меня до сих пор нет ни одного. Но лавочка закрыта, на записке: «Ушла рожать».

Вечером я сидел на кухне и слушал, как из крана капает вода. Вода капала так, как будто у нее тоже были какие-то проблемы. Хотя какие проблемы у воды? Теки себе, и все. Поддерживай жизнь на Земле.

Родители, как всегда, были в спальне.

За время моего отсутствия в квартире завелись два эротических журнала с мятыми страницами.

Пару дней назад я столкнулся в коридоре с голым отцом. В руках у него был один из этих журналов. Он неторопливо им прикрылся. «Я вам не мешаю?» – спросил я, глядя на журнал. На обложке поблескивала девушка с безобразно красивой грудью.

Отец посмотрел на меня. Так смотрят на ребенка, ляпнувшего что-нибудь взрослое.

«Ты понимаешь, старик, – сказал он, – мы терпели всю жизнь, всю жизнь себе отказывали...» И улыбнулся этой своей улыбкой.

Вообще-то, отец должен быть для меня образцом. Пятьдесят два года, выглядит сорокалетним. У него мало морщин и еще уйма волос на голове. По утрам он делает зарядку и бодро вскрикивает под контрастным душем. Иногда я спотыкаюсь и ломаю пальцы о его гантели.

По воскресеньям он долго стоит перед зеркалом и делает приседания. Я вижу, как сокращаются его мышцы. Отец замечает мое отражение в зеркале и посылает улыбку.

По-моему, он улыбается сам себе. Своему телу и тому, что он приседает восемьдесят два раза.

А денег на невинность я попрошу именно у него. Поймаю, когда он будет идти, прикрываясь девушкой, и попрошу.

Отец сидит напротив меня и извиняется.

Он только что сделал зарядку и умылся. Запах одеколona присутствует как бы третьим в нашем разговоре.

«Старик, разве ты не знаешь? Я без работы. Все мы сейчас у матери на шее».

Он курит дорогие сигареты и разглядывает меня.

«Тебе жениться пора», – говорит он наконец.

«Так ты мне не можешь одолжить?» – еще раз спрашиваю я.

Отец мотает головой: «Ты разве не видишь, какие тяжелые времена?»

Я не вижу, какие тяжелые времена. Я вообще ничего не вижу. Я только чувствую запах одеколona. Только вижу, как сигаретный дым растворяется в комнате, делая ее еще более серой.

«Всю жизнь горбатиться, – продолжает отец, – всю жизнь себе отказывать, чтобы к старости получить – что?»

И неожиданно добавляет: «А помнишь, как мы под столом целый год жили?»

Мы действительно жили целый год под столом, я и отец. Я уже не помню почему.

Жили мы в одной комнате, человек пять. Полкомнаты занимал старый стол, который кто-то постоянно требовал выбросить, а кто-то повторял: «Только через мой труп». Вначале, поженившись, под столом стали жить отец с мамой. Кажется, из протеста. Молодых из-под стола выкурили и сказали жить нормально. Но нормально жить в комнате, где еще четыре человека и каждый с неповторимым характером, было невозможно. И родители стали жить в общежитии, где с потолка по ночам падали тараканы. Не в силах бороться с тараканами и вечной музыкой за стеной, они зачали брата. На какое-то время это помогло. Тараканы перестали падать; музыка – проникать через картонную стенку. В один тоскливый весенний вечер, дожидаясь отца, мама даже стучала в стенку и просила, чтобы сделали громче. Потом родился брат, были еще какие-то комнаты, и вторая беременность, мной. Но дважды фокус не удался. Жизнь не улучшилась. Я все время болел и царапал брата. Родители смотрели на наши бои с детским страхом. Только отец иногда вспоминал про воображаемый ремень. Потом они вдвоем заперлись от нас в туалете и постоянно спускали воду.

Наконец, волной неустроенности родителей снова зашвырнуло в маленькую комнату со столом. Там жило уже не четыре, а три человека: кто-то предусмотрительно умер до нашего вселения. Нас кисло поцеловали, маму с братом определили на койку покойного, а мне с отцом постелили под столом. Почему нас разложили именно так, не помню.

Помню громадные ножки стола. Помню, как утром отец выползал на работу, и я натягивал на себя его одеяло. Оно пахло моим мужским будущим. Моим личным мужским будущим. «Этот стол надо выбросить», – слышал я сквозь одеяло чей-то просыпающийся голос. «Только через мой труп», – отвечал другой голос, зевая. «И через мой труп тоже!» – кричал я из-под стола, потому что жизнь под столом была интересной и полной приключений. Что такое «труп» я, правда, еще не знал. Думал, что это что-то вроде алкаша, который лежал возле дома, с лицом, напоминавшим мамин свекольный салат.

Особенно я любил вечер, когда комната садилась ужинать. Под столом появлялись ноги, и эти ноги жили своей уютной вечерней жизнью. У каждой пары ног был свой характер, свое отношение ко мне. Мамины ноги, например, меня не любили и дергались, когда я их гладил и щипал. В этом они полностью отличались от верхней мамы, ее ласковых рук и лица. А вот ноги бабушки (которая была нам тетей, но хотела зваться бабушкой) относились ко мне дружелюбно и даже радовались щипкам. «Массажистик мой, – слышал я сверху ее голос. – Потри мне около коленки, ой-ой, болит у бабушки коленка». Я тер ее коленку – верхняя бабушка награждала меня довольным кряхтением. В остальное время она обо мне забывала, а когда вдруг замечала, то говорила родителям: «Вот к чему приводит половая распущенность». С этого начинался новый красочный скандал, кончавшийся спором о столе и трупом. «Тише, здесь дети!» – кричала мама. «Это не дети, – отвечала бабушка с коленками, – я видела детей, дети такими ненормальными не бывают!». Вечером во время ужина я снова превращался из ненормального в любимого массажиста; я почти не ел ужин, который мне спускали под стол в тарелке, и принимался играть с ногами. Особенно мне нравилось слушать, как смешно кряхтит бабушка, когда я дохожу до ее коленок, а иногда спускает мне под стол вкусные куски, которые я боялся попросить.

После ужина под стол залезал отец, и мы вместе смотрели из-под висюлек скатерти телевизор.

Так бы я и жил под столом, взрослея, поступая в институт и женясь на карлике женского рода, чтобы было не тесно. У нас бы завелись дети, потом внуки, и ни один дождь нам не был бы страшен.

Но однажды в комнату пришли гости.

Пришла тетя Клава с мужем-клоуном и двумя клоунами, которые тут же залезли под мой стол и стали меня заставлять играть в свои игры. Этим детей я быстро вытеснил. В умении маневрировать под столом мне не было равных.

Пришли еще взрослые; запомнились смешные ноги в штопаных колготках. Но главное – пришел Яков.

Пришел Яков и оглядел комнату. «Фу, какую тесноту развели, – сказал он и топнул ногой (я видел только эту топающую ногу). – Это что за стол? Выбросить надо».

Я ждал, что сейчас все опять начнут пугать друг друга своим трупом. Но никто не начал. Чей-то голос стал тихо объяснять, что под столом живут люди.

«Кто это у вас под столом живет?» – удивился Яков и заглянул к нам.

Под столом сидели я и отец, которого попросили не занимать место: и так некуда гостей сажать.

«Здравствуйте, Яков Иванович», – сказал отец и ударился головой о перекладину стола.

«Здравствуй, Иванович!» – заорал я, и помахал рукой.

«Так-так», – сказала голова Якова и удалилась.

После этого ноги взрослых пришли в движение, стали топать и нервноичать.

«...Я для того кровь проливал, – кричал Яков, – чтобы внуки мои под столом жили, так?»

«Дедуля, тут у некоторых тоже заслуги есть!» – дергались чьи-то толстые ноги в брюках.

«Молчать! – стучал кулаком Яков. – Знаю я ваши заслуги – начальскую задницу до сверкания нализовать. Вот все ваши известные заслуги. И стол держать посреди комнаты, чтобы под ним люди, как глисты...»

Он снова приподнял скатерть и заглянул под стол: «Малец! Тебе говорю. Как звать?»

«Яков», – ответил я, поглядывая на отца.

«Фу ты, и меня – Яков, поздравляю. Ну-ка, вылезай, Яков, поздороваемся».

Я выполз из-под стола, щурясь от света. Яков сжимал мою руку и продолжал кричать: «Опять от меня мальчика скрыть хотели, взрослым мне его уже подсунуть? На кой мне ваши взрослые? Просил же вас – мальцов водите... Яков! Я же дедушка твой, прадедушка даже, а это поглавнее любого дедушки. Будешь ко мне в гости бегать?.. И ты, парень, вылезай, что сидишь, как красная девушка? Молодец, что такого сына стругнул, и нечего теперь под столом сидеть, не для того мы проливали...»

Так он вытащил нас с отцом из-под стола и попытался усадить рядом.

«Куда их сажать, все уже занято», – говорила тетя-бабушка, раздвигая миски с винегретом, чтобы все казалось занятым.

«А вот сама и полезай под стол, деятельница», – сказал ей Яков и наставительно ущипнул за локоть.

Сидеть за столом было непривычно, как держать вилку, я не знал, потому что под столом было все проще. А отец, выбравшись на свет, налегал на настойку. Под конец вечера он начал громко рассказывать, на какую золотую медаль окончил школу и какие надежды подавал по химии...

«Эх ты, химик», – трепал его по макушке Яков.

А мы с братом снова сидели под столом и смотрели, как чьи-то руки тянутся к женским ногам в штопаных колготках и мнут их, и колготки не возражают. «Он ей делает массаж», – шептал я брату.

Брат, старше меня на три года, загадочно улыбался...

Через месяц Яков выбил нам какими-то сказочными путями квартирку недалеко от себя.

Комната провожала нас с оркестром. «Приходи коленку мне массажировать», – говорила мне бабушка. Стол нам хотели выдать с собой, на первое время. Но потом передумали.

Я сидел на жестком больничном диване и в десятый раз читал письма трудящихся.

Время остановилось. Я вообще не очень уверен в его существовании. Тиканье еще ничего не доказывает.

Вот я, например, про себя знаю точно: я есть. Только что сходил в туалет. Чем не доказательство?

А время? Я с недоверием смотрю на свои часы.

Полчетвертого.

Хорошо, примем это как гипотезу.

Час назад Гуля ушла на зашивание. «Посторонним нельзя», – сказала квадратная медсестра, вертевшаяся вокруг Гули. «Это не посторонний, – сказала Гуля, – это человек, благодаря которому я здесь».

Я снова уткнулся в книгу.

...Горячо любимый вождь, беспартийная красноармейская конференция Сыр-Дарьинской области сообщает, что молодое пополнение внесло новую струю бодрости в ряды Красной Армии!

...IV Всетуркестанская конференция горняков приветствует тебя. Горняки Туркестана бодро стоят на революционном посту, оберегая октябрьские завоевания. Твое выздоровление удвоило энергию туркестанского шахтера. Мощным ударом кайла мы будем продолжать бить разруху.

Да здравствует наш Ильич!

...Представители трудящихся Востока, собравшиеся на Андижанский уездно-городской съезд Советов, глубоко радуются выздоровлению своего великого вождя. Да будет у тебя множество хлеба и вина; да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинаящие тебя – прокляты; благословляющие тебя – благословенны...

Гуля вышла после зашивания – тусклая, заплаканная.

«Получайте вашу девушку», – сказала медсестра.

«Больно?» – спросил я почему-то медсестру.

«Нисколечко», – ответила медсестра и ушла.

Гуля стояла, влажная, в черном, не шедшем ей платье. Пионерские звездочки она уже не носила.

«Больно, да?» – сказал я еще раз.

Гуля помотала головой.

Мы поймали машину и поехали к Якову.

Деньги на невинность достал откуда-то он.

В машине Гуля стала шумно рассказывать все детали операции; остановить ее было невозможно. Водитель дико поглядывал на Гулю и нарушал правила движения.

Гулина свадьба была назначена через неделю.

«Ты здесь?» – спросил Яков и проснулся.

Сверху на него падало что-то сухое и тревожное. Как если бы дождь пошел не каплями, а холодными женскими волосами.

Яков медленно открыл глаза. Светильник уже погас; слуга спал мертвым сном.

Над Яковым стоял Ангел, вычесывал из своих крыльев пух и, улыбаясь, бросал его в лицо Якова.

Пух был холодным и светился голубоватым светом.

Из глаз и рта слуги торчали стрелы. Одной рукой он сжимал оперенье стрелы, торчавшей изо рта. Видимо, пытался ее вытащить.

«Ну здравствуй», – сказал Яков, приподнимаясь на лежанке и глядя на Ангела.

«Здравствуй», – шепотом сказал Ангел и перестал бросать пух. Ощупывая перед собой воздух, обошел лежанку и сел.

Не считая нелепых птичьих крыльев, вид Ангела с прошлой встречи почти не изменился. Только исчезли глаза, менявшие свой цвет, и на месте рта темнела заплатка.

«Почему ты убил его, а не меня?» – спросил Яков, показывая на слугу.

«Потому что твое время пока не пришло», – сказал Ангел тем же шепотом. Было видно, что говорить ему тяжело. При каждом слове заплатка на губах шевелилась, из-под нее появлялась жидкость.

«Прошлый раз ты обещал мне, что я скоро умру», сказал Яков.

«Да. И был наказан. Буду теперь целую вечность слепым ангелом».

«Неужто целую?» – спросил Яков, рассматривая лицо гостя.

«Да, целую. Пока ты не умрешь. Тогда я надену твои глаза. Я уже примерял их пару раз, когда ты спал. Они мне подходят».

Яков потрогал свои глаза: «Разве до моей смерти будет вечность?»

Заплатка на ангеле улыбнулась.

«Не спрашивай меня, Яков, о том, сколько осталось до твоей смерти. Людям не разрешено знать о времени. Радуйся, что меня тобой наказали, а смерть твою отложили. Прошлый раз я нарушил запрет, сказав, что будет скоро. Хотелось показать, что мы, ангелы, знаем. Что мы знаем, чего вы, люди, не знаете. Вот это хотелось тебе показать».

«Зачем?»

«Чтобы ты место свое знал. Человек, конечно, выше ангела, и мы это с радостью признаем. А кто из нас это не признал, тот сейчас сидит в черной дыре, то есть в космической заднице. А мы признали, что человек выше ангела. Но вот тут, Яков, и началась путаница. Ведь признали мы тогда абстракцию, идеального человека. Адама признали, который сам был абстракцией, пока у него со змеей не вышло. Эту абстракцию человека мы выше себя признали, а где она теперь, абстракция? Вот твой слуга валяется. Редкий при жизни подонок был, обкрадывал тебя, слабых обижал, вдову притеснял и страдал расстройством желудка. Скажи, неужели он ангела выше? С расстройством, и выше? А получается, выше. Или ты. Старый, беззубый старик... Тоже – выше меня?»

Яков смотрел на Ангела, не понимая его слов. Ему хотелось, чтобы Ангел убрал тело слуги, чтобы снова зажглась масляная лампа.

«...И чтобы я насрал на тебя сон, – устало закончил Ангел, – вроде тех, которые ты видел в пору юности своей, да?»

Яков кивнул.

«Хорошо, – сказал Ангел, – покажу тебе сон про охранника мостов».

«Охранника мостов?»

«Да. Всю ночь этот сон сочинял. Ты знаешь, что сны людям придумывают слепые ангелы?»

Тело слуги исчезло, и на его месте дремала собака, и шепотом рычала во сне.

«А за это дашь мне ее», – закончил Ангел, подув на светильник, отчего тот загорелся.

Яков кивнул и на это, уже сквозь просвечивающее одеяло сна.

Такси остановилось, мы вышли в желтоватую лужу, в которой всплыло и расслоилось солнце. Я наступил на солнце и пошел дальше. Машина уехала. Навстречу нам двигался человек в темных очках. Рот его был заклеен пластырем. Увидев нас, он снял пластырь, шепотом поздоровался и снова залепил губы.

«Сосед?» – спросила Гуля, глядя ему вслед.

«Да нет», – сказал я.

Калитка Якова была открыта.

На пустых ветвях сидели соседские дети и виновато смотрели друг на друга. Увидев нас, громко поздоровались и сели поудобнее. Они выросли с последнего раза. Детям, наверно, полезно расти на деревьях.

Я подошел к дереву и стал трясти его. Дети летели вниз и скрывались за забором.

Последним упал мальчик в странной пестрой одежде. На ушах у него болтались тяжелые серьги.

«Я – Наргис, – сказал он и нагло посмотрел на меня. – Я для дедушки Якова танец танцую».

Гуля сказала ему что-то по-узбекски. Я понял, что она спросила, почему он одет, как девочка.

«Я же Наргис! – крикнул мальчик и вдруг заплакал. – Я же артист! Я будущий артист! Я – талант, меня в музыкальную школу по благу устроят! Я учиться буду! Учиться!»

Снова вышло солнце, и дерево, под которым плакал мальчик, наполнилось светом.

«Я – талант, мне конфеты за танец дают, шоколадный!»

Я закрываю глаза. Мне десять лет, я падаю с яблони. Ору. Ползу к Якову, сопливый, ободранный. Яков ставит меня на стул посреди комнаты и долго рисует на мне зеленкой. Я плачу и прошу нарисовать на кроватной коленке ракету. «Коленка, – говорит Яков, – место для ракеты непригодное. На коленке мы намажем красную звезду». – «Пра, она же будет зеленой!» – «Она будет называться красной».

Ракету он рисует мне на спине, и я верчу головой, чтобы увидеть ее. Потом он рисует на мне цветы, и я пытаюсь угадать их название. Потом на животе рисует льва. Мое тело, плоское и вызывающее жалость, превращается в праздник, в щекотное непонятно что. Я начинаю носиться по дому, подпрыгивая и зависая в воздухе. А Яков вечером говорит родителям, что меня надо отдать в танцевальную школу, чтоб талант не пропал. Родители соглашаются и куда меня не отдадут.

«Пра! – позвал я. – Пра!»

Веранда протекла мимо нас, вся в сушеных яблоках и бусах жгучего перца.

Коридор.

Дверь открылась, в глубине ветреной комнаты темнела фигура Якова.

«Павел? – смотрел он на меня. – Рустамка? Игорь?»

«Это я, Яков», – сказал я.

«Яков? И я Яков... Зачем тебя так называли? От моего имени отщипнуть хотели, да? Все вам молодым лишь бы от стариков отщипывать. Как будто мы вам хлеб какой-то. А мы – сами себе хлеб. И не идет такое имя адвокату. Яшкой задразнят».

«Пра, я не адвокат...»

«Да, не адвокат, а вот только что адвокат приходил, адвокат-самокат. Ты-то не самокат, а он что здесь командует, скажи? Чем он меня главнее, что он адвокат? Я Клавдии скажу: бери, Клава, этот самокат и едь на нем хоть голая. А мне его сюда с разговорами не подсылай, слышишь?»

«Это тот человек с пластырем на губах?» – спросил я, догадываясь.

«С пластырем! – вдруг вскочил Яков. – Дом они из-под меня выгаскивают. Все эти комнаты с садом, которые я своими руками... В сумасшедший дом ковровую дорожку! Вот зачем их пластырь. Все знают их пластырь! Яков, Гулечка, простите, что не узнал, так они меня заморочили, давление, сволочи, подняли. Всю жизнь они мою описали. Чтобы меня напугать, вот что хотят. Моей жизнью меня напугать, с показаниями. Что я со своей сестрой в молодости имел уголовное это самое. И ее показание,

что я и куда ей чего. Откуда, говорю, собаки, у вас показания такие, а? Может, могилку ее разрыли и микрофоны туда понатыкали? Или, говорю, она привидением нашептала чего? Так это в судах не примут, над вашими суевериями только похочут, и все... Я ведь тебе пересказывал это. Просто лежали, остальное ее фантазии. И запись у тебя на пленке есть, верно? Ты же с моих живых слов записываешь, а они – наоборот, с мертвых! Угрозы мне посылают... Холодно мне!»

Я подошел к открытому окну. Занавески взлетали и лезли в лицо. Стал закрывать.

Остановился.

По саду бродил человек в черных очках. Вокруг него бегала собака в вязаной кофточке. Увидев меня, человек помахал рукой и закурил.

Мы сидели на кухне и чистили бесконечную картошку. «На зиму», – сказал Яков, вываливая мешок. От стучащих по полу клубней дымом поднималась пыль.

Для чего зимой нужна чищенная картошка, мы не знали. Может, из нее будет варенье или еще что-нибудь дикое.

Гуля дважды порезала пыльцы. Я смотрел, как обнаженные от кожуры клубни окрашиваются в красный цвет.

Не в силах смотреть, я взял порезанные пальцы и погрузил в свой виноватый рот.

К крови примешивался привкус крахмала и мокрой пыли.

«Ты вампир?» – спросила Гуля, слабо пытаясь освободить пальцы.

«Только учусь», – ответил я занятыми губами.

Гуля засмеялась и выронила из другой, не порезанной, руки картошку.

Уронила хорошо, прямо в ведро. Там уже плавали голые клубни и отражалась лампочка в запекшейся паутине.

Мы ждали, когда остынет чай. Гуля сидела у меня на коленях и играла с растительностью на моей груди.

«А у моего жениха тут целая березовая роща», – сказала Гуля.

«Откуда ты знаешь?»

«Подружка рассказала. Работала его первой женщиной».

«Что значит – работала?»

«Ну, с ней договорились... Его старший брат».

«Заплатили, что ли?»

«Да нет. Может, помогли чем-то. У нее как раз сестренка в мединститут поступала».

Я ничего не понял и ткнулся носом в Гулину щеку.

Гуля отстранилась.

Она всегда отстранялась, когда хотела, чтобы я прижался к ней еще сильнее.

Мы замерли, не зная, что делать друг с другом дальше.

В конце концов мы оказались в позе «Осенние листья». Гуля была кленовым листком, а я – упавшим сверху листком чинары.

Я попытался снять с нее свитер.

«Перестань! – прошептал кленовый лист. – Операция же...»

«Извините, девушка».

«Надо было врачей попросить, чтобы тебе заодно рот зашили. Когда ты молчишь, ты...»

Лист чинары не стал дослушивать, и заткнул кленовому листку рот. Своими губами. К счастью, незащитыми...

И снова вспомнил этот пластырь на губах. Пластырь, темные очки, неташкентская бледность.

Когда я вышел во двор, их уже не было. Надо было, конечно, крикнуть сразу в окно. Эй вы, с собакой.

Когда я вышел во двор, на месте человека с пластырем располагалась подрагивающая пустота. Как будто кто-то вынес в сад прозрачный холодильник и включил на такую слабую мощность, которой не заморозишь даже залетевшую вовнутрь муху.

Мы шелестели губами. Я вдруг подумал о совете Эльвиры с Чарвакской платины, и поцеловал Гулю в закрытые веки. Целуя, чувствовал, как под веками шевельнулся ее зрачок.

Потом мы вспомнили про холодный чай. На его поверхности качалась радужная пленка.

Снова шелестели друг об друга. Губами, носами, ушами. Закрывая глаза, я слышал тихий свист, с каким испаряется чай.

«Как же ты будешь с ним жить?» – спросил я, садясь на кровати и переставая быть чинарным листом.

«Первые два года буду закрывать глаза и представлять тебя. Потом рожу детей и привыкну».

Я представил, как Гуля рождает и привыкает. Дети вылетали из нее сразу с шерстью на груди. Я совершенно перестал быть листком чинары.

В комнату заглянул Яков, заматанный в одеяло. «Что это у вас здесь огурцом на весь дом пахнет?»

Мы пожали плечами.

Я вспомнил, как Яков рассказывал мне анекдот про раввина, который шел по пустыне и молился об огурчике.

Моя голова лежала на коленях у Гули. Лицо ее плыло надо мной.

«Расскажи мне сказку», – сказал я.

«Зачем?» – спросила Гуля.

«Не знаю».

Ресница упала с левого Гулиного глаза и полетела на меня.

Почувствовал, как приземлилась на моей щеке.

«А потом, – сказал я, – я расскажу тебе про единорога».

«У тебя ресница с глаза упала».

«Не снимай. Это твоя. Только что видел».

Гуля сняла ресницу и стала разглядывать.

«На мою не похоже, – сказала она, и положила ресницу обратно на мою щеку. – У меня ресницы падают, только когда я плачу»

«Надо было загадать желание».

«А чего ты желаешь?»

Я мысленно пожелал, чтобы Гуля не выходила замуж.

«Хорошо, я расскажу тебе сказку про стеклянного человечка», – сказала Гуля.

«Почему про стеклянного?»

Жил на свете обычный человек. У него была обычная квартира, обычная жена, и даже любовница у него была совершенно обычной. Не трехглазой или еще какой-нибудь.

И все продолжалось хорошо и обычно, пока этому человеку не рассказали о стеклянном человечке.

Мужчина вначале посмеялся и рассказал об этом любовнице. Любовница тоже громко смеялась, и из ее глаз от смеха текли слезы.

После этого человек решил рассказать эту историю своей жене. Он вообще всегда так делал. Рассказывал жене и любовнице одно и то же. Дарил одни и те же подарки и платья, как дочкам-близнецам, хотя близнецов у него ни в семье, ни в роду не было. Близнецы, особенно сиамские, – это все-таки аномалия, а он был обычным человеком.

Но, когда он рассказал историю про стеклянного человечка жене, она даже не улыбнулась.

Это очень удивило обычного человека, потому что раньше жена такого себе не позволяла. Если что-то нравилось любовнице, то нравилось и жене, и наоборот. И это мужчина считал своим маленьким, но достижением.

После этого он стал замечать, что жене перестали нравиться те обычные подарки, которые он дарил ей (и любовнице). Потом обычный картофель, который он приносил на зиму ей (и любо...). Наконец, ей разонравились те обычные контрацептивы, которые он использовал с ней (и с лю...).

Короче, в семейной жизни образовалась трещина, из которой посыпались разные предметы, раньше принимавшиеся благосклонно, а теперь рождавшие шипение, фокусы и отворачивание к стене со словами «давай лучше спать».

При этом жена продолжала ничего не знать о любовнице, и это было особенно обидно. Потому что если бы знала, было бы хоть что-то понятно. Ревность, конечно, гадкое свойство, но зато она многое в семейной жизни делает понятным.

Мужчина уже собирался, как это обычно делается, сложить вещи и уйти туда, где не швыряются. Как вдруг произошла другая аномалия.

Он обнаружил, что его обычная любовница стала необычно его раздражать.

Его стало раздражать то, как она смеется. То, с какой идиотской нежностью принимает от него подарки, лук и картофель, и даже пустое ведро, которое он приносил, вынося мусор.

Обиднее всего, что так все было и раньше. Только раньше это было нормально. А сейчас... Сейчас мужчина стоял около прилавка в обычном магазине и мысленно просил себе сил со всей этой кашей разобраться.

В Бога он не верил, поэтому обращался к Разуму Вселенной, о котором прочитал в научно-популярной книжке.

Но от Разума Вселенной никаких утешительных сигналов не поступало.

Тут случилось совсем неприятное. Мужчина заметил, что его рука, которой он ощупывает пакеты с макаронами, стала немного просвечивать. И что через руку видны эти макароны, как будто руки и не было. Как будто макароны стали реальнее его руки. И что когда он поднес ладонь к лицу, сквозь нее увидел и другие продукты на витринах, а также кислое лицо продавщицы. При этом сама рука продолжала существовать, шевелилась и реагировала на тепло и холод.

С этого дня у мужчины появлялось все больше и больше просвечивающих мест. Причем часть тела, прозрачная сегодня, на другой день могла стать обычной. И наоборот. Жена вела дневник наблюдений и беседовала с астрологами. «Я так нервничаю!» – говорила она.

Сам же мужчина, напротив, стал сонным и малоподвижным; полюбил разные кресла и слова «давай лучше спать».

Наконец, он вспомнил про историю о стеклянном человечке, сопоставил факты и, слава Разуму Вселенной, догадался...

Хуже всего, что саму историю он уже совершенно не помнил.

Не помнили ее и две его близняшки, жена и любовница.

Не помнил он и того, кто рассказал ему эту историю.

Он не помнил ничего, потому что его голова со всеми извилинами теперь подолгу делалась прозрачной. Через голову можно было спокойно смотреть телесериалы, причем изображение было даже лучше. Этим иногда пользовалась жена, устав за день.

Сам мужчина от такого нецелевого использования своей головы, конечно, страдал. Но врачи только советовали оборачивать голову и другие стеклянные члены в двойной газетный лист или прописывали импортные моющие средства. «Чистота и гигиена, – говорили они, вода по стеклянной поверхности фонендоскопом, – гигиена и чистота».

Наконец, выполняя какую-то сложную фигуру супружеского долга (а сложными теперь были все фигуры), мужчина разбился и рассыпался на кусочки.

Жена заплакала. Осторожно, чтобы не порезаться, она вылезла из кровати и стала искать совок.

Склеивала мужчину она вместе с любовницей. Они познакомились незадолго до происшествия и даже сходили поесть мороженое.

Правда, клеился мужчина у них по-разному. У жены он получался невысокого роста брюнетом с маленьким шрамом на левой щеке, а у любовницы – блондином без шрама и двух передних зубов.

Склеив в итоге что-то компромиссное, они отвезли это в местный краеведческий музей. Проследили, чтобы витрина была хорошо освещена, написали в Книгу отзывов и разбегались по делам.

...Через полгода их обеих, таких же стеклянных и подклеенных, привезли в тот же музей. Причем жену привезли вместе с ее новым разбитым любовником, которому она поведала историю о своем стеклянном муже.

Новые экспонаты разместили в запасниках, как авторские повторения известной фигуры обнаженного мужчины, стекло, инвентарный номер 1270; поступило из частной коллекции.

Я приоткрыл глаза и усмехнулся.

«Слушай, Гуль... А помнишь, нам эта Эльвира говорила о каком-то стеклянном человеке. Ну, что детство он ворует, что ли?»

«Это, наверное, другой, – сказала Гуля. – Стеклянных много, Эльвира их как-то распознает. У нее самой что-то похожее начиналось. Ну, потом ей Ленин помог».

«Ты что, серьезно?»

«Не знаю. Когда Петя... ну, ее муж, погиб, он водолазом был, она совсем плохая стала. Всем зачем-то говорила, что Петя с ней развелся. Даже несуществующую женщину придумала, к которой он будто бы ушел. Имя ей придумала, возраст, профессию. Макияж, прическу... Знаешь, страшно было. Я у Эльвиры оставалась ночевать, ну, когда мне родители из-за Ленина скандалы устраивали и называли ленинской шлюхой... Лежу я у Эльвиры, слышу, как она в соседней комнате с этой придуманной женщиной разговаривает. Вы, говорит, такая-то по фамилии, поигрались с ним, вот и верните. Ну и что, говорит, что вам его поцелуи нравятся, все равно ими подавитесь, он мой... Страшно было слушать. Мне кажется, Эльвира с твоим прадедом чем-то похожи».

«Чем?»

«Не знаю. Он как бездна».

Я вспомнил, как Яков спрашивал про запах огурца.

И только сейчас уловил этот колющий своей свежестью запах.

Он пробивался сквозь испарения картофеля, сквозь запах слез и лекарств, который, после возвращения невинности, шел от Гули. Сквозь пыль, которая обволакивала предметы в доме Якова. Сквозь запах листьев, перезревших плодов и мочевины со двора.

Покачавшись надо мной, запах огурца стал медленно тускнеть.

Мы заночевали у Якова.

Сам не понимаю, как это произошло. Все время собирались уйти, и внезапно заснули. Наверное, устали от картошки.

До этого я рассказывал Гуле про единорога, которого в средние века выманивали на девственницу. Запах невинности щекотал ноздри зверя, он выбегал из леса и клал голову ей на колени. Тут же, на коленях, его и ловили охотники.

Гуля слушала спокойно, не перебивая.

Она спала.

Я обошел ее, спящую, чувствуя, что вижу ее так в последний раз. Что она спит при мне в последний раз. Теплая и уже не моя.

Я положил голову ей на колени.

Складки черного платья расплылись вблизи и стали горами. На горах росли черные ворсинки и шевелились от моего дыхания.

Где-то в недрах спящей зрела яйцеклетка, которая через неделю будет оплодотворена не мной. Мысль об этом наполняла сознание загустевающей манной кашей.

Я закрыл глаза.

Белого единорога волокут в сетях охотники. Его ноги связаны; выпуклые глаза уже мертвы. Мясо – на шашлык, шерсть – на носки детям, рог – на сувениры. Дева поправляет складки платья, шлет охотникам готический поцелуй. Замирает в ожидании новой добычи. Красная улыбка на губах. Длинные уродливые пальцы. Черные холмы. Колеблющиеся ворсинки. Полевые цветы и веселый ручей.

«Ты здесь? Ты здесь?» – хрипит Яков из соседней комнаты.

Я вздрагиваю и засыпаю.

Проснулся от пустоты рядом с собой. Темно.

Провел рукой. Пустота. Вначале железная, потом матерчатая.

Гуля!

Приподнялся на койке.

Уставился в мутный кружок на запястье. Без четверти двенадцать.

Поднявшись, пошел на узкую щель света из коридора.

Коридор пройден на ощупь.

Потянул дверь.

Я тер глаза. Ничего не понимая, я тер глаза.

Свет торшера. В луже света стояла кровать.

Я тер глаза.

Я увидел одеяло, в котором Яков спрашивал про запах огурца. Одеяло белело, залито гадким комариным светом.

Спящая голова Якова висела, как осиное гнездо.

Рядом с ним спала Гуля.

Я перестал тереть глаза и дернул. Одеяло мягким камнем свалилось на пол. Морщинистый скелет Якова лежал возле Гули, как ребенок возле матери.

Они открыли глаза.

«Игорь? – закричал Яков. – Рустамка?»

Гуля поднялась. На ней была ночнушка, какую носили усопшие женщины Якова.

Я схватил ее за руку. И тут же отдернул – такой показалась горячей.

Гуля выбежала из комнаты.

«Убью! – захрипел на меня Яков, поднимаясь с кровати. – Всех убью... Всех! Что тебе, как там тебя? Что встал? Что пришел, говори, убью... Ты холодом меня, говори? Ты меня, как тебя, холодом, родного? Верни, слышишь, встал!»

Красное яблоко орущего рта.

«Я – Яков!» – опрокинув торшер, я выбежал из комнаты.

Гули нигде не было.

На веранде горел свет, в огромном ведре желтела чищенная картошка.

Я пнул ведро; оно опрокинулось, клубни раскатились по полу.

«Гуля!»

Я вернулся в комнату Якова.

На кровати возле Якова сидел мужчина в темных очках и мерял ему давление.

«Умираю», – хрипел Яков.

Человек посмотрел на меня и, не снимая пластыря с губ, сказал: «Ну, это еще успеется. Вы еще нам на гармошке поиграете».

Яков лежал неподвижно и распадающимся на глазах взглядом глядел в потолок.

«Прекрасное давление, – сказал гость, складывая фонендоскоп. – Как у новорожденного».

«Он умер?»

«Нет, уснул. Зря вы его растревожили. Пожилой человек все-таки».

«Кто вы такой?»

«Я – адвокат лица, владеющего домом, в котором вы сейчас находитесь. Вашей родственницы, на которую дом был переоформлен три дня назад в соответствии с законом».

Тишина.

«Это было сделано против его воли», – сказал я.

«Нет, он все подписал добровольно. За что и получил отступные. Ну, те самые, которые вы потратили на возвращение невинности...»

Я очнулся глубоким утром. Дул, позвякивая, ветер. Тряпка, которой я был укрыт, освещалась солнцем.

Ничего не вспомнив, я провел рукой рядом с собой.

Под одеялом лежала раскрытая книга.

Я вытащил ее, потер глаза и уткнулся в буквы.

«...Якобинизм имел уже имя раньше того, чем главы заговора выбрали старую церковь монахов-якобитов местом для своих собраний. Их имя происходит от имени Якова – имени, рокового для всех революций. Старые опустошители Франции, создавшие Жакерию, назывались “жаками”

Философ, роковые слова которого подготовили новые жакерии, назывался Жан-Жаком. В том самом доме на улице Платриэр, в котором умер Жан-Жак Руссо, была основана ложа теми заговорщиками, что со времени казни магистра ордена тамплиеров Якова Моле поклялись сокрушить государственный строй старой Европы.

Во время сентябрьских убийств какой-то таинственный старик громадного роста, с длинной бородой, появлялся везде, где убивали священников.

Он рубил направо и налево и был покрыт кровью с головы до ног. После казни Людовика XVI этот самый вечный жид крови и мести поднялся на эшафот, погрузил обе руки в королевскую кровь и окропил народ, восклицая: “Народ французский! Я крещу тебя во имя Якова и Свободы!”».

Ничего не понял, сполз с койки. На банках с огурцами дергались зайчики.

Кровавый старик.

Волоча за собой разрушенные тапки, я вышел в коридор.

«Гуля! Яков!»

Кровавый старик в венке из внутренностей.

«А еще был Яков Свердлов, – сказал я вслух. – Тоже революционер».

В соседней комнате засмеялись.

Я зашаркал тапками в сторону смеха.

На веранде сидела тетя Клава и пилила тупым ножом картошку.

Смех оказался плачем. На ее мокрому лицу темнела смесь туши, помады и пудры.

«Уже увезли, – сказала она. – Такие деньги им сунула, вслух произнести боюсь».

Куда увезли? Какие деньги?

«Большие деньги, Яшычка, большие. Лучше бы он умер, чем вот так заснул. И, между прочим, сон – твоих рук дело. Ты тут вчера ночевал не буду говорить с кем в обнимку, соседи показания дали. И о том, что ты старику ее в постель засовывал, чтобы он на вас домик переписал, а он – фигу, он уже на меня записал, как на более близкую. Хотя я с ним никуда не ложилась. И вообще в целой жизни у меня один всего был, артист заслуженный, ты знаешь. А ты еще когда под столом ошивался и нам юбочки будто случайно поднимал, я еще тогда поняла, что далеко мальчик пойдет. А только я дальше тебя пошла. Адвоката наняла и с ним советуясь. Так что бери ножик и помогай мне картошку резать, я сама не справлюсь. Старику все равно не поможешь, так хоть картошку эту долбаную пожарим. А он, знаешь, еще и разговаривает во сне, слушать смешно, что он там такое под нос рассказывает. Он там все равно долго не проспит, с нашей-то медициной. Я потому его как в последний путь проводила и цветами обложила, пусть в цветах спит, так наряднее. Медсестры, конечно, все букетики растащат, но это уже их внутреннее. Зато все соседи видели, как я его в цветах везла, и какие у меня слезы были. Вот, кстати, ножичек, держи».

И она протянула мне большой ржавый нож.

К Якову меня отвозил Адвокат.

У него была странная машина, «Жигуль».

«Для слепых», – объяснил он мне.

Внутренности салона были разрисованы глазами. Расспрашивать о том, как эти глаза помогают ему водить машину, было неудобно.

Я только спросил, как его зовут.

«Я же не прошу вас раздеться», – раздраженно ответил он.

«Извините, а что оно у вас, смешное?»

«Имя-то? Смотря для чего. Имя всегда для чего-то нужно, правильно?».

«Я сегодня утром читал книгу, – перебил я болтовню Адвоката. – Там было о моем имени. Что Яков – это имя всех революций».

«Правильно, – кивнул Адвокат. – Так и есть. Это и в Библии написано, что Яков с Богом боролся. За то ему Бог имя поменял. С Якова – на Израиль. Потому что Яков – это борец; с братом боролся, и с тестем боролся, с Богом... Революционное имя».

«Получается, что Ленина, по-вашему, тоже должны были Яковым звать», – сказал я, вспомнив Гулю.

Глаза на обшивке смотрели на меня; вздрагивали на ухабах зрачки.

«Ленин? – Адвокат свернул в переулочек. – Ленин был Ульяновым. То есть Юлиановым. Юлиан Отступник, слышали, который христианином был, а потом против христиан гонения начал? То-то. Но и Яковым он все-таки был, этот Ульянов, хотя и неявно».

«Неявно?»

«Неявно. Как звали сына Якова, которого тот более всего любил и которому передал свое благословение? Иосиф. Яков, потом – Иосиф. А кто дело Ленина принял-продолжил? Иосиф...»

«Сталин?»

«Так что был, был Ленин Яковым...»

Машина притормозила. Глаза на обшивке закрылись.

«И написал Ленин письмо соратникам своим и сказал: соберитесь, и я возьму вас, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова.

Троцкий, ты – крепость моя и начаток силы моей, верх могущества и самый способный человек в настоящем ЦК; но ты, чрезмерно хватающий самоуверенностью, бушевал, как вода, – не будешь преимуществовать.

Зиновьев и Каменев – братья, орудия жестокости – мечи их; в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя; проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа.

Бухарин, любимец всей партии, будет змеем на дороге, аспидом на пути, увзвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад, ибо никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики.

Пятаков при берегу морском будет жить и у пристани корабельной; однако слишком увлекающийся администраторством, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе.

Иосиф – отрасль плодоносного дерева над источником; ветви его простираются над стеною; огорчали его, и стреляли и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его. Ибо ты, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть; и да будет она на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими.

И окончил Ленин завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему».

Место это было где-то за Октепе. Зеленые ворота в незабудках ржавчины.

Из ворот выбежал мужчина и стал кричать: «Выпишите ее! Она не спит, она притворяется! Готовить плов не хочет, уборку делать не хочет, детей сколько надо рожать не хочет, притворяется. Она всегда притворяется!»

Адвокат сжал мою руку. Я повел его, не зная, куда идти. «Направо», – говорил Адвокат. Я сворачивал направо.

Здание было двухэтажным и пахнувшим мочой.

Школы пахнут чебуреками, поезда – курицей и мазутом, больницы – человеческой беспомощностью.

«ЛЕТАРГАРИЙ № 1», – прочел я на вывеске у входа.

Мы вошли в пристройку с мраморным полом и голубыми масляными стенами. В слое краски были видны волоски от кисти.

Я остановился.

«Надо подождать сестру», – сказал Адвокат.

Я читал стенды. Почти все на узбекском. Картинки с мытьем овощей и смертью микробов.

Один стенд был на русском.

Тоскливой гуашью нарисован человек с закрытыми глазами.

На стенде написано: «Летаргия».

«При легкой степени летаргии глаза закрыты, больной неподвижен, мышцы расслаблены. Жевательные и глотательные движения, а также реакция зрачков на свет сохраняются. Возможно закатывание глазных яблок. Может сохраняться элементарный контакт больного с окружающими его лицами.

При тяжелой летаргии наблюдаются выраженная мышечная гипотония, арефлексия, реакция зрачков на свет отсутствует; кожа холодная и бледная; дыхание и пульс определяются с трудом. Сильные болевые раздражители не вызывают реакции. Больные не едят и не пьют; отмечается значительное понижение обмена веществ. Летаргия возникает в виде приступов с внезапным началом и окончанием. Продолжаются они в течение нескольких часов, дней или месяцев.

В последнее время в Средней Азии участились случаи тяжелой летаргии. С целью профилактики рекомендуется...»

Дочитать я не успел: передо мной стояла белая сестра и говорила сквозь меня с Адвокатом. «Палец», – повторяла она. Потом принесла два проти-

вогаза и приказала надеть. На противогазах было выведено шариковой ручкой: «ВШЕЙ НЕТ».

«Это чтобы не заразиться, главврач приказ издал, – говорила медсестра, пока я натягивал на лицо тесную и душную темноту противогаза. – Можем, конечно, прививку, но это, извиняюсь, за оплату. А то у нас персонал привитый, лекарство немецкое...»

«А разве летаргия – заразная?» – спрашивал я через пыльный хобот.

«Главврач издал приказ, что заразная... Ладно, идемте к вашему дедульке».

Медсестра была до тошноты похожа на тетю Клаву.

Мы стали подниматься по лестнице; навстречу спускались люди в противогазах. В руках у них булькали банки с остатками серого куриного супа.

Над лестницей висела надпись: «В летаргарию не шуметь!»

Мы поднялись на второй этаж.

«Дедулька, – медсестра ввела нас в палату, – дедулька, переходим на открытую фазу, родственники прибыли».

Яков лежал с закрытыми глазами. По одеялу были разбросаны хризантемки.

«Вы не волнуйтесь, все он понимает, только пошевелиться не может. Иногда говорить начинает, это когда открытая фаза. Такие истории рассказывает, обхохочешься, мы его тут слушаем иногда. Он вам, извиняюсь, кем приходится?»

«Прадедом», – сказал я.

«Ответчиком», – сказал Адвокат.

«Ну вот и забирайте вашего советчика поскорее, нечего ему тут коечку занимать. Или, если накладно, мы справку выдать можем, что умер, и вы его законно уже похороните, хотя похоронить сейчас тоже в копейку вылетает...»

«Как похоронить?» – пробормотал я. – Он же жив!»

«А некоторые родственники не выдерживают и хоронят. Потому что, извиняюсь, кому такая жизнь нужна, чтобы через зонд его кормить и белье заделанное менять. Это такие, извиняюсь, деньги, которые в наше время только незаконно иметь можно...»

«Что это?»

Я смотрел на руку Якова. На ней не было мизинца.

«Операцию проводили, – сказала сестра. – Чтобы выяснить, жив ваш дедулька или уже – там...» И медсестра показала пальцем на потолок в черных горошинах мух.

«...потому что других способов пока нет, бесчувственный он. Вот видите, щекочу его, а он и не засмеется».

И медсестра стала скрести ногтями ребра и подмышки Якова.

«Не надо», – сказал я.

«Да ему, может, приятно, – улыбнулась сестра. – Ну ладно, не хотите хоронить – мучайтесь. Заплатите в кассочку – и до свидания. И подумайте, как коечку освободить, в регионе вспышка, главврач за койкооборотом следит и всех матом. Счастливо вам, всего доброго».

И занялась другим больным: стряхнув его на пол, стала менять простыни. Запах старых простыней пробивался даже сквозь противогаз.

Я смотрел на пустоту на месте мизинца. Пытался вспомнить, каким был раньше этот мизинец.

Дотронулся до лица Якова. Оно было холодным и бледным.

Яков...

Дыхание и пульс определяются с трудом.

Яков...

Сильные болевые раздражители не вызывают реакции.

Яков!

А Адвокат куда-то исчез. Вышел покурить, наверное.

Рот Якова открывался.

«Ты здесь?» – медленно вздохнули губы.

«Пра, Пра, я здесь!» – закричал я, хватая его за руку.

Яков смотрел на меня закрытыми глазами.

Сзади с шипеньем налетела сестра: «Тихо! Тихо вы! Сейчас своим криком всех усыпите, до закрытой фазы! Нельзя у нас кричать... Дедулька ваш в открытую фазу перешел, это когда спят, разговаривая. Сядьте и поговорите с ним лучше, успокойте».

Я сел на край койки.

Противогаз сжимал лицо; в глазах качались медузы головной боли.

«Ты здесь? – повторил Яков. – Ты голыми руками хотел бы, а получилось, как мать родила. И еще местные. Местные, говорю, им польза. А на трамвае не доехать, бери ноги в руки и авоську, так что прощай...»

«Пра, я здесь», – сказал я тихо.

«А они мне – ты производственник, и тебе камень на тарелку вместо борща не положи. Ты хоть не местный, а в трамвай не при. Каравай не прозевай, потому что вот. И раз жидом стал, терпи и ноги в руки. Под милашкину гармошку заведу я йо-хо-хошку. Вот и вам того же».

Сбоку стояла сестра и тряслась. По бугристым щекам текли слезы смеха.

Мне десять лет. Ладони Якова, большие, как два древнеегипетских солнца, поднимают меня и сажают на ветку яблони.

Сидеть на яблоне неудобно и жестко. Но будущий мужчина должен лазать по деревьям. Или хотя бы терпеливо сидеть тощим и прыщавым задом на ветках. И я молчу.

Яков копает землю и рассказывает своей лопате. Меня он снова не видит.

«...вот. Бежать от басмачей не получилось, догнали. Ну и давай плеткой по мне. А потом взрыв помню, и всё. До сих пор не знаю, откуда взрыв был. А может, и не было взрыва, а просто в душе моей взорвалось. И ничего не помню.

Открываю глаза, а тут они сидят, с бородами. Все в черном, их родной цвет. Лечили меня, они ж все врачи. Я давно их нацию раскусил. Даже если кто из них инженером притворится или музыкантом, вот, даю руку на отсечение, врач, обязательно врач! О болезнях любит говорить и советы придумывать: покажите горло и остальное. Медицинский народ, и ум у него фельдшерский, точно говорю. За это я их веру тогда и принял, хотя ничего уже не понимал, каша у меня в голове из всех вер была. Но они меня тогда спасли, когда я между жизнью и смертью, как дерьмо в проруби, болтался. Говорю, спасибо вам, отцы. А они, евреи эти, говорят: тебе, пан, спасибо, ты у нас вестником был, мы через тебя херувимов слушали. Такие, ей-богу, смешные верующие. А кругом, смотрю, пустыня, жара, а они в своих черных пальто, и шляпы такие, чтобы человек на гриб был похож. А они говорят: мы сами из города Витебску, а сейчас в Ташкент по пустыне идем и на поезд садиться не спешим. Отчего, спрашиваю, не хотите поезда? Оттого, говорят, что в Писании ничего про поезд не сказано, а про что в Писании не сказано, то на самом деле туман. А сами меня на носилках тащат, вот какие люди. И ведь непонятно для чего. Ни денег у меня, ни силы. Ноги не ходили, руки не поднимались, только языком с ними все болтал. Так потихоньку в их веру и перебрался, из любопытства, ну и благодарность тоже. Вылечили они меня все-таки, шляпы-грибы. А когда молился с ними, все хотел или «бисмиллу» сказать, или перекреститься. Только когда в Ташкент пришел, дня через два, как с родней навидался, в церковь пошел, на исповедь, покаяться, в каких верах побывал. Только как дошел, смотрю, а церковь разбирают и листы кровельные с куполов та-

щат. Давай, кричат, Яшка, помогай народному делу. Я тырк-пырк и стал помогать. Ташу эти листы, а сам думаю: к какой же это я вере теперь с этими листами кровельными? Определиться бы. Только потом, когда меня по комсомольской линии двигать стали, прошли эти сомнения, как рукой сняло. А одного из богомолов этих, которые меня на носилках несли, я потом видел в самой обычной одежде. Зашли с ним на Воскресенский, выпили утешительницы. Да, говорит он, так вот нас жизнь и переделывает. Стал, говорит, я зубным врачом, а с Богом только по ночам под одеялом разговариваю. Вот-вот, говорю ему, помнишь, ты даже на поезд боялся сесть, а теперь – на современной бормашине... Попрощались мы и так больше не виделись».

Лопата резала весеннюю землю.

Мне стало обидно, что Яков не замечает меня; я разжал пальцы и полетел вниз, на землю, в кусты смородины.

А-а-а!

Однажды, когда мы лежали в темноте с Гулей, я думал о равнине, который стал зубным врачом. О его пациентах, которые корчились в кресле, запрокинув голову к небу и распахнув в молитве гниющие рты.

«Боже, какой у нас кариеес!» – говорит дантист и прикасается сверлом к зубу, похожему на крепость царя Ирода, I век до н.э.

А-а-а!

А у нас с Гулей был поздний вечер и шел дождь. Квадраты уличного света на стенах пульсировали от потоков воды, двигавшейся по стеклам.

Гуля спала. Я уткнулся в ее горячее плечо. И постарался забыть о равнинах, несущих через пустыню голого русского мужчину, говорящего во сне на древнееврейском.

Я сидел на койке и слышал, как чужая речь хлещет из Якова, как теплая ржавая вода.

Койка хрустела, как шоколад, когда с него снимают фольгу.

Расплатился с медсестрой остатком денег, и она перестала заполнять собой палату.

Ушел, забыв на тумбочке свои часы, Адвокат. Часы не шли, стрелки прилипли к циферблату. Внутри, однако, тикало. Значит, там было время. Просто оно было таким слабым, что не могло двигать стрелки. Я стал придумывать название для слабого времени, которое не может сдвинуть стрелки.

В окне из двора летаргария выруливал “жигуленок” Адвоката, разбивая мягкие зеркала луж.

Я позвонил из приемного покоя родителям и сказал, что остаюсь дежурить у Якова на ночь. Родители ответили невнятное. Их рты, как всегда, были забиты поцелуями.

Дождливый день облился закатом и погас. Запел муэдзин. Больной на соседней койке зашевелился, сполз с кровати и сжался на полу, качаясь в поклонах. Глаза его были закрыты, голые колени блестели выпуклыми линзами в лучах заката.

Мне не хотелось оставаться. С утра нужно было ехать на Брод, где у меня, кажется, еще теплилась работа. Женщина Алиша забеременела и намылилась рожать; Алиш кормил ее днем деликатесами, а ночью думал, как бы ее бросить или, может, не бросать, но как тогда с родителями. В общем, Алишу нужен сменщик. «Представляешь, – сообщал он по телефону, – вчера он у нее там в животе двигался, я сам видел».

Я стянул с себя противогаз и стал раздирать ногтями кожу.

Запах ударил в лицо. Я жжал ноздри и стал свободной рукой открывать окно.

Открылась только форточка. Я встал на край подоконника и стал дышать. За больницей темнели глиняные дома с огоньками телевизоров.

А вдруг я действительно заражусь летаргией?

Я слез с подоконника и посмотрел на Якова.

Для чего он лежал с Гулей? Где теперь Гуля?

Я сел на раскладушку и стал есть остывший машевый* суп. Раскладушку и суп принесла медсестра. Уже другая – тихая, как виноградные листья, как мышь, как остывший машевый суп.

«Раскладушка – три тысячи сум за ночь, – шелестела медсестра. – И еще тысяча – за ваш сон».

«За мой сон?»

«Нима**? А, да, за сон. Главврач приказал. А если во сне что-то увидите – это по отдельному тарифу. Свадьбу увидите – тысяча сум, рождение сына – полторы тысячи, работу в налоговых органах – две тысячи, трехкомнатную квартиру в банковском доме – три тысячи, похороны по всем правилам в святом месте – пять тысяч сум».

«А откуда вы узнаете, что я увижу во сне?»

«А у нас все на честности». Медсестра помазала ладонь Якова зеленой и исчезла в коридоре.

Втянул в себя остатки машевого супа. Поставил касу*** на подоконник. Вылил водоросли холодного чая.

Мужчина с соседней койки, намолившись, так и остался на полу. Поднимать его я боялся. У него было счастливое лицо.

Я погрузился в раскладушку и закрыл глаза. Попросил, чтобы приснилось что-нибудь, не входящее в список платных снов. Пусть даже тот первый дурацкий вечер, когда мы с Гулей сидели в кафешке и пережевывали шашлык, а официантка водила по столу тряпкой и смотрела на дождь.

Глаза открывались медленно. Теперь они были заклеены безымянным клеем, который раньше стоял на советских почтах. Клей был желтым, тягучим и ничего не клеил.

Наконец я, рывком распахнув глаза, уперся взглядом в больничный потолок.

По потолку ползла световая отрыжка выезжавшей машины.

Который час?

Я сел на раскладушке и посмотрел на Якова.

«Пра, – сказал я и потер глаза, – может, тебе что-то надо?»

Он молчал.

Я покрутил головой, разминая затекшую шею.

«Может, ты хочешь пить?»

Тишина.

«Я тебе сейчас принесу попить».

В действительности пить хотел я. Но надо было заполнить тишину, от которой закладывало уши.

Хуже всего, что в этой тишине существовали звуки. Прорастали в ней, как склизкие луковицы. Тяжело дышали матрасы. Слезились краны. Захлебывался ночным монологом унитаза. Двигались по коридору тапки, наполненные мозолями, ногтями и дырками в носках.

Стали постепенно просачиваться и голоса. Кто-то говорил сквозь одеяло, упираясь языком в мокрые ворсинки. Потом начинал течь женский смех. Смех этот тоже был придушен, утеплен стекловатой по самые дыхательные пути, но все-таки вытекал и вытекал маленькими пневматическими отрыжками.

* Маш – разновидность бобов.

** Что? (узб.).

*** Каса – большая суповая чашка.

Я толкнул дверь и вышел в коридор.

В коридоре стояла фигура в белом халате и приседала. В лысине отражалась единственная горящая лампа. На меня она не обращала внимание. Халат был наброшен на голое тело. Она продолжала приседать; губы, которые то поднимались, то опускались вместе с телом, шептали: «Сто сорок девять... Сто пятьдесят...»

Я подошел. «Сто шестьдесят три...»

«Репетируем, – сказал он, не глядя на меня. – Готовимся к утренней гимнастике... Сто шестьдесят пять... Левой, левой... Уф!»

Он перестал приседать и провел ладонью по животу: «Каждое утро делаем гимнастику. Чтобы не заразиться».

«Приказ главврача?» – спросил я.

«Тс-с... – сказал человек в халате, и, наконец, посмотрел на меня. – Зря вы без противогаза».

«Вы меня не помните? Вы ставите диагноз с помощью губ».

«Губ? Может быть. Иногда у меня бывает странное настроение. Иногда я гримируюсь под своих больных и заставляю их лечить себя. Но сейчас мне очень хочется присесть, присесть...»

«Где можно попить?»

«Везде. В любой палате. Берите у больных, они все равно ничего не понимают. Зачем им только воду приносят. Мусор один от этой воды». Снова стал приседать: «Раз. Два».

Я пошел по палатам. «Пять... Шесть... Кто идет?.. Мы идем... Кто поет?.. Мы поем. Двенадцать... Пятнадцать...»

В палате пахло кислым молоком.

Лежали двое мужчин и одна женщина с длинными, свисающими с койки волосами. Перед волосами сидела на корточках знакомая тихая медсестра и заплетала их в косички.

Лицо спящей женщины было тоже знакомым. На правой руке у нее не было двух пальцев, среднего и указательного.

«Почему они у вас вместе?» – сказал я.

«Нима?»

«Почему вместе они у вас, почему мужчины и женщины вместе?»

Сестра посмотрела на меня долгим медицинским взглядом.

«А какая разница... – сказала она, наконец. – Спящий человек одинаковый пол имеет. Ему разница нет».

Я сел на край койки и вспомнил.

«Я знаю ее. Я ее один раз в метро видел. Она с парнем иностранный язык учила».

Пальцы с желтоватыми ногтями быстро заплетали косы.

Сестра поплеывала на пальцы и снова заплетала.

«Нима? Да, язык учила. Ночью учила этот язык, во сне через магнитофон. Замуж за этот язык хотела и уехать в него насовсем. Потом один раз не проснулась, такой случай был. Сюда на “скорой помощи” приехала, во сне язык повторяет. Потом мужчина-учитель, который языку учил, сюда пришел, говорит, должен целовать. Мы тут так смеялись, говорим: наука не справляется, вы лучше что-нибудь другое поцелуйте. Короче, не пустили. Нима? Не пустили, говорю...»

Я вспомнил пустую станцию метро и вывески, качающиеся на подземном сквозняке.

«Я попью?»

Я поднялся и подошел к тумбочке, на которой стояла бутылка.

Около бутылки лежала кучка пестрых пакетиков.

Они были надорваны. Неряшливо и торопливо.

«Откуда здесь презервативы?»

«Нима? Что, опять их оставили? Ой, бесстыдники, сколько их ругала,

сколько ругала, сколько главврачу пожаловаться обещала! Вы же, говорю, будущие врачи, вы и заразиться можете, и случай беременности был. Молодые совсем, в голове пыль. Раньше разве так было? Раньше если практиканту кто из больных нравился, он ухаживать за ним начинал, белье чаще менял, дефицитную капельницу ставил. Даже свадьбы были, скажу. И семьи крепкие у них были. А теперь им семья не надо. Просто придут, дело сделают и еще мусор на прощанье оставят».

Я тупо разглядывал пакетики.

Рука, вспомнив о чем-то, потянулась к бутылке с водой. Отвинтила крышку, взяла бутылку за теплую пластмассовую кожу и поднесла к губам.

Я почувствовал, как открывается мой рот, как губы соприкасаются с горлышком.

«Ну все, – сказала сестра, заплетя последнюю косичку. – Теперь тебе, доченька, хорошо будет. Голове легко будет».

Достала из кармана ножницы, поплевала на них. Стала быстро отрезать косы.

Косы с шелестом падали на линолеум.

Сестра собрала их и завернула в газету.

«Завтра волос продам, внукам конфет куплю, давно просят. Зарплата у нас маленькая».

Положила газету в сумку.

Концы кос торчали из сумки, как укроп.

«Такая маленькая зарплата, как жить? Иногда сама заснуть хочу...»

И, повернувшись к обстриженной, поклонилась: «Спасибо тебе, доченька. Ты ведь мне как дочка... Я ей колыбельную иногда пою. Кугирчогим, кугирчоком... Сенсан менга овунчок... Сенла доим вактим чо!»

Сестра напевала и бодала тощим бедром койку. Спящая тряслась, правая рука ее свесилась и коснулась линолеума, где еще недавно валялись обрезанные косы.

«Кугирчогим айлаё... Овунчогим айлаё!»

Я чувствовал, как мои ноги наливаются стеклянной тяжестью. Как постепенно обростает изнутри сном мое тело. Как я жду того, чтобы медсестра со своей песней ушла и я остался бы один с девушкой без двух пальцев.

Дверь палаты приоткрылась.

Заглянула лысина с бегающими глазами: «Вы с ума сошли! Главврач ночной обход делает, а у вас тут песни и посторонние без противогаза!»

«Ой-ой-ой-ой-ой, – зашептала медсестра, – ой, сейчас ругать будут! Беги в туалет быстро прячься, что стоишь, главврач будет, главврач...»

Выбежать я не успел. Коридор уже шуршал шагами; поскрипывало. Толпа подошла к двери. Медсестра спрятала лицо. То же самое сделал и лысый.

Дверь открылась.

В коридоре стояла каталка.

Около нее стояли два врача с марлевыми повязками на глазах.

На каталке лежал человек в белом халате. Судя по строгому выражению спящего лица, это был главврач.

Мне удалось вырваться. Хотя никто не держал. Но было чувство, что я вырвался.

Каталка с главврачом осталась позади. Я летел по коридору, поднимая и опуская тяжелые стеклянные ноги.

«Просыпайтесь, люди! Подъем! Подъем!»

Я залетал в палаты, сдергивал сырые одеяла, тормозил прилипшие к простыням тела. Закрытые глаза смотрели на меня с ужасом.

«Вставайте!»

Последнее, что я помнил, до того как сон сожрал меня...

Мужская фигура, та самая, что лежала в одной палате с Пра. Она стояла в коридоре и блестела открытыми глазами.

«Два часа ночи, – сказала фигура. – Не стыдно так кричать, а?»

Сказав это, фигура ушла в палату. Сквозь приоткрытую дверь я видел, как она ложится, опускает на лицо тибетейку и замирает.

Мои стеклянные ступни перестали удерживаться в воздухе. Они упали на ковровую дорожку и разбились. Я полетел лицом в осколки моих ног.

«И пришел он на одно место, и остался там ночевать, потому, что зашло солнце. И взял один из камней того места, и положил себе изголовьем, и лег на том месте.

И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба...»

«И боролся Некто с ним до появления зари...»

Часть III. СОН ЯКОВА

Ребенок бесшумно ест конфеты. Снегопад поглощает звуки. Медленно, на ощупь, едут машины. Когда дуешь в ладони, становится еще холоднее.

Яков в военной форме дует в ладони. Ладони из стекла. В животе тикает будильник, второе сердце мужчины; оно гонит по артериям и капиллярам время. Маленькие серые хроноциты.

Он дует в ладони.

Яков охраняет мосты. В его ладонях все мосты города. Еще в них несколько воспоминаний, которые он не любит хранить в голове. В ладонях их держать тоже неудобно, мнутся. Но в голове – еще хуже.

В голове должен быть порядок. Когда заведешь мостами, в голове должно быть чисто. Снег вреден мостам. Люди, лошади, машины начинают скользить и задыхаться. Грифоны на Саларском мосту, сделанные из песка, мокнут. Мокнут и наклоняются к воде. И Яков тут бессилён. Он дует в ладони.

Воспоминания колеблются. Сегодня они похожи на лепестки студня. От них идет пар. Температура воспоминаний выше температуры воздуха.

От каналов тоже поднимается пар. Пар шатается, как пьяный, ощупывает что-то, как слепой. И исчезает, съеденный воздухом.

Ребенок внутри воспоминаний снова ворует конфеты. «Без зубов останешься», – говорит ему Яков. Мальчик быстро прячет обертки. Что-то дожевывает.

Яков погружает ладони в карманы и идет осматривать мосты.

«Темно, – плачет ребенок в кармане, – мне темно. Не наказывайте меня, Яков. Я не дотронусь больше до ваших противных конфет».

Хлопоты с этими воспоминаниями. То им темно, то жарко. А в голове держать не хочется, в голове должно быть чисто, как в тумбочке. Голова должна содержаться в образцовом виде. Потому что голова всегда на виду у начальства.

В пустой будке звонит телефон. Яков идет к будке.

Ладонь Якова вылезает из кармана и берет трубку.

«Яков?» – спрашивает трубка, не успев прижаться к уху.

«Это ты?» – спрашивает Яков.

«Это не я», – говорит трубка.

«Тогда зачем звонишь?»

«Предупредить. Мост взрывать будем. Один из десяти. Сегодня».

«Еще не надоело? Вон какой снег».

«Нет, будем взрывать».

Яков вздохнул. Придется усиливать охрану. Брать двойной обед, надевать две пары нижнего белья. Леденцы из пистолета вытряхивать.

«Яков...» – сказала трубка.

«Ну что еще?»

«Яков, это я».

«Да я уж понял», – обиделся Яков и повесил трубку.

Жители стеклянного города и их дети здоровались с Яковом. Все-таки единственный военный. Когда Яков погибнет, защищая что-нибудь, из него сделают чучело для местного музея. Чучельщик уже приходил с тортом к Якову, снимал мерку.

Но сейчас редкие жители, идущие по снегу, желали Якову здоровья. Кто-то заметил, что у него открытое горло, и посоветовал срочно приобрести шарфик.

«По уставу не полагается», – сказал Яков.

«Ваше горло принадлежит нашему городу!»

«Да», – согласился Яков, вспомнив чучельщика с тортом.

Через два тупика начиналась набережная.

Собственно, весь город состоит из тупиков. Если долго идти, упрешься. Даже главный проспект весь состоит из тупиков. Нужно просто вовремя сворачивать. На вопрос: «как пройти?» – старожилы прислушиваются к своему внутреннему будильнику и говорят: через две с половиной минуты повернете направо... потом через семь минут налево.

«Яков, я уже исправился», – говорит мальчик в кармане, икая от конфет.

«Молодец, – хвалит его Яков, – еще посиди. Сегодня опасно».

«Вы жестокий, – говорит мальчик и начинает бить кулаками в пачку сигарет. – У вас вместо сердца часики тикают, да?»

«Не вместо сердца, а где положено. И вообще не очень-то. Сидишь в кармане и сиди согласно уставу. Вырастешь, я тебя из кармана в рюкзак пересяжу и еще посмотрю на поведение. И так весь карман загадил».

«Но ты же сам хотел, чтобы с тобой всегда был маленький ребенок. Ведь ты же меня заказывал! Маленький, карманный, удобный. А как я танцую? Как я прыгаю, ты же сам хвалил».

«Хвалил», – хмуро повторяет Яков.

Яков выходит на набережную. Слева сквозь толпу поблескивал Мост в будущее.

Мост в будущее был самым некрасивым мостом в городе. Даже путеводители советовали его не посещать.

Обиднее всего, что этот мост был самым древним. На месте моста когда-то жила девушка. Недалеко жил дракон, и что-то между ними было. А вокруг копошились горожане, их интересовали подробности. Одни болели за девушку, другие – за дракона. Старики говорили, что придет рыцарь, и поможет кому-нибудь из двоих, дракону или девушке. Но когда пришел рыцарь, оказалось, что помогать уже некому. Дракон умер от истощения, девушка – от свинки, которую тогда не умели лечить. Рыцарь уныло слез с коня, посмотрел на горожан, доедавших плов из остатков дракона, и повелел построить на этом месте мост. И с рыданиями удалился. Горожане мост построили. Правда, долго пользовались им как городской свалкой, потому что река протекала в другом месте. Но потом река поменяла русло и мост пригодился.

Правда, пригуждался мост только до тех пор, пока реку не начали очищать. Вначале очистили от мусора, потом от химических примесей. Вода стала дистиллированной; рыба, умерщвленная гигиеной, исчезла, зато по реке поплыли тетки в купальных шапочках. Наконец, реку очистили от самой реки. Теперь ее остатки текли где-то под землей, по трубам. Только под мостами были оставлены небольшие пруды, в которых резвились декоративные головастики.

Яков подошел к мосту; вокруг улыбались японцы. У них шла экскурсия; экскурсовод пересказывал историю про дракона по-японски. Иногда закатывал глаза и хохотал, изображая то ли дракона, то ли девушку.

Экскурсовод закончил рассказ; замерзшие ладони похлопали. Туристы разбрелись фотографировать. Сыпал снег.

«Яков, вы опять обо мне забыли, – пожаловались из кармана. – Когда мы отправимся на карусели?»

«Когда перестанешь конфеты воровать», – сказал Яков, разглядывая японцев.

«Значит – никогда», – вздохнул мальчик.

К Якову весело подошел экскурсовод. На нем были красные вязаные перчатки и красный шарф; и вообще он был красивый. Снег таял в его бровях, и Яков подумал, что и его собственные брови сейчас в снегу, и провел по ним пальцем. Палец стал мокрым, и Яков быстро вытер его об шинель.

«Привет, когда мосты взрывать будут?» – спросил экскурсовод.

Яков улыбнулся: «Когда надо, тогда и будут».

Закурили.

«Жалко, что ты не глухонемой, – сказал экскурсовод. – Намечалась группа глухонемых туристов, а я их языком не владею».

Наконец Яков высмотрел то, что ему было нужно.

Японец отлетел на снег, Яков заламывал ему руки.

Вокруг стояли туристы; кто-то фотографировал.

«Отпусти, больно, – прохрипел снизу турист. – Ты, Яков, полномочия превышаешь».

Подбежал экскурсовод: «Яков, опять ты мне бизнес портишь! Ну и кого ты поймал?»

«Да... все того же... – тяжело дышал Яков. – Полюбуйся».

Пока шел этот разговор, тот, кто лежал на снегу, освободил руку... Осторожно нащупал уплотнение на животе у Якова. Уплотнение тикало. Ладонь стала медленно сжимать его.

«А-а!» – закричал Яков.

Туристы перестали фотографировать.

Ладонь сжимала часы в теле человека. Последние секунды серыми хроноцитами гасли в кровеносной системе.

Часы остановились. Яков лежал на утоптанном экскурсионной группой снегу.

Убийца поднимался, отплевываясь от снега.

«Скажите нашим гостям, что солдат Яков не умер, а просто перешел из нашего времени в другое», – сказал он экскурсоводу.

Экскурсовод перевел.

Японские туристы понимающе закивали.

«А что, – спросил убийца у экскурсовода, – они у себя в Японии часы не заглатывают?»

«Не-е, – сказал экскурсовод и нахмурился. – Надо сообщить родным, близким и чучельщику».

Яков лежал на снегу; из кармана у него выглянуло что-то розовое, вроде носового платка.

«Ладно, пойду», – сказал убийца, приглаживая волосы.

«Ну, счастливо, – сказал экскурсовод. – Подождите, а мост? Вы ведь хотели взорвать мост?»

«В другой раз, в другой раз», – отмахнулся преступник и пошел прочь.

Экскурсовод посмотрел на следы, оставляемые уходящим, и замахал флажком:

«Минасама*! Делаем фотографии, быстро делаем фотографии! Посмотрели на его следы, все посмотрели! Видите, следы в виде цифербла-

* Господа! (яп.)

тов? В виде циферблатов с двумя стрелками? Это был главврач! Только он оставляет такие следы! Делаем снимки!»

Отпечатки циферблатов темнели на снегу и тянулись за удалявшейся фигурой. Было видно, как по мере удаления перемещалась секундная стрелка. Туристы шурились шуршаками.

Когда они сели в автобус и уехали к следующему мосту, шинель Якова пошевелилась. Из кармана вылез мальчик, вытирая об себя липкие от конфет руки.

«Яков, – сказал мальчик, – мне хочется сладенького».

Помолчав, сам себе ответил голосом Якова: «Хочется-перехочется. Перехочется».

Прошелся вокруг тела, скользя чешками по снегу.

«Если бы попросили бессмертия, ходили бы сейчас, охраняли свои мосты. И не надо было просить себе детство. Взрослый человек не должен быть стеклянным. А вы просили детство, вот и радуйтесь. И вы тут непонятно чего, и я без конфет».

И, надев кепочку, стал перепрыгивать по следам-циферблатам.

Делать это было непросто, потому что с каждым прыжком менялись освещение, место и время года. Прыжок – весна. Прыжок – еще что-то, догорают листья.

Там, где следы пересекали дорогу, мальчик остановился и стал ждать свадебную машину.

«Что-то разбилось?»

Гуля, в жутком свадебном платье, смотрела на жениха.

Они ехали в машине.

«Что?» – спросил жених.

«Звук был такой, как будто разбилось».

«Тебе идет это платье», – сказал жених.

Гуля отвернулась к стеклу. За стеклом приближались и уносились низкие деревья. Над ними неподвижно висели горы. Свадебный кортеж двигался к Чарваку. По плану, первую брачную ночь молодожены должны провести в «Пирамидах», наслаждаясь видом на водохранилище.

Гуля слегка опустила стекло. Ледяная струя заиграла цветами в венке.

«Жопу простудишь», – сказал жених.

«Ты раньше не был таким грубым», – ответила Гуля, все так же глядя в стекло.

«Я не грубый, киска, я заботливый, запомни», – улыбнулся жених и подмигнул девушке, сидевшей слева от него на сидении. Девушка сделала гримасу и покачала красиво завитой головой. Она играла роль свидетельницы со стороны невесты.

На переднем сиденье сидел свидетель со стороны жениха и с помощью зубочистки занимался исследовательской работой во рту. Компания по пути закусила шашлыком; поле деятельности для зубочистки было широким.

Жених широко зевнул. У него были ровные зубы, красивый мускулистый язык и рельефное влажное небо. «Музыку сделай», – сказал он свидетелю.

На капоте болталась белая кукла с раздвинутыми руками и ногами. Когда ехали по городу, кукла сидела смирно, но за городом что-то ослабло, и куклу мотало, как пьяную женщину. Это очень смешило жениха и свидетелей с обеих сторон.

Загремела музыка. Гуля еще сильнее прижалась к стеклу.

Дорога пошла наверх.

«Прошлой зимой на серпантине две машины сорвались!» – крикнул свидетель, повернувшись. Из-за музыки это все равно никто не расслышал.

В лобовом стекле появилось покатое тело плотины.

«Здесь остановите!» – крикнула Гуля.

Свернув с дороги, машина остановилась. Водитель убавил музыку.

«Сколько тебе нужно, киска?», – спросил жених.

«Я уже говорила, сколько», – сказала Гуля и стала выходить из машины. Свадебное платье, широкое, как наполненная пеной ванна, с трудом вываливалось наружу.

Наконец Гуля вышла и пошла вдоль дороги. Мимо пролетали машины.

«Сейчас все платье ей заделают», – сказала свидетельница.

«А куда она пошла?» – спросил шофер.

«Ей попроситься надо», – сказал жених и нахмурился. Хмурость ему тоже шла. У него был широкий лоб, какой бывает у ученых.

«С кем прощаться?» – спросил свидетель со стороны жениха, вода зубчаткой по лобовому стеклу. Кружочек, кружочек. Животик. Ножки.

«С детством», – ответил жених.

«Взвейтесь, кострами, синие ночи!» – запищала свидетельница. Заметив взгляд жениха, замолчала. Улыбнулась. Несмотря на съеденный шашлык, ее улыбка пахла мятой и как бы говорила: покупайте жевательную резинку «Мятный бриз».

Снова застучала музыка. Жених посмотрел на часы и, откинувшись на сидение, закрыл глаза.

Гуля остановилась и тоже посмотрела на часы.

Свадебное платье шевелилось и шумело от ветра. Теперь оно было похоже на огромный сухой торт, с тысячей розочек и других радостей. Или на парашют, не способный спасти, но способный доставить падающему последнее эстетическое удовольствие. Поблескивали жемчуг, бисер, стеклярус, осколки чего-то и бутылочки со слезами уважаемых невест прошлого. Чуть ниже болтались лоскутки из тех самых простыней, на которых кричали в свою первую брачную ночь три прабабки и две бабки. Лоскутки были обшиты по кайме жемчугом, к одному лоскутку была приколоты медаль «Мать-героиня», которая до этого успела принести счастье на двадцати свадебных платьях. У самой прабабки-медалистки было десять сыновей; все занимали хорошие должности.

В общем, обычное свадебное платье.

Стрелка часов показывала без десяти двенадцать.

С горы, кашляя дымом, съезжал мотоцикл. Остановился недалеко от Гули. С него спрыгнула Эльвира.

«Ой, красавица какая, сахар-мед! – закричала она на Гулю, подбежав. – Обнять тебя хочу».

«И я тебя хочу обнять», – улыбнулась Гуля.

«Давай, подруга, обнимемся. Только платье твое помять-попачкать боюсь. Я-то – рабочая».

Гуля сама обняла Эльвиру.

«Молодец, Гулька, что решение приняла. Ладно, по пути скажу все, что наболело, поехали».

Эльвира вцепилась в руль; Гуля пристроилась сзади, обхватив подругу за пояс.

Мотор закричал и снова запнулся.

«Не могу тебя так везти, – сказала Эльвира. – Платье твое запачкаю. Ты перед ним в чистом платье должна быть. Иначе белая дыра тебя не примет. Давай, я тебя на руках отнесу».

«Не надо. Там отмоюсь».

«А то – давай, – Эльвира снова завела мотор. – Я – сильная, булыжники таскаю. Ладно, подол задери, чтоб не цепляло».

Мотоцикл рванул вперед.

«У наших я тоже узнавала, – кричала вдова, отплевываясь от ветра. – Они говорят, буржуи такое часто делают, чтобы наших отбить. Подсыла-

ют им своих людей, оформляют через загс, а потом развращают материальным благополучием...»

Мотоцикл подпрыгивал, рыгал дымом и летел рывками наверх.

И снова застыл.

Эльвира обернулась к Гуле и посмотрела на нее железным взглядом.

«Платье твое тоже ведь... чьей-то кровью ткалось!»

Гуля стала молча срывать с себя оборки.

«Подожди! – остановила ее Эльвира. – Это я просто мысль свою тебе сказала. Не рви себя. Пусть это проклятое платье сейчас на тебе будет, так лучше. Я другое спросить тебя хотела: ты ради него сюда пришла или ради своего рыженького, чтобы оживить?»

«Не рыженький он совсем», – сказала Гуля.

«Скажи, я дура, да?»

Гуля погладила правую щеку Эльвиры; мотоцикл снова зашумел и пошел вверх, к месту, где из горы торчал бетонный квадрат.

Они стояли перед квадратом, на котором раньше была голова, а теперь – дыра. Бетонные стены были расписаны именами и символами.

Эльвира достала ведро с красной краской. В ведре качалась кисть.

«Не запачкайся, подруга», – сказала Эльвира.

Гуля взяла кисть. Жирная красная капля упала на траву в двух сантиметрах от платья.

Краска ложилась неровно, оставляя серые зерна стены.

Эльвира стояла спиной и кусала губы. Смотреть на возникающее имя ей не полагалось.

«...ов», – дописала Гуля и положила кисть в открытую ладонь Эльвиры.

«Написала имя? – спросила Эльвира, все так же не поворачиваясь. – Ну, теперь дороги назад нет. Идем, дева».

Гуля посмотрела вниз, пытаясь разглядеть свадебную машину.

Дул ветер. В воздухе качались стрекозы.

Имя «Яков» горело на солнце, отражаясь в выпуклых глазах насекомых.

Они стояли над обрывом.

Под ними, поблескивая, темнело озеро.

«.....», – читала ровным голосом Эльвира речь Ленина к молодежи.

Гуля стояла у самого обрыва.

«.....», – продолжала Эльвира, борясь с ветром, который пытался листать книгу по своему произволу. – «.....».

Гулины губы повторяли: «.....»

Наконец, Эльвира прочитала: «Аплодисменты, все встают», – и посмотрела на Гулю.

Та все так же стояла спиной. Ветер то рвал фату, то снова бросал ее Гуле в лицо. Шумело свадебное платье.

«Дева, – сказал голос Эльвиры. – О ком думаешь, дева?»

Гуля молчала и смотрела в озеро.

«О Яшке своем думаешь?» – продолжал голос за спиной.

Гуля кивнула.

«Или о женихе своем думаешь?»

Гуля снова кивнула.

«Или об старике этом думаешь?.. Да что ты киваешь все, кивальщица?! Ты о нем должна думать, о нем! Думаешь о нем?»

Гуля задумалась на секунду. Озеро росло под ней, расплывались горы, куда-то вытягивалось небо.

Зашумели кусты. Эльвира обернулась.

В кустах запутался и бил тонкими ногами барашек.

«Пошел, пошел отсюда!» – замахала на него Эльвира.

Животное смотрело на нее и дрожало.

«Пошел, говорю...»

Эльвира вытянула зверя из куста, поставила, как ребенка, на землю. Барашек заковылял прочь.

«Я не могу», – сказала Гуля.

«Что? – переспросила Эльвира, снимая с себя налипшие колючки. – Не можешь? Ну... ладушки. В другой раз. В другой раз... В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора...»

«Я не могу!» – крикнула Гуля.

Ветер приподнял ее над землей и, задержав на секунду, для того чтобы Гуля успела увидеть протянутые к ней руки Эльвиры, понес вниз.

В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора.

Фата развернулась, швырнула сама себя вверх, размокла в яростном, кусками, солнце, посыпались снизу вверх жемчужины, пузырем всплыло в воздухе платье,

«Я поведу тебя в музей», – сказала мне сестра.

одним краем прижатое ветром к левой, свободно парящей ноге, другим, разорванным краем взлетая почти к груди, к бушующим оборкам, где раскрылись пальцы, лоя убегающий воздух, где негодуяюще шумели лоскутки от простыней святых бабок и

Вот через площадь мы идем и входим наконец в большой красивый красный дом, похожий на дворец.

прабабок, честным ором расстававшихся со своей невинностью, где во встречном потоке снизу вверх летели красноватые горы в пятнах кустарника и только озеро никуда не летело и ждало...

Из зала в зал переходя, здесь движется народ.
Вся жизнь великого вождя передо мной встает...

Машина с белой куклой стояла в тени боярышника.
В ожидании Гули народ расположился в разных позах.

Жених открыл глаза и посмотрел на часы.

«Дай сумку», – сказал он свидетельнице, рассматривавшей свои ногти. Свидетельница нащупала сумку и протянула жениху.

Пальцы жениха нырнули в темноту, набитую деньгами на мелкие расходы, визитными карточками.

Нашли.

«На, поставь». Жених вытащил кассету и протянул свидетелю.

«Это что?»

«Гулька просила сейчас поставить».

«Ой, – зашевелилась свидетельница, – давайте не надо, потом, а? Задолбали эти ее пионерские песни. Мне уже ночью пионеры снятся, честно. Давайте потом!»

«Ладно, – кивнул жених, – поставь нормальную музыку... Только, как Гулька возвращается, поменяете сразу, чтобы она не...»

Свидетель пошуршал в кассетнике, нашел нужное.

«Бух-бух-бух», – заиграла нормальная музыка. Свидетельница стала размахивать в такт руками; поблескивали ногти, шевелились локоны в прическе, сделанной в салоне красоты на Дархане, если выйти – слева...

Кассета с Гулиным голосом так и осталась лежать на выгорающей траве. В суматохе о ней забыли.

Потом, недели через три, жених вспомнил о кассете.

Он лежал, похудевший, с песком небритости на щеках. Рядом, в скользкой нейлоновой ночнушке, лежала свидетельница.

Она тоже похудела, превратившись из свидетельницы на свадьбе в свидетельницу в идиотском уголовном деле. Кроме нее, в деле была еще одна женщина, которая называла себя «товарищ Эльвира» и произносила зажигательные речи о борьбе и о том, что низы не хотят. Товарища признали невменяемой и отпустили прямо из зала суда. Какие-то люди в карнавальной пролетарской одежде встретили ее на улице аплодисментами и ведром красных гвоздик.

Бывший жених потрогал свою любовницу: «Спишь?»

«Разве я могу заснуть?» – сказала она, целуя его куда-то в темноту.

«Я что вспомнил, киска... Гулька кассету просила тогда поставить».

«Ну просила».

«Потом ее, блин, потерял... Тупо получилось».

«Да, тупо».

«Может, поищем? Ну, кассета такая... Можно поискать на всякий случай».

«Я хочу спать!»

Она вообще-то любила Гулю. Просто она боялась мертвых и смерти, и любила спать, и чтобы рядом был теплый мужчина, хранитель ее сна.

Еще через месяц кассету нашли дети, ехавшие в летний лагерь и выпущенные из автобуса для мальчики направо, девочки налево. Вставили потом в мафон, но там вместо музыки какая-то женщина все время объясняла и плакала. Кассету использовали на лагерном празднике «Костер знакомств». Размотали пленку, бросили в костер. Горящая пленка летела в небо. Получился классный салют.

Дождь был недолгим – как будто сверху отжали белье и успокоились. Ветер распахнул окно и забрызгал комнату солнцем.

На большом матрасе лежал мужчина. На нем был больничный спортивный костюм и волосатые носки.

Еще у него была длинная борода, отливавшая рыжим.

Не открывая глаз, мужчина провел рукой по матрасу.

Солнце дрожало на щеках, животе и носках.

На полу валялось одеяло.

«Где книга?» – сказал мужчина и открыл глаза.

Цветовые пятна хлынули в его зрачки, расталкивая друг друга, вытесняя и превращаясь в потолок, окно и занавески. В полку с огурцами и спинку железной кровати с кругляками. В пестрый матрас и спортивные штаны, протертые на коленях до марли.

Мужчина поднял голову и пошевелил носками из верблюжьей шерсти. Медленно поднялся, привыкая к пространству, и пошел к двери.

В соседней комнате за столом сидел лохматый белый старик.

«А, проснулся! Проснулся, внучок-говнючок? А я знаю, как тебя зовут, видишь. Ты – Яков, вот так. Другие имена тебе не подходят, я давно это заметил. А меня ты как звать помнишь?»

Мужчина на пороге медленно построгал бороду, потер ее между пальцами.

«Откуда у меня борода?»

Старик вдруг тоже уставился на бороду и засмеялся.

«Да, богатая борода, можно париков нарезать... А-ффф!»

Из смеющегося рта вылетела конструкция.

Старик поднял ее, подул и пристроил на место.

«Это не челюсть, это моя мучительница».

«...а тетка твоя Клавдия, ну, ты помнишь, принцесса цирка, всё пасть свою на дом разевала. Да, так вот она самая. Раззвонила всем, умер, говорит, наш кавказский должожитель, добро пожаловать на похороны. А я это лежу и все слышу, только шелохнуться не могу, понимаешь? Ну, ты понимаешь. А она там соловушкой трещит, приходите, последний путь и всякую такую, извиняюсь, белиберду в телефон. Потому что дом уже в своем кармане чувствует. Так ей того мало, стала родне пыль пускать, позвала священников с трех, понимаешь, разных вер. И христианского, и мусульманского, и иудейского разом. Это же вообще... А она плачет, и говорит, раз покойник за свою долгую трудовую жизнь в трех верах побывал, пусть, говорит, они его в последний путь каждый своим макаром. Ну, для чего же ей это было, глупой, а? Ведь дура такая – троих священников за один прирест, сама же себе и навредила. Понимаешь?»

Мужчина кивнул. Он уже успел умыться подгнившей водой из умывальника и отстричь бороду, засыпав волосами все пространство под зеркалом.

«Ну эти, церковники, тоже обиделись. У них же и костюмы разные, и всё. А циркачка им: ну раз так получилось, быстренько спойте, автобус ждет. И тут я уже не выдержал и голову поднял. Что, говорю, тут, а? Что, говорю, тут водой расплескались?»

«Водой?» – спросил мужчина, почесывая обстриженные щеки.

«Да, водой... Не знаю, почему про воду подумал. Показалось, что-то рядом в воду упало. Можёт, цветы какие упали, цветов много было, Клавдия уж расстаралась, ей, понимаешь, красоты еще сверх всего хотелось. Ну вот и дохотелось. Такая дурость началась, одни от меня пятятся, другие, наоборот, тискают меня, как подушку. А я сам еле на ногах стою. Вот тут Клавдия вся и проявилась. Как заревет, паровоз настоящий. Я, говорит, тут, да я вас, да откуда ж такие неподыхающие люди берутся... Гудит вся и руками вокруг себя работает. Вот посади ее на рельсу, пинка дай – точно, паровозом поскочет. Так и тронулась умом. Детей своих по подругам распахала, сама теперь у меня на крыльчке обитает, зернышки клюет».

«Кто обитает?»

«Кто – Клавдия, о ком я тебе рассказываю? При всех накричала, что смерти теперь моей будет официально ждать, вот сидит и ждет. Я ее не гоню, пусть, на здоровье. Не веришь – поди ей хлеба снеси, она из моих рук есть отворачивается».

Он вышел во двор. Двор за время болезни весь наполнился жарой, покрылся листьями, виноградными усами, взлетающими и садящимися птицами.

На приступке сидела полная женщина и смотрела в голубые дали.

«Тетя Клава...»

«А, – обернулась женщина, – проснулся, странник?».

И запахнулась в халат, как будто ей было холодно.

«Я хлеба принес, тетя Клава, – сказал мужчина. – Вот».

«Вижу. Положи на стол, нечего мне тут тыканье своим хлебом. Я, между прочим, тут не задаром, я работаю. Я тут, видишь, детей отгоняю, чтоб по деревьям не рассаживались».

«Тетя Клава...»

«Ну что тебе?»

«Вы бы домой зашли».

«Сам туда заходи. Мне и здесь прекрасно. Раз сказала, что буду на этой приступочке смерти его ждать, так и сделаю. Вот так. Пока он точно не помрет и это через лабораторию не подтвердят».

Взяв со стола лепешку, стала быстро ее кусать.

«Тетя Клава, вы что, действительно ждете его смерти?»

«А что, по закону не положено?»

Мужчина пожал плечами.

«Я, Яшычка, все по закону делаю. Я закон своим сидением не нарушаю. Я после этих похорон, которые он в такое ха-ха-ха превратил, что перед людьми стыдно, клятву при всех дала. Я тогда во все эти смеющиеся хари свою клятву дала, и вот пусть все видят. Так и буду сидеть и ждать этого».

«Нехорошо...»

«Что ж нехорошего?»

«Ну трех этих пригласили, служителей».

«Вот заладили! Да не звала я их. По книжке телефонной всех обзванивала, может, номером ошиблась. Ну, а когда они появились со своими этими, я, конечно, – не выставлять же их за порог, пусть быстренько помолятся, раз пришли... А уж как я, Яша, старалась! Каких цветов купила, хоть бы кто мне за всю жизнь один такой букетик. Да я бы... я бы не то что за такие цветы – за одну от них оберточку растаяла. А могилку я ему на каком элитном кладбище достала, самое экологически чистое место нашла... Деревья! Птицы! Пальчики оближешь. Что еще человеку нужно?! Лежи себе и молчи. Так нет же! Хорошо еще утопленницу какую-то на свадебных машинах привезли, хоронить негде, потому что к свадьбе готовились, а получилось шиворот навыворот... Так я им сунула эту могилу, готовую, облизанную, букетов им науступала, ты бы слышал, как они мне благодарны были. Могут люди добро ценить. Так что иди, Яшычка, буду я здесь сидеть, как сволочь, смерти его дожи...»

Сняла мизинцем слезы, стряхнула, снова посмотрела вдаль.

Завонил мобильный. Достала, приложила к уху.

«Да. Нет. Нет, Славочка, нет, мой сладкий. Нет, еще не умер. Да, сижу жду. Не надо, Славонька. Не надо про родного прадедушку такие слова. Какой еще киллер? Ты совсем головой стукнулся, он тебе родной прадед, несмотря ни на что... Да. Вот сколько надо, столько и буду сидеть. Хоть до посинения буду, не твое дело... Что – по химии? Почему по химии? Какое еще родительское собрание – недавно же только было? Вот и попроси тетю Веру на это родительское, а мама, скажи, ра-бо-тает. Да, у прадедушки твоего работает, на тяжелой работе. И сколько надо, столько буду. Ну, давай-давай, предавай мать. Все меня и так предали. И адвокат меня предал, и...»

Мужчина еще раз посмотрел на свою тетку, кричащую в мобильник, и вернулся в дом.

Остановился, потер виски.

«Я чего-то не помню. Я что-то забыл».

Вспомнил вдруг, как умывал свое лицо. Оно оказалось таким грязным, что не хватило умывальника и пришлось доливать из ведра, в котором плавал шмель.

Его пальцы выловили шмеля за желтое пузо.

В потревоженной воде качались лицо, шея и плечи. Потом все это перелилось в умывальник. А шмель остался лежать на земле.

Потом поднял ладонь. На ней не хватало среднего пальца.

Сквозь отсутствующий палец был виден кусочек окна с садом. Сад качался, расслаиваясь на большие зеленые мазки. Вот в проеме между пальцами показалось лицо тети Клавы с мобильником. Пошевелив губами, тетя Клава скрылась за указательным пальцем.

«...А книгу, которую ты о моей жизни хотел писать, помнишь? – спрашивал старик, разливая чай. – Что ж ты тогда помнишь?»

Мужчина молча смотрел в чашку. Вращаясь, оседали чайники.

Потом посмотрел на картину на стене.

Мальчик. Конь. Круглая зеленая вода.

У коня было мужское лицо.

«Сон свой помню», – сказал он вдруг.

«Сон?» – спросил старик.

Носик чайника застыл над пустой чашкой. Только одна капля упала на дно и исчезла.

«Будто хожу и мосты охраняю. А во мне идут часы. И в кармане ребенок постоянно просит угостить его конфетами. А потом меня убивают, только мне почему-то это совсем не обидно, и все время снег».

«Уф», – сказал старик.

Из носика снова полился чай. Третья, непонятно кому назначенная чашка была наполнена.

«Уф, напугал меня, Яшка-букашка, аж сердце зашло. В последнее время, знаешь, снов стал бояться. Не знаю, отчего. Всю жизнь любил вкусно поспать, а теперь не знаю, откуда такое ко сну предубеждение. Кончилось чем у тебя там все?»

«Проснулся...»

«Вот хорошо. Молодец. Моя мать говорила: иди, воде сон расскажи. Вода его от тебя унесет, и будешь свеженький. А лучше писателю расскажи, он в рассказ это обстругает. У меня тут Писатель гостит, бывший Клавдиев адвокат, а оказалось, что не адвокат, а вот этой самой другой профессии. Мы с ним в шашечки и книгу обо мне пишем. С Клавдией он не общается, она ему собаку запортила. А со мной – так целую неделю, пока ты тут дрых... Сам он тоже дрыхнуть любит, профессия такая. Сейчас позову, сам просил к чаю его растолкать, чай для него – всё...»

Сделав ладони рупором, старик крикнул:

«Писатель! Тут-ту-ду-ду! Тошкендан гяпрамыз *».

Где-то заскрипела дверь.

«Эй, Пушкин! Пошли к нам чай пить!», кричал старик.

Дверь открылась, в комнату вошел человек в темных очках.

Оба Якова глядели на него из-за накрытого скатертью стола.

Под скатертью просвечивала газета с какими-то древними новостями.

Посмотрев на Писателя, Яков-младший выпустил из рук чашку.

К счастью, она не упала на пол. Разлилась на столе.

Скатерть сразу намокла, и газетные листы проступили во всем великолепии. Ближайшая статья рассказывала о семье водолаза с Чарвакской плотины и его жене, секретаре местной комсомольской ячейки. Супруги, накрытые мокрой, в чайниках, скатертью, весело улыбались.

«Эх ты, Яшка, руки дырявые, – говорил старик, глядя на своего бледного, облитого чаем правнука. – Разучился чашку держать, а? Вон тряпка, возьми, протришь...»

«Да нет, – оправдывался правнук, водя по руке полотенцем, – просто чувство такое...»

«У вас, молодых, всегда чувства. Чашек на ваши чувства не напасешься. Хорошо еще, целая осталась!»

«...такое чувство, что я это уже когда-то видел», – договорил мужчина и положил полотенце поверх мокрой скатерти.

И тут в беседу вступил Писатель.

Он уже успел сесть, поднести к правому глазу чашку с чаем, словно проверяя, хорошо ли она наполнена.

«Значит, вы это уже видели? – спросил он, ставя чашку на стол. – Интересно. Это для меня интересно. Я ведь сейчас как раз об этом пишу повесть. И эта повесть о вас».

«Обо мне? – переспросил Яков-младший и снова начал вытирать мокрым полотенцем сухие руки. – Спасибо, но я... Я не просил. Пра сказал, что там... что-то про него».

«И о нем там будет тоже, – сказал Писатель. – Вы не волнуйтесь. Это будет совершенно безболезненная повесть. К тому же она уже написана».

* Тошкендан гапирамиз – здесь: «Говорит Ташкент» (узб.).

«Где?»

«Вот здесь, – сказал Писатель и похлопал себя по желтому, с залысинами, лбу. – Что вы так смотрите? Вы знаете другое место?»

«В шашечки, может, сыграем?» – предложил старик, которому этот разговор за мокрой скатертью стал надоедать.

Писатель улыбался, правнук нервно щипал себя за оставшиеся на щеках рыжеватые клочья.

«А на бумаге? Как насчет повести на бумаге, чтобы прочли?» – спрашивал он, морщась и вспоминая то какую-то машину с глазами внутри, то еще что-то.

«А на бумаге ее запишите вы, – сказал Писатель. – Я писать не могу, дефект зрения. Те глаза, которые я выловил со дна Чарвака, мне, увы, подошли не полностью. Слишком большие и наивные. Вижу я в них еще туда-сюда, а вот писать никак. Поэтому запишите вы. По мере вспоминания, естественно».

«Ну, одну партию, – стучал по столу старик. – На победителя...»

Сыграть не получилось: в комнату, взявшись за руки, входили родители.

«Ой, похудел-то как... – сказала мать, глядя на сына, выглядевшего старше нее. И, посмотрев на мужа, добавила: – Я тебе говорила, что он похудеет».

Муж, он же отец, он же седеющий подросток в джинсах, пожал плечами.

«Как ты, дедулечка? – Мать подошла к старику и поправила на нем воротник, отчего воротник стал еще кривее. – Как там порох в этих самых? Молодец, дедуля, всех нас еще переживет! Видела сейчас Клаву, ну, о здоровье спросила... По-моему, ей просто нужен мужчина...»

«Черт лохматый ей нужен, – сказал старик, обиженно прихлебывая чай. – Был у нее и Клоун этот, царство ему небесное, и Писатель вот сидит который. Все – интеллигенты. И все от нее кто в гроб, кто в дверь. Потому что у нее, как у моей покойной сестры, которой она внучка, – неправильное мышление. Вот, помню, сестра ко мне как-то пришла: обними ее, и все тут. Честно: Я ей говорю: конечно, время тяжелое, Туркестан в кольце, тут еще мятеж осиповский...»

Заметив, что его не слушают, старик стал усиленно громко кашлять.

Но гости уже разбрелись по комнате, словно одетые в непроницаемую одежду из невнимания. Писатель стоял около картины с красной лошадью и созерцал. Родители, соскучившиеся по сыну, но все такие же замураванные в свое семейное счастье, сообщали ему разные домашние новости. Вроде того, что они решили читать молодежную литературу, одолели Мураками и созрели для Пелевина.

«Я уже лично созрел, – говорил отец. – А Мураками, старик, – это круто».

Мать кивала и смотрела сквозь сына, чтобы не встретиться лишний раз глазами со своим возрастом.

«Яш, – сказала она, наконец. – Мы с отцом должны сказать тебе одну новость. Можно, да? (Посмотрела на мужа.) Спасибо. В общем, мы в положении. То есть, я. Но мы с папой... Да? (Посмотрела на мужа.) У тебя будет, кажется, сестричка. Ты рад?»

Сын кивнул и испуганно улыбнулся.

«Моя улыбка, – сказала мать. – У него моя улыбка. Жалко, что не твоя, да?»

И снова посмотрела на мужа.

«Будешь сестричку нянчить, – продолжала мать. – И назовем ее – угадай как?»

Сын начал угадывать. Когда по второму кругу пошла «Катя», мать нахмурилась:

«Да нет... Ну, я думала. Мы ее назовем Гулей. Гуленькой».

Лицо сына стало еще более испуганным. Только губы улыбались.

«Почему... Гуля?» – медленно спросил он.

Родители переглянулись.
«Ну, в честь и... имя красивое», – бормотала мать.
«Интернациональное», – быстро добавил отец.
Родители засобирались домой.

«Вы знаете смысл этой картины? – спросил Писатель, подводя все еще испуганного правнука к репродукции на стене. – Вы знаете ее смысл?»

Мальчик на красном коне.

«Нет», – говорил правнук и смотрел на повязку, прикрывавшую писательский рот.

«Зря. Почти у всех картин есть смысл. Картины без смысла – это самое страшное. Их, насколько я знаю, вешают в аду. А эта картина... Знаете, почти в одни годы с ней была написана другая, и другим художником. Но с тем же смыслом. Девушка на большом быке, на спине, и этот бык так же вот на нее смотрит. Так же глазом косит... Называется: Похищение Европы, художник Серов, помните? А вот эта картина, Купание красного коня, только какое здесь купание? Это похищение, видите, конек на отрока как смотрит? Да... Похищение России, 1912 год. Потому что Россия – это не вот эта баба, не бронзовая самка, как на ваших монументах... Вот она, Россия, – мальчик, бритый подросток, скользящий по мокрой конской спине. Куда его унесет красный конь? Может, к синим ветрам Атлантики... Может, в Сибирь. А может, и сюда, в самую Среднюю в мире Азию. Мальчик лениво соскальзывает с коня и падает в горячий песок. Погружает в песок пальцы... Вы вспоминаете, Яков? Мальчик смеется, и от его смеха в песке выдувается ямка, а упавшая на песок слюна тут же обрастает тысячей песчинок... Яков...»

Молодой человек стоял на коленях у дивана. Руками он пытался зажать уши и при этом раскачивался. Лицо его уже не выражало ничего, кроме родовых мук воспоминания. Его прадед, обидевшись на невнимание и упущенную партию в шашки, забился в угол с гармошкой. «Ты скажи мне, гармоника, – осторожно напевал он, боясь выронить челюсть, – где подруга моя... Где моя сероглазынька, где гуляет она-а-а...»

Насладившись этим зрелищем, Писатель вышел из комнаты.

Как видите, я записал эту странную повесть.

Именно в том порядке, в каком она мне вспоминалась.

Не отделяя и не раскладывая по разным полочкам сны и все остальное. Просто нашел магнитофонные записи, нашел ту книжку с письмами к Ленину, нашел нашу фотокарточку с Гулей. Правда, про карточку писать не стал. Тогда бы пришлось прикладывать, а зачем?

В конце я уже даже не мог писать от своего лица, такое проснулось отвращение к своему «я». Захотелось выпрыгнуть из этого первого лица, со стороны с собой разобраться. Вот как сейчас, когда смотрю на себя на фотке и думаю: какой я все-таки чужой себе человек... А вот Гуля получилась хорошо. Классно получилась.

Вспоминать все пришлось одному, расспросить оказалось некого.

Пра вскоре умер. Не от старости и не от холода, на который все больше жаловался. В молоке, которое он пил, оказались зерна граната. Попали не в то горло. Всё. Пока я метался над ним, тетя Клава радостно вызвала «скорую». Потом ездila в морг и умоляла о вскрытии. Хотя стариков не вскрывают и на нее смотрели как на помешанную. Она и была ею. На похоронах она подходила ко всем в короткой юбке и говорила: «Ну поздравьте же меня, что ли». Некоторые поздравляли.

Теперь она живет одна в огромном прадедовском доме. Дети к ней не приезжают, боятся. Она их, кажется, не сильно зовет. Чтобы соседская детвора не обирала деревья, она вырубila все под корень, а потом еще и подожгла пни. Я пришел туда, когда она ходила среди дымящихся пней и

кашляла. «Яшычка! – обрадовалась она мне. – Я построю здесь фитнес-клуб. Современный фитнес-клуб, Яшычка...» Я не осуждаю ее. В том, что дом достался ей, есть и моя вина.

Никаким фитнес-клубом там до сих пор не пахнет. Только пеплом. Соседские дети смотрят из-за забора, как живет русская баба-яга, и пугают ею друг друга.

Конечно, ни о чем тетю Клаву я расспросить уже не мог. Пришел к ней один раз с тортом, и ушел с тортом на голове. Все потому, что спросил о завещании Якова.

Кстати, незадолго до смерти Яков часа два сидел с Писателем. Или с Адвокатом. Или не знаю с кем. Вот кого стоило бы разговорить. Но после того он исчез. Тетя Клава, выпив, жаловалась, что он был скучноват как любовник. «Ты думаешь, я с ним что там делала? Я зевала!»

Не мог расспросить и родителей. После рождения сестренки у них все начало расплываться. Они постарели, стали хлопать дверьми и жаловаться. Один раз – мама стояла с орущей сестренкой – отец обматерил их и заперся в ванной. Когда я вошел туда (крючок был слабым), он листал порнографический журнал и всхлипывал. Сестренку, кстати, назвали не Гулей. Не знаю, почему. В последний момент сделали Катей.

Теперь Катя в круглосутке. Так решили родители, чтобы сохранить семью. После этого семья действительно стала склеиваться. Мама удачно уничтожила живот и покрасила волосы, отец снова стал приседать по утрам. Они забирают Катю на выходные. С Катей приходится сидеть мне, она все время плачет, но родители где-то восстанавливают семью, и я их не дергаю. Я здорово наловчился менять памперсы, хотя мама и называет меня памперсным транжирой.

Когда я окончательно уйду из дома, я заберу из круглосутки Катю, сделаю ее обратно Гулей и мы будем жить вместе. А может, и не буду ее переназывать. Катя – вполне нормальное имя.

Эльвиру тоже найти не удалось. Говорят, она в России. Недавно по ящику показывали какую-то коммунистическую тусовку, и камера долго кушала Эльвирино медное лицо с раскосыми глазами. В том, что это именно ее лицо, сомнений нет. Как и в том, что она скоро станет известным лидером, душой озабоченных масс. На Чарвакской плотине, где я побывал, Эльвира уже сейчас обросла легендами. Рассказывают, как она два раза спасала Ташкент от наводнения.

С Гулиными родителями я встречаться не стал; встретился с ее несостоявшимся мужем. Он оказался умным, меланхоличным бизнесменом. Мы проговорили целый вечер и расстались с желанием никогда больше не видеться. Рядом с ним сидела его новая жена и бросала на меня влажные взгляды. С ней я встретился еще один раз. Попили кофе в «Демире» (платила она), поносились по ночному Ташкенту. Начиная рассказывать о Гуле, она переходила на себя, сбить ее с этого было уже невозможно. Когда через пару дней я потерял ее телефон, почувствовал облегчение.

Что касается Летаргария, то такого места в Ташкенте не оказалось. Ни за Октепе, нигде. Хотя во время поисков я нашел несколько очень похожих больниц, с теми же запахами и лицами. В одной с меня даже потребовали оплатить какой-то сон со свадьбой и службой в налоговых органах. На худой конец – про охранника мостов.

Закругляюсь. Повесть дописана, я снова на свободе. Память моя опять пуста, и даже Гуля, о которой я думал все время, пока писал, теперь отдалилась. Хотя не знаю. До сих пор, когда я слышу в городе имя «Гуля», вздрагиваю и вспоминаю, как мы идем по высохшему дну Чарвака.

В последнее время стал часто молиться. Вообще думал уйти в монастырь. Не могу оставить Катю. С Катей в монастырь, конечно, не примут. А мне нужен монастырь, где с детьми.

Еще учу узбекский. Кажется, делаю успехи. Мен узбек тилини урганаяпман*.

И последняя новость: я снова работаю на Броде. Да, снова в караоке. С килограммом ваты в ушах, хотя все равно не помогает. А что? Наши песни – ваши деньги. Главное – накопить на квартиру для себя и Катки. За это и «я тебя люблю-ю-ю» потерпеть можно. В последний месяц мне это даже стало нравиться. А один раз родители пришли, у мамы, оказывается, хороший голос, а отец ей подпевал... Потом пошли, шашлык там поели... Еще что-то... Фанту... Кажется, или... А отец еще смеялся... На второе заказали... а я завернул это для Катки... только пережевывать хорошо... Посидели...

И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти Меня, ибо возшла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков.

...И нарек Иаков имя месту тому: Пенуэль; ибо, говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя.

Ты здесь? Ты здесь?..

Ташкент, июнь – ноябрь 2006



* Я учу узбекский (узб.).

Дмитрий Александрович ПРИГОВ

Хотелось бы получше, да...

В ночь с 15-го на 16 июля 2007 года Дмитрия Александровича Пригова не стало.

Верстка этих стихов легла на редакторский стол утром 16-го вместе с печальным известием. Понимаем, что выглядит это клишированным приемом, но, к сожалению, это правда.

Теперь по-особому звучит заголовок подборки – «Хотелось бы получше, да...» и отточие – как горький привкус слез по ушедшему навсегда поэту.

Предуведомление

Хотелось бы... Да куда уж! И возраст не тот. И сама система, так сказать, порождения стихов уж настолько отлажена, даже, вернее, замылена, что просто воспроизводит самое себя в неких беспрерывно повторяющихся актах или, как говорится – артефактах. Хорошо еще, если в артефактах!

Так что же может улучшиться в области версификации, тропов, эвфонии и словосочетаний, словаря, принципа отсылок, цитат и аллюзий, вкрапления прозаизмов и квазинаучных пассажей, а? Ну если только кое-что обнаружится за пределами перечисленных позиций стихосложения – например, в области количественной, жестовой, в области фиксации и объявления мощности личностного мифа.

Ну хоть на это понадемся.

* * *

Как отвратительный дракон
Идет и алкогольным дышит
Подлец
Духом
И где же подлецу закон
Кто в книгу вечности запишет:
Вот он, подлец, в лицо дыхнул
И через то, подлец, отнял
Может быть
Два наидрагоценнейших невосполнимых отрезка моей

жизни

* * *

Мы долго плыли вдоль Ванзее
Взбивая легкие следы
И птицы странные глазели
Как рыбины из-под воды

Когда же подплывали к пристани
Приблизил я к воде лицо
И пригляделся к ним попристальней –
Так это ж лица мертвецов
Вернее, утопленников местных
Глядели на меня

* * *

Волен зи тотален криг? –
Геббельс как-то их спросил
И в ответ единый крик:
Даааа! – раздался, – что есть сил
Будем до последней капли
Биться! – и таки погибли
Практически
Все

* * *

На горном кладбище в Италии
Весною расшумелись птицы
У них любовные баталии
С того и мертвецам не спится:
Что там за шум? о чем галдят? –
Поднимут головы, глядят
А вспомнить, что это значит, – уж и не могут

* * *

Очень долго мы летели
Удаляясь от земли
Потеряли тяжесть в теле
Потеряли что могли
Кто ж такие вы, ребята? –
А мы совсем не космонавты
Как вам подумалось –
Мертвецы мы

* * *

Я помню нежных октябрат –
Подстрижены под ноль головки
Они как ящерицы ловки
Скользили, прыгали меж парт

В школе
И я, и я был среди них
Однако же уже в живых
Осталось, видимо, из них
Немного
Вот я остался, например, немногий

* * *

Земля неверная вздымается
В Москве
Как будто бы под ней ползет
Какой-то мощный паразит
Наружу выбраться пытается
В центре
Но мне порядок местный вверен
Тайный
Сакральный
Я говорю ему: – Не время
Еще!
Сиди там! –
Сидит

* * *

Кто в Средней Азии бывал
В горах глухих – тот не забудет
Как никогда не забывал
И я тех мест, где полулюди
И полудемоны бродили
И в ухо дули, и ты или
Сам становился полудемоном
Или умирал
Мне тоже в ухо дули

* * *

Пушкин, заросший волосами
Расчесывает на пробор лицо
От носа к скулам, чуть наискосок
Нет, нет, это я про другого Пушкина
Про собачку в одном английском доме
Так прозванную вполне беспричинно
Но как же это собака расчесывает волосы? –
А и действительно!
Значит, это про настоящего Пушкина
Я и не подумал

* * *

Крестьянки чувствовать умеют
Тоже
А что уж чувствуют они –
Никто об этом не умеет
Сказать, и даже в наши дни
А если скажет что такое
Глядь – а они уже другое
Чувствуют

* * *

Лиса приходит на порог
Отжитого лесного дома
Стучит и ей навстречу бог
Выходит местный и знакомый
Негрозный

Она кладет пред ним яичко
Как приношение и дар
И бог целует ее в личко
Чувствителен и благодарн
Что с другими, более известными могущественными и
распространенными богами, как правило, не бывает

* * *

Забегая я в пивняк
Принимаю пару пива
Все пристойно, все красиво
Только чувствую – не так
Что-то
Не то
Обегаю быстрым взглядом –
Все в порядке, все как надо
А вот чувствую, что-то не так
А что – не понять



Тесный мир

ИЗ ЦИКЛА РАССКАЗОВ

Никогда не хватало денег, всю жизнь. Сперва просто не было. Что, если задуматься, отменяет понятие нехватки. Мне, к примеру, не хватало также хвоста и гривы. Но я не лошадь. Мне совершенно хватало *отсутствия* того и другого. Мне не хватало роста. Для чего? Кроме как для того, чтобы положить мяч двумя руками в баскетбольное кольцо, у меня его было достаточно. Красоты. Чьей? Античного любовника Антиноя? Брэда Питта, голливудской звезды? Действительно, такой мне не хватало. Но своей – в самый раз. Той, что привлекает к себе взгляд, не сверяющийся с журналом. Ума. Несомненно. Ума никому не хватает. И доброты, ее тоже. Но в том размере, какой кому отпущен, ровно в нем их оказывается довольно. Это качества не универсальные, стать умней и добрей кого-то нельзя. Себя – да, но тогда о какой нехватке речь? Не очень умный, не очень добрый, в общем, каждый. Или очень, разница едва заметная. Деньги – вроде ума и доброты: сколько есть. Может быть больше, может меньше, но сама величина – абсолютная: сколько есть.

А когда появились, стало не хватать, как недостает зрения зайти за горизонт. Вот у меня уже яхта, как у Абрамовича, и на палубе вертолет. Но один. Ну как-то поужались – два. Но ведь не три. Сказка про рыбака и рыбку. Когда есть, всегда не хватает, логика вещей, аксиома.

История, к которой я приступаю, – как посмотреть: сцеплена из общих мест, а невероятная.

1

В молодости у меня была близкая знакомая, Ада. «Ада из Ленинграда». То есть мы все и жили в Ленинграде, так что «из» абсолютно ни к чему, но как не пустить в рифму? Компании, всем известно, в молодости складываются непонятно как. Этот знает эту, эта того, лет через тридцать почешешь в затылке: что меня с этой и с тем связывало, ума не приложу. А связывало, и даже казалось, что иначе и быть не могло, и не может, и никогда не будет. Чуть что – звонили, ходили, делились, седьмым ноября пользовались, чтобы сойтись, откупорить, потрэндить.

Жила на канале Грибоедова. Точнее, в Спальном переулке, но он выходил на канал, а Грибоедов звучал благородней. Новое название переулочка было... вот подумайте, вылетело из головы. Имени какого-то мелкого революционера. Созвучное Спальному. Славин? Саблин? Спальным его сперва игриво прозвали, еще при Петре: в нем стояли публичные дома. Когда официально упорядочивали городскую топонимику, решили не менять, а после революции барышень выгнали, проветрили и вселили жильцов обык-

новенных, приличных. Отец Ады был какой-то спец, кажется, электротехник, профессор военной академии. Отдельная квартира – по нашим тогдашним меркам огромная (три комнаты, плюс каморка прислуги) и роскошная (шифоньеры, скатерти, потолки). Тогда говорили: настоящая петербургская квартира. Нам скорее нравилось: флер старорежимности. Хотя и умеренно: дух буржуазности. Аде нравилось очень: именно, что буржуазно – как *тогда!* как *там!*

Она и была на благополучие, на устроенность нацелена. Нам в этой плоскости рассматривать жизнь в голову не приходило. Кому «нам», кто такие «мы»? А черт его знает, кто. Ну вот эти самые мы-молодые, компания. Адочка в нее входила полноправно. Острый язычок, нравственность на грани, компанейское вольномыслие, дачная миловидность, драйв, *иль темперамент*. Буржуазность? А еще и веселей: ты, Адка, буржуазка – вступай в партию, еще лучше жить будешь. «Я-а?!». Слезы по щекам, губы дрожат – немое кино... А скажешь нет? Че плакать-то? Девичьи слезы быстро сохнут. Ладно, не вступай, выходи за партийного. *Шутю, шутю*.

Вышла – не за члена правящей, конечно, но за кандидата наук. Митя. Не за то мы тебя, Митяй, уважаем, что ты такой ранний, сказать по-чеховски, кандибобер, а за то, что ты с Аделью ложе делишь. Адское – так или не так? Чокается, лыбится, отвечает добродушно, не хуже другого любого, а все норовит слинять, юркнуть в спальню и там за туалетным столиком почиркать свое математическое.

Всё. Конец этой самой молодости, зрелость. Уже «жигуль» типа «фиат», уже дубленка серебристого цвета, уже папа, разработчик ГОЭЛРО, умер, уже застой, временные перебои с тем-сем, диссидентов сажают, евреев выпускают – а кто в России не еврей! Уезжать Ада ни-ни, с какой стати? Но побазарить, что невтерпез, что вся страна – зона, что всем надо сваливать, что вот увидите, если меня не выпустят в Карловы Вары – я в профкоме на сентябрь записалась, – *то подам и свалю*. В Вары пускают, но за бензином очереди на пять часов. Ну?! Можно так жить?! Пора, пор-ра двигать. Завезли бензин – кто-то стал регулярно мочиться в парадном. Невозможно войти, людей приличных невозможно в гости пригласить. Х-х-хосподи, есть же где-то мир, где живут по-человечески. Не-ет, уезжать из этого хлева, у-ез-жать! А ты чего, Митька, сидишь молчишь улыбаешься, как буд-то тебя не касается?

А я уже подал...

Античная трагедия «Ревизор», немая сцена... Как это подал?... А ты, Адочка, говорила, что пора, я взвесил, прикинул и пошел подал заявление... На кого?... На себя с семьей. Потихоньку заполняю анкеты. Собираю документы. Ты начинай собирать свои... Полный атас: ревизор *прибыл*.

Объявляется месячник прихода в себя. Слезы нон-стоп, дрожание губы и даже подглазный тик. Мама – а есть мама, ведет драмкружок в Доме офицеров – совсем плоха. Родное гнездо покину только ногами вперед. Еще сын, отрок анемичный и бессловесный, ему что Ницца, что Вырица, он собирает трамвайные билеты, сумма первых трех цифр равна сумме трех последних. Няня. Ах, няня (еще Адочкина, но и отпрыска ее), голубка ты дряхлая моя, – за ней присмотрит подруга. Да любая, полно подруг остается. В этом хлеву, в этом позорище.

Долго ли, коротко ли – Филадельфия. Говорить ли, что не эллинская занюханная, не древнепалестинская тухлая, а самая настоящая, два часа – и Нью-Йорк, два других – и Белый дом? Говорить ли, что квартира не хуже, чем у секретаря парткома завода «Большевик»? Что в районе между ... и ..., недалеко от ... и рядом с ...? Что если ты скажешь американцу, что в окне виден Пубик-сендер, он поймет? Никаких – хотя мы не расисты – черномазых, никаких латинос. И у Мити работа именно в Пубик, самом большом компьютерном НИИ после ..., так что если ты скажешь американцу, он опять поймет.

Словом, всё полный о'кей и бесспорное счастье. Мальчик собирает автографы «Филадельфия Флайерс» и «Филадельфия Севенти-сикстерс». Мама ведет драмкружок при продуктовом магазине «Rostov». Но психике не прикажешь, тик и дрожь, слезные железы работают как бешеные – депрессия. О, американская депрессия! Говорить ли, что не экономическая 1929 года, а нутряная, укладывающая на диван лицом к стене, отменяющая телефон, семью, аппетит и речь. Не отличающаяся ничем от неамериканской, но в Америке убийственная. Потому что противоречит Конституции. Конституция запрещает впасть в депрессию. Не говоря о том, что в стране неограниченных возможностей, в атмосфере всеобщего «давай!» депрессия означает, что не твое это место. Не быть тебе золотарем, навсегда останешься черпалой и зря приезжал.

На это есть психоанализ как индустрия, врачи как менеджеры и аптеки как рудники блаженства. Приволоклась кое-как к сайкологдисту, он на нее посмотрел, вопросов про сексуальные отношения родителей задавать не стал, а сказал просто: «В чем дело, Ада?». И, слово за слово, выяснилось, что Аду преследуют страшные картины ее старости. Что Митя из математической вредности, конечно, умрет первым, на чувства сына-коллекционера рассчитывать нечего, и сдадут ее в богадельню, где грубые санитары и казенная еда. Так почему же, представляя себе это – и, заметим, не без основания, – не накопить к старости денег и встретить ее не нищенкой, а румяной богачкой, спросил неглупый доктор. Почему, например, не заняться по малу, по копейчке, скупкой-продажей-скупкой недвижимости, которая, как известно, начиная с шалаша в Эдеме, пошутил он, только дорожает и приносит обладателю твердый доход.

Короче, когда я прилетел в Америку в конце 80-х и в течение месяца разъезжал по ее университетам с лекциями обо всем русском: характере, душе, уме, поэзии и самомнении, – Ада провела меня с экскурсией по городу, обращая мое внимание исключительно на дома с выставленными на продажу или недавно купленными квартирами, которые, имея она достаточно тысяч, немедленно начали бы приносить ей баснословную выгоду, а к концу жизни засыпать золотом по шею. Напротив одного она торжественно остановилась и с волнением призналась – шепотом, хотя никто не подслушивал, – что в этом она *уже* имеет: *ту бедрумную*, при покупке, всего полгода назад, стоившую ей сто сорок, а сейчас, могу ли я это себе представить, сто сорок пять. И, могу ли я себе представить, *могидж* всего ..., процент всего ..., срок же погашения аж ...!

Новый миллениум, а с ним и смазанный его величием секулум, и совсем уже затертый ими обоими аннум 2001-й Ада встретила владелицей домика в штате Мэн, другого на Кейп Код, маленькой фермы в Северной Каролине, дачки в Кэтскилских горах, трех квартирок в Филадельфии и трех в Майами, штат Флорида. Не считая собственной и оставленной для себя майамской, все они были сданы, так что золото доходило уже до колен. Это, увы, постоянно приносило беспокойства и хлопоты, но нанятый адвокат все затруднения благополучно разрешал. Ада разговаривала с мужем, как хозяйка жизни со снимающим в этой жизни комнату, пусть и с отдельным входом. С сыном никак и с матерью никак, потому что сын уехал от нее – он это так и обозначил: уезжаю от тебя – на Аляску, а мать на сто мохнатом году умерла. Ада на поминках произнесла неслабую фразу: «Как она могла это сделать, когда я ее так любила!»

Когда я купил в деревне Пески, в Ярославской области, избу, Капитолине было под семьдесят. Ее дом стоял наискось от меня через дорогу, крайний, за ним луг, за лугом лес. Кто из соседних, безлесных, деревень приезжал на велосипеде, на мотоцикле по грибы, свой транспорт оставлял у ее

забора. В радиусе трех, а и всех пяти, километров люди в таких местах друг друга больше или меньше знают, но к ней относились, как я заметил, дополнительно лично. О чем-то просили, не только перекидывались, подъезжая и отъезжая, словом, а и в дом заходили, по четверти часа, уже взявшись за руль и ногу собираясь занести, стояли и живо разговаривали, то шутили, то совсем всерьез.

Полная, круглолицая, с чертами, понятно, расплывшимися, но с протупающим за ними обликом привлекательной в молодости девки, в зрелости бабы. В первый мой год еще держала телочку, но уже было не под силу, и травы столько косить, и выгонять каждый день на новое место, и просто следить. Продала, завела коз, с пяти утра начинал петух орать, курицы ко-ко-ко, а они ме-е, отчаянно и театрально. Каждый день огород, точнее, два, второй на моей стороне, за приусадебными участками: дали как премию, когда на пенсию выходила. Вангоговская картофельница, один к одному, главный Капитолины образ: и в мае, когда градки копать, и в июне – окучивать, и в августе – выбирать, сперва на нашем краю, потом на своем.

Меня, мимо проходя, учила. Прутья сливовые, один покрепче, если желаешь, оставь, остальные выруби. Коси пяточкой и не маши палкой-то. Вырой яму и сноси в нее дрянь-траву, а за получше которая, я приду. Скорлупки от яиц не выбрасывай, тоже мне давай. А кости – Найде моей.

Разговаривала со мной охотно, больше рассказывала, чем слушала. А я ловил себя на том, что мне, в общем, и нечего ей рассказать. Придется многое объяснять, вводить в курс дела, а сути на пять копеек. Что в час ночи зимой, пьяный, без очереди влез в такси и не вылез за шапкой, которую с меня сорвали и подальше отбросили? Такси. Очередь на такси. С какой стати? И в чем вообще фишка-то? Или что провел на спор ночь в зоопарке? Что девчоночка вылезла на балкон, соседний с моим, а дверь захлопнулась, а дома никого нет, и я к ней перелез и ...? Точнее, хотел. Был готов, честное слово, но ее бабушка изнутри первая открыла. Так это же все надо с психологией, с крохотными деталями, намеками, обмолвками. Или как я в колледже Брин Мор влетел, не заметив, в стеклянную стену и разрезал руку и, чистое кино, был доставлен с мигалкой и воем в госпиталь, тоже Брин Мор? Или как замечательная американская танцовщица на берегу Гудзона подарила мне кашемировый шарф от Прада за семьсот долларов? Гудзона. Танцовщица. Прада. Не канаец. И драка после танцев в клубе между нами, студентами, когда строили колхозную ГЭС, и местными не канаец абсолютно. Нет, лучше послушаю.

Говорила она словами необходимыми, первого плана (адамовыми) и набора («первышами», как называла июньские грибы-колосовики), в лоб, получалось смачно. Но таких слов немного, две-три сотни, так что довольно быстро смачность приобретала однообразие. Правда, она в него регулярно швыряла солью прямого высказывания. Пошли с Пашей (мужем) косить за Раменье, он в обед лег храпеть, а я полведровую корзину черники принесла. Проснулся, говорит: не иначе как тебе чей-то х.. помогал. Ревнивый был до ужаса.

Не то чтобы она рассказывала историю своей жизни. Начиналось всегда по поводу сиюминутному, но, как у всякого пожилого человека, происходящее сопоставлялось с происшедшим, новый факт находил место в цепочке бывших. Сумма ею прожитого сводилась к следующему. Четверо братьев – все убиты на фронте, две сестры – одну в войну сбросили с поезда, вторая умерла на рытье окопов. Пятеро сыновей и дочь. Одного зарезали в драке, один зарубил жену, сел, один не то пьяный утонул, не то утопили. Один выучился на счетовода, живет в Ленинграде у какой-то женщины. Один – после метилового спирта слепой, живет с Капитолиной, Сеня, Семен Павлович. От него внучка, курносенькая, крепкая, рыжая – яблочко: я воображал, что такая могла быть в юности сама Капи-

толина. Дочь – на Сахалине, обратилась в японскую веру, так мне было сказано.

С детства, с десяти лет – колхоз, по-взрослому. За копейки, за палочки, за дрова на корню – сама повали, сама вывези, за лошадь – сено привезти: десять процентов от накошенного колхозу. А зачем вам, сиволапым, больше? У всех скотина, куры, приусадебный – на фильдеперсовые портянки не хватает?! С двадцати – война. Колхоз никто не отменял, наоборот, все для фронта, все для победы. Лошадей первых не стало – на себе паши. На коровку мясо-молочный налог – и бычок подлежит, а как же? На курицу яичный – и на петушка. Паша вернулся с фронта хромой, контуженный, но по части заложить и заделать еще активней. Бить не бил, но бивал. Любил. Он один и любил. Детки тоже любят – как не любить, кого сосешь. А он мою титьку по-другому любил, по-своему, для себя, а выходило, что и по-моему, для меня. Когда помер – инсульт, – плакала над ним, потом над подушкой нашей, и сейчас нет-нет плачу.

Миллениум, секулум и аннум 2001-й Капитолина встретила с пенсией, которую считала «богатой», три тысячи. Больше бы, может, ей и не по себе уже было. Я такую же получал. Ну вот видишь! Мне, рассказываю, в собесе недосчитали, обманули, но я согласен – только бы не ходить, права не качать. А я, отвечает, не знаю, кому в ножки кланяться. А если ты так, говорю, то я тем более согласен. По сто долларов в месяц мы с тобой получаем, двести, если сложить... А чего, давай сложим и полетим в Лас Вегас. В районной газете прочла, только ударение делала на «а»: Вегас.

Стала заказы делать: поедешь в воскресенье на рынок, купи мне помидор килограмм. Помидоры – обожаю. И шоколадных батончиков грамм двести – вот тебе пятьдесят рублей. Потом однажды: можешь дать мне пятьсот займы на месяц? Хочу Сеньке машину купить. Я головой замотал: подожди, подожди – он же не видит. И машины где такие, чтобы полтыщи всего – ру-блей! – не хватало?.. Продает один за лесом. Полторы хочет. «Запорожец». А ездить будем вместе: я говорить, он рулить... И купили. Стали, в самом деле, тарыхеть: по деревне на первой-второй, а где поле, и разгонялись. Продолжалось недели две: приехал который продал, выпили, сели вдвоем – Сеня настаивал показать, как он искусно водит, – в лес въехали, и сразу в дерево. Вернулись, однако, своим ходом, на первой скорости, грохот адский – но своим. Без единого стекла, все, какие можно, стойки погнуты, крыша стоит, как на готическом соборе. Оба чуть-чуть раскровянены, не о чем говорить. Через два дня Сеня меня кричит: он сейчас будет выпрямлять, а я пусть стою *корректирую*. Привязал тросом к электрическому столбу, завелся и газку подбавлять. Я говорю, сейчас столб повалишь, без тока оставишь деревню. Он успокаивает, «КамАЗ» выпрямляли, ничего столбу не сделалось. Немножко растяну, верх автогенном срежу, сделаю *кабриолет*. Оба слова, и «корректировать», и «кабриолет», произнес легко, как свои, и «кабриолет», я понял, у него значил, само собой, не экипаж изящный со складным верхом и не конкретную фирму, а вид модели, скажем, пикап, хэтчбэк.

Когда начался футбол, первенство Европы, Капитолина позвала меня приходить на телевизор. Видимость то получше, то похуже, для деревни, для, так сказать, отрванности от цивилизации в самый раз. Смотреть с ней было одно удовольствие: и человек живой рядом, и помалкивает, не мешает. Смотрит, выяснилось, со смыслом. С нашими матч глядела-глядела, во втором тайме сказала: «Куёво играют», – единственные слова. Через пару дней про болгарина: «Эк закерачил!», – когда он метра на три выше ворот. Сеня сидел с нами, не лез, попросил только рассказывать *моменты* – в дополнение к репортажу: «"Смазал". Сам вижу, что смазал, – ты опиши *детально*». Любил эти слова. Мне в начале знакомства сказал: «Мать говорит, ты по телевизору был. Я, как услышал – *как бы поточней выразиться*, – окул».

Дом у Капитолины был бедный – качество в данном случае не оценочное, а определительное, такое же, как, например, бревенчатый. Не то что бы вот мог быть побогаче, а бедный. Таким как бы и закладывался. Как в краеведческом музее: «дом деревенский бедный», «дом деревенский зажиточный». В четыре окна по фасаду, но внутри тесный, с громоздкими металлическими кроватями, захламленный, грязноватый, душный. Как закут. И кухонька – повернуться негде, и двор крытый забит рухлядью и металлоломом. Сносились туда, наверное, с 1930-х с мыслью, что а вдруг пригодится в 1940-х.

Вот оно где реально и проходило, и было, и скопилось – тысячелетие! В дереве избы, в Капитолине, в сенькиной слепоте, картошке и телявизоре. А будет ли следующее или лет через сто-полста сгорит на Рождество, как шутиха, трудно сказать.

3

В действительности – ну как в действительности? в юридической действительности – дом, огород и второй огород на задах моего участка, возможно, Капитолине уже не принадлежали. Так же как моя изба и мой участок мне. Выяснилось это, когда хоронили последнюю перед Капитолиной коренную жительницу Песков. Кладбище располагалось в редком вроде парка сосновом лесу над рекой. Она здесь заворачивала и намыла высокий берег, песчаный. И, протекая, легонько в него билась и что-то без умолку болботала. Ко мне подошла председательница сельсовета, или как он сейчас называется, которая тоже видела меня по телевизору и за это испытывала небольшие дополнительные чувства. Мы обменялись приличествующими словами, я прибавил, что тут красиво. Она сказала: «Если с вами, не дай Бог, в деревне что случится, то, конечно, мы вам здесь место оформим. Если в Москве – уж извините. Но вообще-то земля эта вся продана. По закону владелец через двадцать пять лет имеет право могилки заровнять и поставить здесь коттеджный поселок. Что и собирается сделать и кое-кому уже показывал проектный план».

Я – вопросик, и следующий, и выяснилось, что земля куплена во всем районе, в частности, и та, что подходит к самым усадьбам. К нашим, иначе говоря, тринадцати соткам. Они, конечно, в нашем священном владении, но, сами знаете, подпрут какой-нибудь инфраструктурой – куда вы денетесь? А что вы хотите? – когда колхоз распустили, каждому нарезали по три гектара. И за сто, а у кого и за пятьдесят, старых тысяч за га, то есть нынешних сто рэ, их сразу и скупил. Кто продал, завели мобильные телефоны: лучше, чем землю-то пахать. Вскоре, правда, отказались, потому что ежемесячно платить.

Я по случаю похорон тихо, хотя голос рвался к восклицанию, спросил, кто. Кто скупил? Так сказать, *on a accaparé*. Кто *on*? Председательница ответила, что самих их не видела, только один раз в машине с тонированными стеклами. А делопроизводитель ихний – вон. И показала на стоящую как бы и вместе со всеми, но как бы и сама по себе женщину в зеленой футболке Vanapa Republic. Лет сорока. Никакую.

Через неделю я ее на рынке заметил, невзначай в ее сторону двинул, озадаченно сощурился, произнес озабоченно: «Напомните: где я вас мог видеть?» Она сказала: на кладбище... На кладбище! Да, да. Простите, что остановил. В наших краях живете?.. В наших, в наших. И пошла своей дорогой. Но в следующее воскресение попалась опять. Я – улыбку и рукой помахал. Пришлось и ей что-то физиономией изобразить. Подошел, просто спросить. Не натыкалась ли на кого, кто свежую рыбу продает?.. Нет, сама бы тоже купила... А давайте подьем в Глинищево, я там пару-тройку рыбаков знаю, два шага. И обратно сюда привезу. У меня «Нива»... И у меня

«Нива». И где Глинищево, знаю, и там знаю ту же пару-тройку. Была бы рыба, здесь бы стояли. Дачники на месте разбирают. А впрочем...

Диана. Мое имя Диана... Я говорю: античное... Не античное, а татарское. По отцу татарка... Весело говорю: а хоть бы и по матери, а хоть бы и японка... По матери – финка. Отвечает холодно, мрачно, информирует. Со своим висячим носом и выправкой гимнастической. А профессия, если не секрет? Не секрет. Делопроизводитель. Знаете что, разворачивайтесь. Прямо здесь. Разворачивайтесь, разворачивайтесь, расхотелось рыбы... Как мэ, разворачиваюсь, и едем назад. У рынка говорит: вот здесь – и идет к зеленой «Ниве». Такая же, как моя, но с наворотами: тюнинг, обтекатели. Внутри, замечаю, сидит на заднем сидении отроковица в наушниках, откинувшись. Все, значит, время сидела.

Через неделю базар без Дианы, через две без. Уже сажусь в машину уезжать, подбегает эта девчонка: вы мать подвозили, она меня тогда в машине заперла, на сигнализацию. Я ее ненавижу. Подкиньте домой... На глаз лет шестнадцать. Везу, куда говорит. Село не нашей деревеньке чета: в две улицы, все красное, кирпичное, эркеры-донжоны, и продолжают строить. До реки метров сто, до леса, правда, с километр. Дом, не в пример окружающим, деревянный, новый сруб, полтора этажа, воображение не поражает. Дочуля – и дорóгой, и когда на веранде сели, – как пулемет. Мать то, мать се, мать-мать-мать. Если перевести на мой потрескавшийся язык, что она щелкала, звенела и клекотала, все ее «торкает», «грузит» и «колбасит», то получится вот что.

Мать из Егорьевска, сто с чем-то кэмэ от Москвы. Материн отец был директор бумагопрядильной фабрики, так еще при царе называлось. Его посадили. Бязь, нанка, все такое уходили неизвестно куда, эшелонами. Его дело маленькое, производи, распоряжались люди повыше. Жену с дочкой выкинули в барак, матери был год. В восемь он вернулся, переехали в свою прежнюю квартиру. Назначили главным инженером – потому как никого не заложил. Пять комнат, большие окна, высокие потолки – директорская, в старое время строили. Масло, буженина, семга. После барака. Через три года опять посадка, и уже с концами. Их опять в барак. Очко во дворе, дверь не запирается. Материна мать запила. Какие-то мужики. Все в одной постели. В пятнадцать лет – в техникум, в общежитие. Чего и как там было, непонятно, но выучилась на счетовода. Взяли на отцову фабрику. А когда везла мать на кладбище, дала себе клятву, что кровью изойдет, по косточке себя искрошит, а с собой так сделать не даст. Ни в барак загнать, ни на крючок поддеть.

К моменту гласности-перестройки работала бухгалтером в отделе снабжения-сбыта. Тут фабрику давай переводить из-под одного начальства под другое, мелочить производство, по кускам рвать. За бухгалтерами – охота. Мать всем, как под фонограмму: только делопроизводителем! Документацию вести буду, всю: бумага, счета, отчетность – все мое. Про что в тени, знать не знаю. Концы с концами сводить – я. Как – не вашего ума дело. Подпись ставлю в графе «делопроизводитель». В графе «бухгалтер» пусть расписывается собака ученая. Штатную единицу заполняйте кем хотите.

Ей конверты. Не-не-не, зарплата по ведомости, с удержанием налога, сумма прописью. Так ведь сумма какая большая! Так и работник ценный. Квартирку двухкомнатную – в дар. Не-не-не, купля-продажа. Так ведь дорого! Так сбавьте. Чтоб делопроизводитель на свой заработок мог купить.

Мужики осмотрелись, и в Москву: другие потоки. Картину «Даная» видели? Лежит на тахте телка, а на нее льется финансовый поток. Возможно, от операций с недвижимостью. Мать притащили с собой. Недвижимости полно: пьянь, старушня, паралитики, сор человеческий – у всех жилплощадь, только приложи руки. Как, Диана, по плечу?! «Тут в аккурат я родилась, – это девчонка, против меня на веранде сидя, говорит. – От святого финансового потока, сто пудов. Мать заявляет: значит так, ваши дела –

ваши, меня в курс ни полсловом не вводить. Только: фамилия-имя-отчество, адрес, ордер, отказ от владения, нотариально заверенный, протокол осмотра, справка БТИ. Дальше я». «Недвижимость, – девчонка без остановки катит, – это жуть, я про нее все знаю...». Я, напротив сидя, говорю: «Я тоже».

Не все, конечно, но кое-что знал. Ада сумела из своей Филадельфии вставить няню в сложный ленинградский квартирный размен, и та получила комнату в двухкомнатной. Сосед – бойлерщик, из этого же жэка. Ада у него его половину сняла – просто чтобы там не жил. Так и так он из бойлерной не вылезал: диван черный клеенчатый, два кресла *в пандан*, столик туалетный румынский, картина «Купальщица», круг наперсников и фавориток. К нему пришли серьезные люди, предложили тысячу с сохранением питерской прописки. Баксов. Он стал носом крутить – ему по носу и въехали. Затем к няне. Увезли в город Лугу и на окраине городка оставили. Тут Ада мне позвонила. Я пошустрил и нашел Корабельникову Пелагею в накопителе при Варшавском вокзале. То есть не совсем уже ее, а выписку о поступлении и другую о передаче тела в морг железнодорожной больницы. И в морге справку о захоронении в могиле для невостребованных.

Говорю: «А эти, в замках, – пальцем показываю за окно, – всё мамина фирма? Или крестьяне местные?» – «*Он зи южвал*, риэлторы. Один хочет со мной замутить. Как думаете?»

4

Тут я слетал в Северо-Американские Соединенные Штаты. На новоселье – старинный друг купил дом в Пало Альто. Позвонил пригласил, я расчувствовался: думали ли мы, дети из безлошадных семей пахарей и углекопов! Вот как поменялось-то все с тех пор, как жил он на Малой Подъяческой, а я на Малой Посадской! И было у нас полтора рубля на двоих! А сейчас – один в самом Пало Альто, а другой запросто покупает билет на рейс Москва – Сан-Франциско, невзирая на расходы. Растрогался. Преждевременно: друг уже договорился со Стэнфордским университетом на две моих лекции. Две лекции, и полет окупается. Почти Поликратов перстень.

Вхожу: гость номер один – Ада. Это она присмотрела, и особнячок, и участочек. Себе присмотрела студию в Сан-Франциско, и вот заодно. Не себе – себе самой, а себе – себя ради. В ближайшее время на студии спрос возрастет, цены подскочат. Кто сказал? Дядя Сэмюэль. Чуть-чуть скрюченная. Перехватила мой взгляд: это временно, говорит. Зато погляди, какая физиономия разглаженная, это более или менее навсегда. Ну а ты как? – с холодком.

Я подхватываю тему: рынок недвижимости, у вас он такой, а у нас в Песках Ярославской области вот какой. Тоном легким, художественно, живыми штрихами прорисовывая картинку нравов. Как о чужом, как о государстве Бутан – как о забавном. Изящные слова, смешные детали. Но независимо от меня постепенно наползает пафос. Капитолинина смерть не за горами, Сенька слепой за такой же «Запорожец» и ящик водки подпишет навечное отречение от земли и дома, и встанет через дорогу от меня мэнор в стиле тюдор, а на ее могилу таун-хауз.

Из-под разглаженных век выступает у Ады влага, по губам пробегает трепет, и она произносит: «Я – этого – не допущу». И говорит – что денежной массы у нее хватит на две, а может быть, и три жизни. (Делает сноску: впрочем, заработанной потом и кровью, ворочать недвижимостью – тяжелый труд, тяжкий.) Что и ее, как и Капитолины, дни сочтены, а с собой *туда* не возьмешь и проч., а Митя, муж, – большое разочарование, а сын – неблагодарное животное и завещает она ему коллекцию материнских слез и проклятий. Что страшная судьба няни не выходит у нее из головы, и она открыла – и в настоящее время идет юридическое оформление – фонд

имени Пелагии Корабельниковой для помощи таким, как была она, одиноким старухам. В конце концов и ее, Адино, обогащение началось именно с этой идеи. Так вот, первый, целевой акт программы будет, после моего рассказа, направлен конкретно на Капитолину. Тем более что и имена у них как-то созвучны. На деньги, которые она получит, можно будет выкупить у криминальной группировки не то что огород на одной стороне и на другой, а «всю вашу вшивую деревню» с прилегающими к ней угодами, включая кладбище.

5

Месяца через два ранней весной звонит Диана. Говорит, что телефон ей дала основательница фонда Пелагии Корабельниковой, которая просила со мной связаться. Приезжает. Суха, строга, деловита. Фонд выделил энную сумму жительнице деревни Пески Капитолине такой-то. Существует заведенный порядок подобного рода перечислений. Деньги должны прежде поступить на счет районного комитета поддержки престарелых и юношества. Он переведет их непосредственно получателнице. Госпожа Ада такая-то желает удостовериться, что эта схема а) единственно возможная, б) не мошенническая.

Тэ-эк, а вы в этой схеме кто?.. Делопроизводитель... Ушли от риэлторов?.. Почему? То работа, а это на общественных началах... Давно?.. Месяц... Как деньги пришли?.. Мы на фонд Корабельниковой обратили внимание еще раньше. Когда в Интернете информация прошла... А я зачем?.. Госпожа Ада сослалась в выборе Капитолины на вас, я сказала, что мы знакомы... Откуда вы мое имя знаете?.. Я делопроизводитель.

Давайте так, говорит. Я вам пришлю мужчину, он из нашей фирмы. Такое совпадение, что он ездил к Корабельниковой – у нас филиал в Петербурге. Хотел помочь, но вмешались трагические события. Она по нашим каталогам проходила. Почему я ее и запомнила. У нас наработан большой опыт участия в судьбах неблагополучной части населения. Почему мы и вошли в комитет поддержки. Он председатель комитета. Он к вам придет и убедит, что схема единственно возможная и не мошенническая.

Назавтра звонит Ада: ну, что скажешь? Весна, говорю, черемуха, как в незабвенные времена убогого социализма и товарищеских отношений... Не паясничай, я про Капитолину... Значит, Капитолина. Капитолина живет наискось от меня через дорогу, в крайнем доме, за ним луг, за лугом лес. Больше ничего про нее не знаю и знать не хочу – если ты понимаешь, о чем я... Ты что, Диане не доверяешь? (Я ни звука.) А мне она показалась четкой, на своем месте. Наконец-то, думаю, в России появились деловые люди американского образца. Ты согласен?.. *Абсолютли*... В общем, фонд делает трансфер, первый транш. Как это будет по-русски?.. По-русски это будет трансфер, так и будет: трансфер и транш... Пятьдесят процентов... (Я говорю:) фифти, правильно я понял?

– Фонд, – говорит она вдруг печально, – делает трансфер, а настроение у меня *аут-оф-тюн* – как это по-русски?

– А куда, Адель, деваться? Отношения ярковыраженные капиталистические, товарно-денежные. Деньги пахнут свиным салом, товар свиной кожей. Настроение, понятно, портится.

– Много ли ты денег нюхал? Да и товаров видел? Босота!

– Адка! Буржуазка! Твоя партия победила, чего ж ты лучше жить не стала?

– А кто лучше меня живет? Ты, что ли?

– Капитолина жила. Если ты ей жизнь не испортила.

– Деньги никому еще не навредили. Кровь и сперма планеты. Как сказал, кажется, Уолт Уитмен.

– *Сто чудов*, что кажется. Не мог он такое сморозить.

– А зеленые листья банкнот в саду человечества?

– Адка! Девственница из Спального переулка! Вакханка! Сад твой пахнет газетой и плоды его – гарантийной печатью.

Повесили трубки.

А в июне поехали Капитолина с Сеней в город оформлять документы на получение денежного вспомоществования. Он за рулем, она командует. Как выезжать из леса, кусты, заслоняют поворот. Откуда ни возьмись, грейдер. Семен Павлович на месте душу отдал, а она, не приходя в сознание, в больнице. И повис первый транш на балансе комитета. Связались с фондом. Основательница была просто убита. Сказала, что теперь ей все равно. Только хочет переименовать фонд – пусть теперь будет Пелагеи и Капитолины. Как по-церковному. А деньги – не одна же Капитолина нуждалась из престарелых, наверное, и других можно найти кандидатов... Еще бы, список не маленький. И не меньший – подростков на перепутье. *Он зи эджь оф сошиал брейкдаун*, сказал председатель, занимавшийся на курсах Берлица... Вот и выберите, сказала основательница. Объявите тендер. Мое единственное требование – чтобы в жюри была Диана.

И как раз я Диану встретил на рынке. Светские приветствия, смолток. *Зи смолест*. Ну я побежала... Как дочь?.. Из-за нее и спешка. Едет в Эдинбург. Учиться. Выиграла стипендию. Будете звонить госпоже Аде, кланяться... Вы тоже... Как тесен мир. Она, вы, я... Капитолина, прибавил я... Капитолина, подхватила она... Пелагея Корабельникова... Пелагея Корабельникова... Егорьевск, Эдинбург...

«При чем тут? – сказала она с очень достоверной интонацией недоумения. – Если это шутка, то должна быть понятна. Остроумие должно быть оправдано, детали – уместны, не так ли? Филадельфия – да. Пески Ярославской – да. Егорьевск, насколько я знаю, вообще в другой области, городишко на пути из Москвы в Рязань. Эдинбург – столица Шотландии: какое он имеет к этому отношение?»

октябрь 2006



Дмитрий ТОНКОНОГОВ

Три стихотворения

Game Over

Говорила тебе Ленка Смирнова,
не прерывая процесса:
Мандельштам твой, ну честное слово,
грустная копия Де Фюнеса.

Небеса намалеваны синие,
бестолковые бродят жандармы.
И улыбки приплюснутой линия
не покинет свои кинокадры.

Там песок распыляется солнечный,
бутафорская хлопает дверь.
В легкомысленной комнате горничной
составляются списки потерь.

Улетят кистеперые мальчики –
старший Осип и младший Луи.
Хитроумный идалго Ламанческий
над тобою склонится в пыли.

Поднимай безударную роту,
береги от детей и огня,
одолеешь любую пехоту,
отползая средь белого дня.

И поедешь в Москву или в Питер,
перешитый цыганской иглой.
Будет книжная полка событий
нависать над твоей головой.

Поживи среди тех или этих,
научи мужиков говорить.
Хорошо в безударном столетье
безопасную бритву купить.

Абдуллаев

В большом городе
жили на съемной квартире
две девушки –
позвоночник пунктиром.
Если у одной заканчивались слова,
другая тут же вытаскивала из рукава.

Зажечь бы лампочки электрические,
но отключили за неуплату
новости культуры, события политические,
голос пропал у телефонного аппарата.
Слесарь в ребристых ботинках подходит к двери,
слушает, что происходит внутри.

*бегут бегут по стенке свисают с потолка
лодыжки и коленки принцессы табака
а девушки в обнимку как цуцки лежат
рисует черт картинку но он не виноват
что здесь необитаем невидим и забыт
кондуктор абдуллаев какой-нибудь лежит
ночет под диваном в космической пыли
не стерт с лица земли*

Вышли они из дома и не вернулись,
запутались в проводах, как воздушные змейки.
Или пропали на пересечении улиц
Рубинштейна и Маросейки.

Общая география

Родился на родине, делал приборы,
включал на досуге небесные хоры,
уехал, приехал, опять опоздал,
сбежал из медпункта, попал в арсенал.

Женился на женщине, спал беспробудно,
внутри затонуло торговое судно.
Чувствовал, сердце как с ритма сбивается.
Ветер затих, а собака кусается.

Я охраняю тебя и страну –
золото это и кразелиты,
карту в масштабе один к одному,
сваи, что в мерзлую землю забиты,

сухой борщевик вдоль дороги-дороги,
речку бездомную слева по борту,
ток однофазный, высокие слоги,
загнанных в рай и отправленных к черту.

Стелется пар над бассейном «Москва».
Села метла в «Шереметьево-2».
За город едет рассада в авто.
Кто тебя ловит? И вертит никто.



Одинокий жнец на желтом пшеничном поле

РАССКАЗ

Сначала долго ехали на метро с двумя пересадками, а потом оказалось, что нужно еще и на подкидыше. Народу на остановке было много; люди стояли плотной стеной, вытягивали шеи, высматривали желтую тень «Икаруса» в темно-сером желобе переулка. Толик вопросительно посмотрел на отца, но тот покачал головой:

– Будь спок, капитан. Тот, кто торопится на абордаж, рискует поскользнуться и сверзиться за борт. Йо-хо-хо!

– И бочонок рому! – подхватил Толик.

Он любил, когда отец называл его капитаном. Это напоминало о лете, даче, лодке-плоскодонке и ночной рыбалке с костром. Толик отошел к противоположному краю тротуара, где на стене дома над черной ноздреватой наледью с вмерзшими в нее окурками висели ободранные газетные стенды.

«Труд»... «Красная звезда», – прочитал Толик.

Он мог бы и больше, просто не хотел. Закаменевший бумажный многослойный угол на стенде загибался, как ломтик старого сыра. Толик проверил его на прочность.

– Эй, капитан, не поскользись!

Толик сделал вид, что не слышит. Он уже не маленький, чтобы выслушивать подобные замечания. Через месяц ему будет целых семь лет. Угол не поддавался.

Автобус пришел пустой, видимо, с кольца, и Толик позавидовал тому, кто оказался первым у задней двери. Спереди и в середине автобуса – ступеньки, поэтому в заднюю дверь всегда быстрее. Врываешься в салон, и на секунду весь он принадлежит только тебе – и сиденья, и поручни, и ребристые коврики на полу, и лампы, и окна, и вся его светлая, теплая пустота. У Толика такое получилось всего два раза в жизни: один раз, когда ехали с мамой от деда, но это не в счет, потому что на конечной остановке у кладбища почти не было пассажиров, а второй раз тоже с мамой, на даче, где стояла огромная толпища, но водитель почему-то не доехал до столба с табличкой и открыл дверь прямо перед ними, стоявшими в сторонке, и Толик ворвался первым и занял самое удобное место для мамы, и дальше они ехали с превосходным настроением, и водитель поглядывал в зеркало, в основном, почему-то на маму, а не на него, победителя.

И снова пришлось ехать ужасно долго, так что Толику уже надоело, да еще – пришлось стоять, а народу не только не убавлялось, но все прибывало и прибывало, на остановках люди втискивались силой, а какой-то дурак пытался даже с разбегу, и, конечно же, у него ничего не получилось, потому что всякий знает, что с разбегу толпу не возьмешь, а шофер ругался по матюгальнику – это только так говорится «матюгальник», а на самом деле шоферу нельзя, ведь он на работе. В общем, было непросто, и стоило большого труда сдержаться и ни разу не спросить у папы, долго ли еще.

За окном тянулись крытые дранкой одноэтажные бараки вперемежку с бесформенными кручами, кривыми голыми деревьями и бельем на веревках. Отец, будто почувствовав его усталость и нетерпение, положил Толику руку на плечо, тихонько погладил по шее теплым, забравшимся под шарф пальцем, и мальчику сразу стало уютно и немного щекотно.

Потом автобус остановился где-то уж совсем в чистом поле, и оказалось, что все именно сюда и ехали. Люди выходили и сразу шли куда-то потоком, как на футболе. Отец присел перед Толиком на корточки. Глаза у него были веселые.

– Как дела, капитан? Устал?

Толик презрительно фыркнул.

– Вот еще!

– Ну тогда вперед!

Они двинулись вслед за остальными в сторону темнеющего невдалеке леса. Дорога огибала черное в серых пятнах поле.

– Папа, смотри, тут еще снег! А у нас давно все растаяло.

– Ага... – рассеянно отвечал отец, хлопая себя по карманам. – А, вот он. Фу-у... а я уже думал – вытащили. Толик, Толик, там грязь, смотри... Ах ты, боже ж мой...

Многие попутчики были в высоких резиновых сапогах; они ходко хлюпали грязью по бурым тракторным колеям. Остальные норовили с бочка, по подмерзшему. На лужах плавал тонкий ледок; их приходилось обходить по чавкающему полю, и тогда отец брал Толика подмышку, как валик от дивана, и он висел лицом вниз, глядя на проплывающий внизу грязевой ландшафт, чувствуя сильный отцовский бок и руку и представляя себя машинистом шагающего экскаватора.

Затем поле кончилось, они вошли в лес, дорога стала чище и как-то опрятнее, теплее, потому что лес всегда опрятнее и теплее огромного мерзлого поля с комьями земли и плевками больного серого снега. Тракторы сюда, видимо, не заезжали, было сухо, пахло прелым листом, и кое-где на обочине виднелись клочки жухлой прошлогодней травы.

Тут-то и начался книжный базар: понемножку, редкими дядьками, которые располагались вдоль дороги, разложив свой товар на одном куске полиэтилена и прикрыв его сверху другим от дождя или какой другой влаги. Дядьки переминались с ноги на ногу, похлопывали себя по бокам и с отсутствующим видом смотрели в небо, перекидывая по углам рта круто заломленные папиросы. Потом они стали попадаться все чаще и чаще, а ближе к середине уже стояли вплотную, так что обе обочины напоминали длинные книжные прилавки.

В середине и толпа стала намного гуще. Боясь потеряться, Толик прижался к отцу и не стал возражать, когда тот взял его за ручку, как маленького. Они медленно переходили от одного продавца к другому; время от времени отец обменивался с хозяином книг несколькими словами, большей частью непонятными, приседал на корточки, рассматривал обложки под полиэтиленом. Иногда он осторожно доставал их и перелистывал, кивая и цокая языком, а Толик стоял рядом, ковыряя от нечего делать землю носком ботинка, пока какой-то продавец не прикрикнул на него, боясь за свой драгоценный товар, так что отцу пришлось извиняться, но продавец продолжал бухтеть, и несколько следующих «прилавков» они прошли, не останавливаясь.

Настроение у Толика испортилось, и отец, почувствовав это, присел на корточки уже перед ним, а не перед этими дурацкими книжками, и сказал, чтобы он не грустил, потому что настоящие пираты никогда не обращают внимания на такие пустяки, как усталость. Но Толик не хотел улыбаться, потому что обиделся. Отец зачем-то принял сторону дядьки, пусть и временно, пусть только для виду, но принял, а такие вещи так просто не прощаются... Но тут отец стал тормозить его, и пришлось рассмеяться.

– Не грусти, капитанище, – сказал отец с видимым облегчением. – Когда твой старый боцман тебя подводил?

Толик прикинул и согласился. Старый боцман и в самом деле не подводил его никогда.

– А мы еще долго?

– Замерз? – обеспокоенно спросил отец. – Скучно тебе, понятное дело. Потерпи, брат. Давай еще немного пройдемся, ладно? Я тут кое-что присмотрел, но все еще сомневаюсь. Дело важное, с бухты-барахты не решишь, сам понимаешь. Или ты хочешь, чтоб с бухты-барахты?

Нет, с бухты-барахты Толик не хотел. Дело действительно было важным. Они двинулись дальше, все так же останавливаясь, пока не дошли до места, где отец задержался особенно долго. Книга была большая, толстая, с яркой желто-синей суперобложкой, обернутой для пущей сохранности еще и газетой. Отец листал и листал, а Толик маялся рядом. Наконец отец закрыл книгу и спросил:

– Сколько?

Продавец, толстый, низенький, похожий на мопса дядька с бородой что-то ответил. Отец охнул, снова открыл книгу и начал листать.

– А что ты хочешь? – развел руками продавец. – Это еще дешево...

Папироса торчала из шерсти на его лице, как поганка из травы. Толик нетерпеливо дернул отца за рукав: до края базара оставалось совсем немного, и ему хотелось быстрее добраться дотуда – так, чтобы уже можно было с чистым сердцем потребовать возвращения.

– Что? – рассеянно произнес отец. – Сейчас, Толик, сейчас...

Он с сожалением покачал головой и принялся пристраивать книгу на прежнее место под полиэтиленом.

– Это для нас слишком дорого... Подожди, Толик, я уже иду...

Продавец крикнул и посмотрел в небо, как будто спрашивая у него совета. Но небо, понятное дело, молчало. Зато в толпе возник какой-то непонятный ропот, что-то новое, отличное от прежнего делового гудения сотен спокойных голосов. Дядьки у прилавков засуетились, задержались, зашептались; вот кто-то начал собирать свои книжки в сумку, сначала неторопливо, а потом все быстрее и быстрее... вот еще один... и еще...

– Погоди-ка, парень, – вдруг сказал бородатый. – Сколько у тебя есть?

Отец полез в карман и достал кошелек.

– Да шевелись ты! – нетерпеливо подогнал его дядька. – Не видишь, что ли?

Отец кивнул и тоже заторопился, вынул сложенную в несколько раз бумажку, другую, высыпал в ладонь мелочь.

– Хрен с тобой, давай! – Дядька выхватил у отца бумажки, презрительно отмахнулся от мелочи и тут же стал собираться.

– Продай, что ли? – недоверчиво произнес отец, улыбаясь своей растерянной улыбкой. – Так я забираю?..

– Бери, бери, да поскорее, пока я не передумал.

Отойдя в сторону, отец достал газету, присел и бережно завернул книгу. Руки его слегка подрагивали.

– Купили? – спросил Толик, больше для того, чтобы напомнить о своем присутствии.

– Невероятно, правда? – почему-то шепотом ответил отец. – Я и сам в себя никак не приду. Ты даже не представляешь, сынок, какая это удача!

Он посмотрел на Толика смущенными от неожиданного счастья глазами, выпрямился и сунул сверток под мышку, придерживая его для верности свободной рукой. Бывший владелец сокровища уже закончил сворачивать лоток и теперь быстро уходил, таща на себе рюкзак с книгами, но почему-то не по дороге, а прямо в лес, за деревья. И не он один. Впереди и сзади бородача параллельными курсами неслись другие, нагруженные огромными сумками и рюкзаками. Толпа редела прямо на глазах.

– Черт! – сказал отец. – Да это ж облава... вот он почему...

– Что-то это? – переспросил Толик, не зная, как истолковать незнакомое слово. – Папа! Что такое облава?.. Папа!

Но отец будто не слышал. Странно напрягшись, он смотрел поверх Толиковой головы, поверх редющей толпы на что-то невидимое Толику и наверняка угрожающее, если даже такие здоровенные дядьки в панике бегут от него прочь, не разбирая дороги. Он даже отпустил свою драгоценную книгу и, оставив ее подмышкой, крепко взял Толика за руку и даже притянул к себе вплотную и немного за спину.

– Папа! – повторил Толик. – Что случилось?

– Ничего, сынок, ничего... – отвечал отец, сильно сжимая Толикову руку. – Нам с тобой бояться нечего.

В голосе его не слышалось уверенности.

– Папа, больно!

Отец попятился, таща его за собой. Толик выглянул из-за отцовской ноги и увидел дядьку, несущегося по дороге прямо на них. Он был без шапки, растрепан и дышал широко открытым ртом так жадно, как будто боялся, что воздух вот-вот кончится. На боку дядька придерживал большую сумку, очевидно, очень тяжелую, если судить по тому, с какой легкостью она сбила кого-то зазевавшегося. Люди шарахались в разные стороны; еще кто-то упал от столкновения, но сам дядька ухитрился удержать равновесие. Кренясь, он попрыгал на одной ноге, зачем-то коротко взвыл и, не добежав совсем немного до Толика с отцом, свернул через канаву в лес.

И тут выяснилось, что дядька бежал не один – прямо за ним поспешали несколько милиционеров в коротких шинелях и шапках-ушанках. Конечно, налегке им было бежать проще. Самый ближний из них настиг дядьку, когда тот, скользя и цепляясь рукой за кусты, выбирался из канавы. Милиционер сделал что-то такое, отчего дядька сразу опрокинулся на спину, – наверное, дернул за ворот. В воздухе мелькнули ноги в резиновых сапогах, сумка взлетела над дорогой и тяжело приземлилась, вываливая наружу книжки, как горошины из лопнувшего стручка.

Милиционер наклонился над упавшим и замахнулся.

– Ты что, падла? – крикнул он ему прямо в разинутый рот. – Ты от кого бегаешь, сука?

Он крикнул еще несколько очень-очень грубых слов из тех, которые Толик знал уже давно, может, год или даже два, но никогда не думал, что их произносят и милиционеры. Папа потянул его назад, и оттого Толик не видел ударов, а только слышал. Звуки были какие-то влажные, как от камня, брошенного в грязь. А еще они были страшные... такие, что просто ноги подкашивались.

– Папа, – сказал Толик, уткнувшись лицом в отцовское пальто. – А нас с тобой бить не будут?

Отец снова не расслышал, а только потянул Толика за собой, зашагал быстро и широко, так что мальчику пришлось перейти на бег, и тут уже на вопросы не осталось времени, приходилось следить лишь за тем, чтобы не споткнуться. Еще пять минут назад здесь было не протолкнуться, а теперь все разбежались, и дорога совсем опустела, если не считать нескольких листов полиэтилена, гуляющих по ней в обнимку с ветром и странных, неправильных милиционеров, способных произносить очень-очень грубые слова.

На выходе из леса стояли три желто-синих «газика» и несколько милиционеров курили, переговариваясь между собой. Когда Толик с отцом проходили мимо, один из них, с черной палкой на ремешке, вдруг скомандовал:

– А ну стойте, граждане!

Отец остановился, все так же держа Толика за руку.

– Вы это нам?

– Вы видите тут рядом других граждан? Что за сверток у вас под мышкой?

– Книга, – глухо сказал отец и откашлялся.

– Книга... – покачал головой милиционер. – Вижу, что не бомба. Давайте сюда. Вы понимаете, что, покупая у спекулянтов, вы являетесь соучастником преступления? Давайте, давайте!

Отцовская рука дрогнула. Он выпустил Толика и весь как-то сгорбился и стал меньше.

– Не надо! – крикнул Толик и заплакал. – Не надо! Пожалуйста, не бейте нас! Мы не хотели. Мы хотели... Мы не хотели...

– Ты что, пацан? – удивленно сказал милиционер, опуская протянутую за книгой руку. – Что хотели? Что не хотели? Ты чего разревелся-то?

– Мы хотели... – выдавил из себя Толик, глотая рыдания. – Подарок маме к Восьмому марта... хотели... мы не хотели...

– Тьфу, черт! – сказал милиционер с оттенком растерянности. – Да перестань ты реветь. Кто тебя трогает? Подарок так подарок... ничего страшного.

– Извините, – глухо сказал отец над Толиковой головой и снова притянул к себе мальчика. – Он просто очень устал за день. Дорога тяжелая. Мы пойдем?

Милиционер пожал плечами.

– Идите. Кто вас держит?

Они уже дошли до поля, когда милицейский «газик» перегнал их и остановился, загородив дорогу. Милиционер, тот самый, выскочил и открыл заднюю дверцу.

– А ну, садитесь. Мне все равно в город, доброшу вас до метро. Вам теперь на автобус до ночи не сесть.

– Спасибо, не надо, – ответил отец. – Мы сами...

– Отставить! – перебил его милиционер, свирепея на глазах. – Ты что, под арест захотел? А ну, садитесь без разговоров!

Толик с отцом уже залезли в машину, а он все приговаривал:

– Ребенок еле на ногах держится, а он «сами»... «сами»... отнимать детей у таких надо... запугал мальчишку, понимаешь...

Потом «газик» вырулил на шоссе, и они увидели огромную толпу, ожидающую автобус, и поняли, что действительно не выбрали бы отсюда еще долго-долго, и тут милиционер замолчал, но всем своим видом будто говорил: «Вот видите, а вы не верили...», и дальше уже ехали молча до самого метро. У метро отец подтолкнул Толика, чтобы тот сказал «спасибо», и Толик сказал, но милиционер ничего не ответил и даже не улыбнулся, а просто развернулся и укатил. И отец тоже выглядел мрачным, чтобы не сказать подавленным, а Толика все мучил один вопрос, но он не знал, как его правильной сформулировать и в конце концов просто спросил:

– Папа, а он плохой или хороший?

И отец то ли не понял, то ли опять думал о чем-то другом, своем, взрослом, потому что ответил непонятно:

– Гадская жизнь, сынок. Гадская, гадская...

В вагоне Толик сразу заснул и не просыпался даже во время пересадок, так что отцу пришлось таскать его на руках, как маленького, его и книгу. Короче говоря, умучились они оба настолько, что мама даже не стала их ругать, а просто всплеснула руками и погнала умываться. И тут они подарили ей книгу, хотя Восьмое марта было еще только через три дня, но шила в мешке не утаишь, да и зачем? И мама была счастлива и сказала, что они просто сошли с ума, просто сошли... и что это стоит безумных денег, а Толик сказал, чтобы она не беспокоилась, потому что им повезло из-за облавы, правда, папа? И отец засмеялся и сразу стал прежним боцманом.

Вечером мама рассматривала книгу на диване, и Толик притулился рядом с ней под пледом. Тяжелые оконные портьеры надежно отгораживали их от холодного насморочного марта, от черной толпы, бородастых

дядек и непонятных милиционеров. Тихо урчали трубы отопления, за стенкой шептал телевизор, и в желтом кругу лампы, в углу дивана было тепло, уютно и пахло мамой. Глаза у Толика слипались, но ему было жалко засыпать, потому что «заснуть» означало в следующий же момент открыть глаза в новое серое утро, в школу, в одиночество и холод жизни. Он изо всех сил боролся со сном, поддакивая маме и даже иногда задавая вопросы, неважно какие, лишь бы слышать звук маминого голоса, лучше которого не было на свете.

– Посмотри, какая красота, Толик, – говорила мама. – Боже, какая красота, какие краски... Ты когда-нибудь видел столько желтого цвета?

– М-м-м... – отвечал Толик.

– Да посмотри же ты, соня несчастный!

Толик посмотрел. Перед ним на весь разворот книги плескалась ослепительная желтая лава. Она вихрилась, клубилась, бурлила, как море. Наверное, это и было море, если судить по берегу, который виднелся вдали на горизонте, похожий на морду огромного фиолетового крокодила, разлегшегося на отмели под желтым небом с круглой дырой желтого жаркого солнца.

– Что скажешь? – спросила мама ласково и слегка насмешливо.

– Жарко... – сонно сообщил Толик. – Море...

– Какое море, глупыш? – рассмеялась мать. – Это поле. Пшеничное поле. Вот, видишь эту маленькую фигурку? Вот здесь, в шляпе? Это жнец. Он жнет. А это снопы, которые он уже...

Она на секунду задумалась и крикнула в открытую дверь:

– Саня, как правильно сказать: сжал?.. нажал?..

– На что нажал? – отвечал отец от телевизора. – Кто нажал? Зачем нажал?

– О! Убрал! – вышла из положения мама. – Это снопы, которые он уже убрал. Хотя нет, куда же он их убрал? Вот ведь они, здесь... Это снопы, которые он срезал, вот! Видишь, у него в руке серп? Он срезает колосья и вяжет их в снопы. Все вместе называется «жатва». Понял?

Теперь Толик и в самом деле разглядел маленькую человеческую фигурку в желтой широкополой шляпе, раскорячившуюся слева. Она выглядела такой незначительной, такой крошечной на фоне кипящего солнечного моря, что казалась всего лишь еще одним его всплеском. Немудрено, что Толик не заметил этого человечка с самого начала. Он поискал взглядом других жнецов, как на картинке-загадке, где среди кустов требовалось обнаружить пятерых охотников.

– Мама, а где остальные?

– Какие остальные?

– Ну жнецы...

– Ах, Толька, ну при чем тут остальные? – нетерпеливо произнесла мать. – Остальные где-то там, сзади. Да это и неважно. Ты на поле смотри, на поле. Видишь, сколько света? И тепла. И красоты.

– Ага, вижу, – сказал Толик.

Он вдруг вспомнил сегодняшнее мерзлое черное поле, коричневые, дымящиеся грязью лужи, чавкающую жижу под резиновыми сапогами, ноздреватый снег и пупырчатую наледь. Вспомнил и поскорее отвернулся, зарылся поглубже в мягкий клетчатый плед.

– Ну что ты затих, бурндук? – засмеялась мама и взъерошила ему волосы на затылке. – Слов не находишь?

Тут мама была права. У маленьких людей и слов немного. Если бы Толик мог, то, конечно, рассказал бы ей, какая черная, холодная, мертвенная изнанка скрывается под этой жаркой желтизной. Потому что, по сути, все поля одинаковы, в какой ты цвет их ни покрась. Потому что, он, Толик, предпочитает лес. Или море. А еще лучше – вот этот диван с маминим боком. Но он не мог всего этого рассказать. А если бы и мог, то вовсе

не обязательно захотел бы. Зачем расстраивать маму? Толик поскорее закрыл глаза и уплыл к завтрашнему утру.

Он пробыл на выставке до самого закрытия. Пришедшие вместе с ним друзья-приятели уже давно ушли, а Анатолий все бродил между стендами, восторженно разглядывая такие знакомые по альбомам полотна. Живьем они смотрелись совершенно иначе; он ожидал этого, но все же не думал, что настолько. Остановившись перед каждой картиной, Анатолий с трудом удерживался от того, чтобы не сказать вслух: «Здравствуй! Так вот ты какая!» Прежде всего, еще издали, неожиданным оказывался размер; затем обнаруживались цвета, часто совсем не совпадающие с теми, что на репродукциях, прыгали в глаза драгоценные композиционные сюрпризы, а если приглядеться поближе, то повсюду вихрились нескончаемые протуберанцы, запятыя, закорючки, улыбки мазков. Это был какой-то необыкновенный праздник узнавания знакомых незнакомок. А под конец, когда толпы схлынули и в двух огромных залах осталось только несколько десятков похожих на Анатолия сомнамбул, он даже временами оказывался с картинами один на один, и в этом заключалась какая-то особенная, головокружительная интимность.

Это чувство жило в нем и потом, когда седенькая служительница из особой породы эрмитажных старушек, ворча про необходимость «считаться с другими», все-таки выгнала его с выставки. Спускаясь по роскошной пустынной лестнице, он ощущал себя абсолютно соответствующим ее царственному величию. Даже наружу, на набережную, Анатолия выпустили не через обычный полуподвальный выход из гардероба, а самым что ни на есть парадным образом, распахнув перед ним огромные резные, выходящие на высокое крыльцо двери. И хотя так делали всегда после закрытия музея, трудно было не усмотреть в этом особую, приличествующую только этому дню символику.

Домой возвращаться не хотелось; сухие, чистые тротуары манили пройти, в городе стояла нежная, голубоватая, акварельная пора белых ночей, создававшая удивительную контрапунктную гармонию с только что виденным разнузданным фестивалем чистых цветов. Дышалось легко и радостно. Анатолий пересек Неву по Дворцовому мосту и под руку с рекой неторопливо двинулся по набережной в сторону университета. У «Двенадцати коллегий» его окликнули. Анатолий посмотрел через дорогу, увидел тщедушную фигурку в длинном не по росту плаще и обрадовался. Леша!

Они познакомились два года назад, когда Анатолий еще учился в десятом классе. Его тогдашняя школа отличалась несвойственными эпохе порывами либерализма, которые выражались в приглашении студентов университета в качестве лекторов по факультативным темам. Леша прочел часовую лекцию об экзистенциализме, поразив неискусшенные умы старшеклассников необычностью подхода и обилием незнакомых ученых слов. Рядом с постылой училкой литературы он казался инопланетянином и оттого возбуждал естественное любопытство.

Потом они стали встречаться уже неформально: Леша писал, бесспорно, гениальную книгу об основах бытия, и ему остро требовалась аудитория, желательная восторженная. К моменту знакомства он в общих чертах завершил название – «Человек в мире» и первые абзацы вступления. Через год восторгов поубавилось, Анатолий поступил в технический вуз на модную компьютерную специальность, а Лешу поперли с философского факультета за неуспеваемость или за диссидентство – насчет этого были разные версии, проверить истинность которых не представлялось возможным из-за очевидной личной заинтересованности излагавших их лиц. Изменились и отношения: со стороны Анатолия к непреходящему восхищению могучим Лешиним интеллектом добавилась нотка снисходительной опеки, которую Леша не только не отвергал, но, напротив, принимал с

благодарностью, как всякий ничего не смыслящий в земных перипетиях небожитель принимает практическую помощь простых смертных.

Со временем Анатолий даже стал позволять себе советовать гению относительно его фундаментального труда, который, кстати говоря, продвигался медленно, но верно и на описываемый момент уже перевалил аж на третью машинописную страницу. Но самым ценным было то, что Леша ввел Анатолия в круг своих необыкновенных знакомых, каждый из которых представлял собой целое явление... во всяком случае, с первого взгляда. Взять хотя Риту... Каждый раз, когда Анатолий вспоминал ее ленивые кошачьи движения, ее таинственное молчание, ее темные глаза под всегда полузакрытыми, тяжелыми от краски веками, у него перехватывало дыхание и закладывало уши. Рита...

Но при чем тут Рита? Сейчас Леша был один, что, конечно, слегка разочаровывало, но тоже представляло немалый интерес, особенно после выставки. Потому что кто же лучше Леша с его тонким эстетическим чувством мог понять и разделить испытанное в музее потрясение? Анатолий приветственно махнул рукой и побежал через шоссе, привычными матадорскими па уклоняясь от неуклюжих рогатых троллейбусов.

Леша ждал его с обычной полуулыбкой на бледном тонкогубом лице. Как всегда, в одной руке он держал потертый кожаный портфель с книгами и заготовками для «Человека в мире», а в другой – папироску «Север». Эти два предмета были свойственны ему настолько, что будущие исследователи должны были бы, без сомнения, атрибутировать его только по этим признакам, подобно тому как Меркурия определяют по жезлу и крылатым сандалиям.

– Привет, – сказал он, ставя портфель на тротуар и протягивая Анатолию руку. – Как жизнь?

– Прекрасно! Удивительно! – отвечал Анатолий, с трудом удерживаясь от того, чтобы немедленно не начать рассказывать о выставке. Вежливость предписывала прежде всего поинтересоваться другим. – Как продвигается «Человек»?

Леша печально вздохнул и поднял портфель с тротуара, возвращаясь в свой традиционный образ.

– Я принял решение переписать все... – грустно сообщил он. – Начать сначала. Сколько можно править одно и то же...

– Все?! – ужаснулся Анатолий.

Кому-нибудь несведущему перспектива полной переписи могла бы показаться не столь страшной, в особенности, учитывая, что написано было всего лишь две страницы с четвертью, но Анатолий-то знал, сколько времени на них потребовалось!

– Видимо, да... – В голосе Леша уже не слышалось прежней решимости. Он вообще был очень подвержен влияниям. – Ты думаешь, не стоит? Пойдем туда?

Не дожидаясь ответа, он двинулся по направлению к БАНу.

– Пойдем, – согласился Анатолий, присоединяясь к приятелю. – Конечно, не стоит! Ты что? Столько труда!

– Это да, – снова вздохнул Леша. – Хорошо. Если ты так настаиваешь, я подумаю. Ты сейчас откуда и куда?

– С выставки! – радостно сказал Анатолий. – Это нечто, Леша. Ты уже был?

– Нет. Пока что меня пугает очередь. Пойду ближе к концу.

– Обязательно сходи! – воскликнул Анатолий. – Обязательно! Знаешь, это сплошное открытие, а не выставка. Столько радости, света! Удивительные краски, совсем не похожие на то, что в альбомах. Репродукции совершенно не передают. Совершенно! Все-таки это поразительный художник! Такая любовь к жизни, к природе, буквально физическое ощущение материи – даже небо пишется густыми крупными мазками. Смотришь – и хочется жить, жить, жить...

Леша шел молча, поглядывая исподлобья и крутя в пальцах потухшую папиросу. Кисти рук у него были тонкие, хрупкие, как у ребенка, а суставы припухшие, как у старика.

– Насчет «хочется жить» ты скорее всего преувеличил, – мягко возразил он. – Учитывая факты его реальной биографии. Свои самые лучшие... гм... правильнее было бы сказать «самые популярные» вещи он написал, уже будучи абсолютно сумасшедшим... гм... с медицинской точки зрения. Причем результирующий вектор его помешательства был со всей определенностью направлен в сторону самоуничтожения...

– Нет, Леша, нет! – перебил Анатолий. – Я тоже так думал – до того, как увидел эти картины живьем. Знаешь, там есть один из его знаменитых «Жнецов». Тот, где солнце самое низкое: в трех остальных вариантах оно уже поднялось над горизонтом, а здесь еще будто вскапывается вверх по горке. Так вот, холст прямо-таки дышит оптимизмом и радостью жизни. Ведь это восход, понимаешь? Восход, начало рабочего дня. Впереди весь день, вся жизнь, и на небе ни облачка. Нет и тени того, о чем ты говоришь. Вернее сказать, нет тени вообще! Конечно, он был болен, глупо отрицать. Но при этом искусство оставалось его единственным лекарством, тем, что держало его на земле, как этого жнеца – на желтом пшеничном поле. Он погиб не благодаря искусству, а вопреки нему! Уверяю тебя, если бы он не имел возможности писать, то покончил бы с собой намного раньше. Поэтому темп его работы в последние месяцы был поистине бешеный.

Леша остановился и зажал портфель между коленями, чтобы достать папиросную пачку.

– Я небольшой специалист в этом вопросе, – сказал он, закуривая. – Если не ошибаюсь, все его «Жнецы» написаны во время пребывания в психиатрической лечебнице?

– Да, в Сен-Реми. И, между прочим, доктора прописали ему занятия живописью именно в профилактических целях.

– Гм... снова, я боюсь ошибиться, но разве эта профилактика не включала в себя преимущественно копирование образцов Милле, известного своей уравновешенностью и покоем? Брат специально присылал ему репродукции.

– Ну присылал. И что с того? Что это доказывает?

– Да ничего не доказывает... – Леша пожал плечами и продолжил движение. Он передвигался маленькими, частыми шажками, ставя ноги носками наружу. – Кроме того, что, возможно, профилактикой был именно Милле, отвлекавший его от кошмаров. Пойми, старик, твоя трактовка вовсе не единственная. Точно с таким же успехом можно утверждать, что живопись загнала его в гроб, то есть была ядом, а вовсе не лекарством.

Анатолий пожал плечами.

– Не единственная, так не единственная... – произнес он слегка обиженно. – Меня это мало волнует. Кстати, мою трактовку разделяют очень и очень многие. К примеру, моя мама, которая, к твоему сведению, специализируется на постимпрессионизме. Да хоть на той же выставке я слышал нескольких экскурсоводов...

Леша насмешливо фыркнул, и Анатолий замолчал. Призванные им на помощь официальные авторитеты мало что весили в глазах диссидентствующего гения.

– Не обижайся, старик... – Леша сильно затынулся, отчего плохой табак в папиросе затрещал, как костер на ветру. – Я в этом вопросе дилетант и говорю, руководствуясь исключительно логикой. А что диктует нам логика? А логика диктует, во-первых, острую необходимость выпить полстакана сухого вина... У тебя есть сорок копеек?

– Есть, – нетерпеливо отозвался Анатолий. – А во-вторых?

– А во-вторых, искусство еще никогда не приносило добра самому художнику. Поверь на слово человеку, изгнанному с кафедры эстетики на

пятом году... гм... обучения... – Он снова стрельнул снизу и исподлбья виноватым взглядом бездомной собачонки. – Искусство высасывает из чело века жизнь, как паук из мухи. Так что твоя версия представляется мне мало вероятной, хотя и красивой. Но не расстраивайся, возможно, я ошибаюсь. Я ведь, ты знаешь, изучал Дмитрия Дмитриевича, то есть, гм... совсем другого психа. Хочешь, спросим у Федьки? Он сейчас наверняка сидит в «Скифе». Заодно и мне обещанный стакан поднесешь...

– Обещанный! – фыркнул Анатолий. – Ничего я тебе не обещал. И вообще поздно уже.

– Там наверняка еще и Джек будет со своей Иркой, и Рита...

Анатолий подозрительно покосился на своего приятеля, но тот все с тем же виноватым видом продолжал частить мелкие шажки: левой, правой, левой, правой, носками наружу.

– А что, Леша, Рита с Федькой... это... вместе?

– Нет, ты что! – как-то даже испуганно отвечал Леша. – Федька же голубой, я разве тебе не говорил?

В «Скифе», маленьком кафе на углу Второй и Среднего, было накурено и жарко. Анатолий заметил Риту еще от входа. Без куртки, в одной обтягивающей футболке, она как раз потянулась к блюдечку стряхнуть пепел, и по гладкости спины стало понятно, что она еще и без лифчика. Он почувствовал, как кровь сразу прихлынула к щекам... хорошо еще, что можно спихнуть это на жару. Кроме Риты, за угловым столиком сидели Джек с Иркой и Федька – все, как и предсказывал Леша.

Длинноволосый Джек, в миру Женя, художник и признанный центр любой богемной компании, помахал им рукой, призывая взять стулья и подсесть поближе. Анатолию досталось место напротив Риты; он уселся, преувеличенно громко отдуваясь и пряча глаза, все время некстати упирающиеся то в ее грудь, то в насмешливый огонек, пляшущий, как светляк на болоте, в темном мороке полузакрытых глаз. Его неловкость не осталась незамеченной: нахальная Ирка фамильярно ткнула в бок острым локтем и захихикала.

– Что, Толенька, глаза некуда девать? Ты бы, Ритка, пожалела парня. Развесила тут сиськи во все стороны, срамница... Эх, моя милая срамница, у нее... – Она подбоченилась и, приплясывая задом на стуле, спела непристойнейшую матерную частушку.

Все рассмеялись, а Ирка громче всех. Она вообще была из породы хохотушек – пухленькая, вся в кудряшках, блондинка. На голове у Ирки в любое время года и при любых обстоятельствах красовался лихо заломленный бархатный берет.

– Жарко здесь, вот и сняла... – сказала Рита, улыбаясь своей медленной полуулыбкой. – Извини, Толенька. Не бойся, я тебя кормить не стану.

Последовал новый взрыв хохота. Толстозадая буфетчица в переднике и кружевной наколке над роскошным пергидрольным перманентом шлепнула ладонью по стойке и закричала на них через зал:

– Эй, молодежь! А ну перестали! Вот как вызову, честное слово, вызову! Сидите тут зря, ничего не берете, один убыток с вас, честное слово!

Помимо передника и накладки буфетчица носила звучное имя «Муза» и была известна тем, что осведомительствовала за так, из гражданских побуждений. Признавая справедливость хозяйкиных притязаний, Джек закивал и поднял в воздух обе руки:

– Сейчас, Музонька, сейчас, девонька... жди гонца! – Он наклонился к столу. – Ребята, надо что-то взять. Неудобно. Ей ведь тоже план гнать. Толя...

– Ага, – сказал Анатолий, вставая. – Я возьму. Я и Леше обещал, так что...

Он подошел к стойке и попросил бутылку рислинга. Орудую штопором, Муза неодобрительно покачала головой.

– Вот ведь бесстыжие... опять мальчика обирают... Ты бы, Толя, хоть раз отказался, что ли...

Анатолий хотел сказать, что он уже на втором курсе, а вовсе никакой не малец, и вообще вполне может распорядиться своими деньгами сам, без посторонних советов, но вовремя передумал, а то вышло бы совсем уж по-детски. Зато за столом бутылка была встречена восторженно.

– Зачем ты так? – сказал Джек с фальшивым сожалением. – Хватило бы и двухсот грамм на всех.

– Ничего, вчера мне как раз долг вернули, – соврал Анатолий. – Гулять так гулять.

Он вскинул глаза к насмешливым огонькам Риты, и тут же отвел взгляд.

– Ты, говорят, прямо с выставки... Долго стоял? – спросила Ирка, закуривая.

– Три часа. Но оно того стоило! – Он приостановился, словно проверяя себя. Возможно, это прозвучало чересчур вызывающе? Или слишком восторженно? Анатолий кашлянул в кулак и немного убавил чувства. – Я его очень люблю, с детства. Моя мама...

– Вот скажи, Федька, – перебил его Леша. Леша всегда говорил тихо и ровно, но все в этой компании немедленно смолкали, стоило ему только открыть рот. – Мы к тебе, как к эксперту. Помнишь эту картину со жнецом на пшеничном поле? Наш юный друг полагает, что она необыкновенно радостна, полна восхищения жизнью и надеждой. Что желтый цвет, цвет солнца, которого там так много, является тому неоспоримым доказательством.

Он замолчал, поднес к губам стакан и начал пить мелкими смакующими глотками.

– Конечно, так, Толенька, – вмешалась Ирка, ласково беря Анатолия под руку. – Ты совершенно прав. Желтый цвет – цвет надежды, радости и счастья. Даже больше того – это цвет совершенства, связи неба с землей. Недаром китайские императоры носили желтую одежду. А вот я еще что знаю: многие дальтоники, которые не видят никаких цветов, видят желтый. Джек, скажи! Ты у нас тут за художника.

– Правильно, Ируня, – поддержал ее Джек. – Желтый на Востоке – божественный цвет. А как художник, Толя, я тебе вот что скажу: если бы желтая краска не была такой проблематичной, то ее бы и использовали чаще. Если делать ее на базе свинца, то получается ядовитая. Хромовая – нестойкая. Разве что из шафрана, но шафран ужасно дорог. Короче, лучше не связываться. Так что твой кумир тут особенный. Таких морей желтизны, как у него, пожалуй, больше нигде и не сыщешь. Кстати, какие краски он использовал, кто-нибудь знает? На шафран-то у него определенно денег не было. Может, индийскую желть? Тогда продавалась такая. Сейчас-то она уже под запретом.

– Под запретом? Почему?

– А хрен ее знает! Федька, расскажи, что ты молчишь, как немой партизан?

– Да вы же слова вставить не даете, – спокойно отвечал тщедушный белобрысый Федька. – Индийскую желть получали из мочи больных коров. Была превосходная краска, дешевая, стойкая и безопасная. Но потом выяснилось, что коровы болели не просто так: производители скармливали им какие-то гадкие листья. Вот вам и запрет.

– Гады! – с чувством сказала Ирка.

Федька повернулся к Анатолию.

– Что же касается «Жнеца», то он описывается, как олицетворение смерти.

– Ну да... – недоверчиво протянула Ирка. – Какая там смерть?

– Жнец – это смерть, выкашивающая человечество. – Федька развел руками. – И это не я утверждаю, а сам автор – в письмах к своему брату, так что из песни слова не выкинешь.

Леша перевел взгляд со стакана на Анатолия, как будто говоря: «Вот видишь?»

– Да это известно, – нетерпеливо сказал Анатолий, пожимая плечами. – Но мало ли, как художник объясняет свои картины? Часто он только повторяет слова ученых критиков, которые вбивают ему в голову всякую чушь. Джек, разве не так?

Джек рассмеялся:

– В самую точку!

Анатолий украдкой взглянул на Риту. Та слушала внимательно, сощурившись чуть больше обычного, и уже от этого одного он ощутил что-то похожее на вдохновение.

– Ну вот. Сначала был написан «Сеятель», потом «Жнец», но дело-то не в сюжете, а в мироощущении, которое оказалось сильнее любого сюжета. Понимаете? Получилось так, что радостный взгляд на мир перевесил. Солнце, природа, поле, красота и счастье. Отсюда так много желтого. Вы же сами говорили о божественном характере этого...

– На Востоке, – вставил Федька.

– Что?

– Желтый цвет считался божественным на Востоке, – тихо повторил Федька. – Что же касается нашего, чисто европейского случая, то я вынужден тебя огорчить. Христианство с давних пор полагало желтый цветом греха и измены. Желтым помечали должников, евреев, ведьм и проституток. Желтый флаг вешали над чумной деревней. В желтое художники одевали Иуду. Помнишь огромное желтое пятно Иудиного плаща на знаменитой фреске Джотто? Или одежду блудниц у Брейгеля, Вермеера и прочих... А как именовался в России документ, выдаваемый проституткам?

– Желтый билет! – воскликнула Ирка.

– Кому, как не тебе, знать... – подколот ее Джек, и все рассмеялись, радуясь случаю приземлить чересчур заумный разговор.

– Погоди, погоди... – задумчиво произнес Анатолий. – Ты хочешь сказать, что...

Федька печально улыбнулся.

– Представь себе экзальтированного молодого человека, сына пастора, с юности мечтавшего стать проповедником, вернее, пытавшегося им стать. Теперь представь себе жизнь парижской богемы, где грех сидит на грехе и грехом погоняет. Грязные проститутки, пьянство, постоянное ощущение того, что он пропивает деньги брата. Добавь к этому неустойчивую психику... Да этот человек жил в аду! По-твоему, он мог любить жизнь? Вообще в теории – может быть. Но свою конкретную жизнь он должен был ненавидеть. Он ненавидел себя, Толя. Ненавидел свой грех. Он считал себя безнадежным грешником, Каином. Он красил себя и свои полотна в желтый, как Иуду. Цвет радости? Разуй глаза, парень. Это цвет ненависти и отчаяния.

Над столом повисло молчание.

– Эй, молодежь! – крикнула от стойки Муза, встревоженная необычной тишиной. – Что вы там притихли? Распиваете из-под полы? Сейчас вызову, честное слово вызову!

– Да... – подавленно сказала Ирка. – Гад ты, Федька. Нет, чтоб промолчать. Леша пожал плечами.

– Правда всегда лучше. Плесни-ка мне еще, Толя.

– А как у него было с женщинами? – вдруг спросила Рита, потягиваясь длинным плавным движением. – Ну помимо проституток.

– Помимо? – Федька на секунду задумался. – Да, в общем, и не было ничего помимо. С одной проституткой он какое-то время встречался постоянно. Что характерно, ее звали Христина. Думаю, здесь тоже в какой-то мере присутствовал религиозный мотив: спасти заблудшую душу и прочее. Он ведь видел себя проповедником, помните? Была еще какая-то деревенская девица из родных мест... Ну там вообще не сложилось, да так, что она в итоге пыталась покончить с собой... Короче говоря...

– Короче говоря, все ясно, – перебила Рита, наклоняясь вперед и блестя глазами. – Боялся бедняжка баб, как черт ладана. Это огромное пшеничное поле на картине – не просто грех, а женщина. Одна огромная страшная женщина. А сам он – жнец, маленький беспомощный человечек со своим крошечным инструментом: туда-сюда, туда сюда... Дергается, как карликовый пинчер на сенбернарихе. Совершает свои судорожные фрикции.

– Красиво, – оценил Леша. – И правдоподобно.

Ирка в изумлении цокнула языком.

– Да что тут красивого? Все-таки у тебя, Ритка, на сексе задвиг. Кто о чем, а ты вечно о фрикциях.

– Подумаешь... – зевнула Рита, снова откидываясь на спинку стула и пряча глаза под веками. – Уж и про фрикции не поговори... Ты вон частушки неприличные поешь, а мне и слова не молвить.

Она задержалась взглядом на Анатолии и вдруг весело, по-свойски подмигнула, так, что сердце у парня дернулось, исчезло и обнаружило себя лишь через пару-тройку секунд где-то в области пяток.

Дальше говорили о разном, перемывали косточки общим знакомым, смеялись. Потом Анатолий взял на всех кофе, а потом оказалось, что времени около полуночи и пора уходить, оттого что иначе Муза уж точно «вызовет». Выйдя из кафе, еще немного потоптались на углу, прощаясь. Леша сказал, что идет ночевать к Федьке, который жил совсем рядом, на Малом проспекте, отчего заход в гости к нему именовался в компании «сходить по-малому». Похабница Ирка, конечно же, не упустила случая пошутить на тему их совместной ночевки, и все снова смеялись, а потом как-то сразу разошлись, и Анатолий вдруг обнаружил себя наедине с Ритой. Это произошло абсолютно непредвиденно, он даже не успел испугаться, когда она спросила: «Проводишь меня, Толенька?» – и, не дожидаясь ответа, взяла его под руку.

Она жила в районе площади Труда, а денег на такси у него уже не осталось, и он стал судорожно соображать, как бы сказать ей об этом, но тут она сама предложила пройтись, потому что, когда же еще это делать, если не в белую ночь на Неве. И она пошла – сначала по проспекту, а потом по Пятой на набережную – и дальше через мост. А ночь была, как и положено, белой и пахла Ритиными волосами, и в ее белесом томительном мороке явственно угадывался темный, томительный морок Ритиных полуприкрытых глаз. И Анатолий говорил, не переставая, потому что боялся молчания, – говорил о чем попало, бесконтрольно и, видимо, бессвязно, а Рита отвечала междометиями и смешками, и рука ее лежала на его руке, а временами Анатолий даже чувствовал плечом прикосновение ее груди и от этого почти терял голос, так что приходилось откашливаться.

А потом они остановились у ее подъезда на Красной улице, и он уже собрался завернуть какую-то заранее заготовленную дурацкую фразу, но тут она вдруг сказала: «Заткнись!» и, привстав на цыпочки – а ему показалось, что наклонившись, – поцеловала его в рот, и ноги у него подкосились, так что он думал только о том, как бы не упасть, потому что это было бы уже совсем позорно, и тогда Рита взяла его ладонь и положила на свою грудь с твердым, напрягшимся соском, и он уже не знал и не видел ничего, кроме огромного, нескончаемого пшеничного поля, объявшего всю его крошечную дрожущую душу.

И тогда она отклонилась и, посмотрев ему прямо в глаза, спросила: «Теперь понял?» – и ушла, напоследок погладив, вернее, потрепав по щеке, как треплют детей или собак, а в его бедной, съезжившейся душе метались, наталкиваясь друг на дружку, как два бильярдных шара, чувство безмерного облегчения от того, что весь этот кошмар кончился, и отчетливая мысль о том, что у каждого человека всегда должен быть наготове способ быстро и безболезненно умереть.

Переговоры прошли просто замечательно: договор подписан и утвержден. Видимо, интересы и впрямь совпали, если даже голландцы, обычно медлительные и осторожные, на этот раз продемонстрировали чудеса оперативности. Анатолий Александрович уже начал опасаться, что продешевил, настолько легко партнеры соглашались на все его условия. После окончания заседания он попросил еще раз ознакомить его с образцами, и снова все прошло без сучка, без задоринки. В сопровождении предупредительных хозяев они с Сашей спустились на склад, прогулялись вдоль безупречно организованных стеллажей, проверили по каталогу ассортимент и качество.

– Вот это да!.. – восхищенно прошептал Саша. – Вы только гляньте, Анатолий Александрович, какой у них тут порядок! Можно подумать, что речь идет о медицинском оборудовании, а не о канализационных трубах!

Анатолий Александрович улыбнулся и назидательно поднял палец:

– Теперь ты понял, что и почему я от вас требую? Не зря ведь, а? А вы, небось, недовольны: мол, что это шеф зверствует попусту? А вот и не попусту, не попусту...

Он в который раз убеждался, что не зря взял с собой помощника. Конечно, Анатолий Александрович справился бы и один, да и расход лишний, но, с другой стороны, плюсов больше. Теперь при необходимости Саша сможет заменить его в будущих поездках. Не все ведь одному лямку тянуть! И в воспитательном плане тоже хорошо: пусть сотрудники знают, что усилия и самоотдача соответственно поощряются. А расход?.. Подумаешь, расход... Денег, слава Богу, хватало, дела шли прекрасно, бизнес развивался и приносил устойчивый прирост прибыли. В конце концов богатый человек отличается от бедного не количеством денег, но отношением к ним.

А Анатолий Александрович был, без сомнения, богатым человеком. Не мультимиллионером, нет... Но кому нужны волнения, связанные с излишним, бьющим в глаза богатством! Устойчивость важнее. Устойчивость и уверенность в завтрашнем дне. Спокойствие жены. Хорошее образование для детей. Качественный отдых. Здоровый образ жизни. Обеспеченная старость.

Они вернулись в гостиницу переодеться; на два номера Анатолий Александрович все же тратиться не стал – всему есть предел. Да и веселее вдвоем. Время было – ни то ни се, первый час пополудни. Самолет улетал завтрашним утром, дела закончились, до вечера далеко.

– Анатолий Александрович, а не сходить ли нам в музей? – сказал Саша. – А то обидно как-то: быть в Амстердаме и не сходить. Говорят, там даже раздвижная крыша какая-то. Хотя вы-то, наверняка, уже посещали и не раз...

– Гм... – Анатолий Александрович смущенно пожевал губами. – Стыдно признаться, Саша, но – нет, не бывал. Я, честно говоря, вообще по картинным галереям не ходок. Когда-то в молодости увлекался, да. У меня ведь покойная мама искусствоведом работала в издательстве. Наверно, поэтому и забросил. Знаешь, как это бывает: родители – лекари, а дети – пекари...

Саша с готовностью засмеялся. Анатолий Александрович встал с кресла и подошел к окну. Снаружи, в ярком свете июльского полдня, серебрился приветливый Амстель, горбатился мост, торчала уродливая бетонная громада культурного центра, шли пестро, по-летнему одетые люди, плыл речной трамвайчик...

«Поэтому и забросил?.. – повторил он мысленно. – Себе-то зачем врать? Да и Саше мог бы прямо сказать... А что сказать? Что сказать? Что ты боишься? Причем боишься не только музеев, но и альбомов... Да и в тех местах, где случайно наталкиваешься на вездесущие репродукции с подсолнухами, пшеничными полями или плетеными стульями, всегда стараешься сесть так, чтобы не видеть... Но как объяснишь подобную нелепость? Что там такого страшного в этой желтой мазне?»

Анатолий Александрович пожал плечами. Ничего страшного! Ничего! Но неприятное чувство не слушалось, подвывало в животе, покалывало под сердцем. Хорошего настроения как не бывало.

– Ну, тогда тем более! – с энтузиазмом воскликнул Саша у него за спиной. – Пойдемте, Анатолий Александрович, что в номере сидеть? А на обратном пути пивка выпьем в баре. Решайтесь!

«А и в самом деле... – подумал Анатолий Александрович. – Сколько можно трусить? Это в конце концов ненормально. И вообще клин клином вышибают».

Он повернулся к своему подчиненному и махнул рукой с шутливо-отчаянным видом, как будто собирался нырять с десятиметровой вышки.

– Гулять так гулять! Бог не выдаст, свинья не съест!

На Рембрандтплейн, где они садились на трамвай, перед баром гудела оранжевая толпа футбольных болельщиков.

– Опаздываем, Анатолий Александрович, – пошутил Саша. – Посмотрите, еще и часу нету, а аборигены уже набрались под завязку. Тут вам и травка, и пивко... И только мы ни в одном глазу. Ну ничего, вот только в музее отметимся и догоним.

Анатолий Александрович слабо улыбнулся. Его немного подташнивало от волнения. Когда он в последний раз стоял рядом с раскрашенными холстами ценой в миллионы долларов? Уже и не упомнить...

«Ага, не упомнить... опять врешь. Все-то ты помнишь. Эрмитаж, привозная выставка из музея Креллер-Мюллер. Почти сорок лет прошло, а будто вчера...»

Он даже подумал, что мог бы и сейчас безошибочно восстановить, где что висело. Вот уж потрясло так потрясло...

В музее Саша сразу побежал вперед, особо не задерживаясь перед картинами.

– Иди, иди... – махнул ему рукой Анатолий Александрович. – Я пойду в своем темпе. Тут выход один, не потеряемся.

Экспозиция была построена по хронологическому принципу. Анатолий Александрович медленно шел по залам, прислушиваясь к себе. Там, внутри, не происходило ничего особенного. Да и почему что-то должно было происходить? Ну какое ему дело до чужого сумасшествия? Ну, допустим, когда-то, очень-очень давно, он, случайный зевака, по недомыслию заглянул в черную адскую пропасть, в которой жил тот, другой. В пропасть, откуда слышались плач и стоны, где клубилась ненависть, дышало страдание. Заглянул и сразу отшатнулся. Разве такой секундный погляд делает его, положительного и серьезного человека, рабом этого рыдающего безумия?

Конечно, нет. У него все в порядке.

– У меня все в порядке, – сказал Анатолий Александрович вслух, чтобы услышать свой голос.

Вышло неожиданно громко, так что стоявший перед ним кореец с кинокамерой испуганно отшатнулся. Нужно было бы улыбнуться, но Анатолий Александрович не смог. Конечно, у него все в порядке. Семья, работа, уважение окружающих, налаженная и спокойная жизнь. Кому-то она может показаться скучноватой, но у каждого ведь свои запросы. Кто-то любит жить в суете и калейдоскопе событий, а кому-то дороже спокойствие. Он, Анатолий Александрович, из последних. Обычный человек с обычными запросами. Вот и все. Так просто. Он вздохнул почти облегченно. Похоже, происходило избавление от многолетней мучительной фобии. Нужно будет Саше премию дать, за то что подарил ему этот сеанс шоковой терапии.

Впрочем, если уж вспоминать о пропасти, то было бы неправильным сказать, что она разверзлась перед ним именно в ту давнюю белую невшскую ночь. Все произошло намного, намного раньше, еще в детстве, когда он

впервые увидел на репродукции эту ослепительную солнечную желть и безошибочно чутьем определил под ней чавкающую грязь мерзлого, мертвого поля. Он знал это всегда, – вот в чем дело. Знал и пытался отодвинуть, выстроить между собой и осыпавшимся краем непреодолимый барьер слов и вранья. Слов и вранья. Ведь если назвать жажду смерти любовью к жизни, разрушительное безумие чудесной гармонией, а ненависть к себе радостью бытия, то вполне можно жить, правда ведь? Внушить себе, что пропасти нет, что вместо нее расстилается невинный лужок с музицирующими пастушками, загнать страшную правду в самые дальние чуланы сознания – и жить.

Да-да, так он и делал, и в этом заключалась его главная ошибка. На самом-то деле надо было действовать совсем иначе. Надо было просто сказать себе: «Эй! Хватит дрожать и заниматься пустым самообманом! Пропасть? Ну и хрен с ней, с пропастью. Пусть себе чернеет на здоровье. Она не для тебя, Толик. Это чужая пропасть. Всего-то и нужно, что сделать несколько шагов и отойти. Шаг, и еще шаг, и еще десяток, и еще сотню...»

Собственно, он так и сделал. Разве не свидетельством тому его нынешняя, надежная и уравновешенная жизнь? Да он уже не в сотне шагов, а в сотне километров от края! Странно, что ему понадобилось столько лет плюс случайный визит в Амстердам, чтобы осознать эту очевидную истину...

– Действительно, странно, – произнес Анатолий Александрович вслух и улыбнулся.

Он стоял в зале арльского периода. Вокруг желтели лицами беспомощные портреты, на желтой улице стоял желтый дом, а в нем – желтая спальня и желтые башмаки под желтыми стульями.

– Хрен вам! – победоносно сказал Анатолий Александрович. – Я уже в километрах от вас. Даже дальше.

Он уверенно прошел мимо, к залам Сен-Реми, и как-то сразу обнаружил себя перед «Жнецом». Картина была того же размера, что и креллер-мюллеровский вариант, разве что немного посветлее. Да и солнце здесь стояло повыше, а слева из куста торчало какое-то нелепое дерево, больше похожее на ветку волчьей ягоды. Анатолий Александрович постоял перед картиной, с удовольствием отмечая разделяющее их огромное расстояние, и уже совсем было собрался двинуться дальше, как подошел тот самый, давешний пугливый кореец с кинокамерой, а с ним еще кто-то, то ли гид, то ли просто местный знакомый. Они говорили по-английски, негромко, но очень отчетливо, будто специально для Анатолия Александровича.

– Жуткая вещь, – сказал кореец. – Я бы ее запретил к показу. Запрещают же публиковать статистику самоубийств.

– Ерунда! – отвечал его спутник, качая головой. – Люди предпочитают не замечать такие вещи. Зачем об этом думать, если все равно ничего не изменишь?

Он немного помолчал и добавил:

– А знаешь, что лично меня мучает здесь больше всего? Что он до сих пор на том же месте. Ты только вдумайся, Джек: этот парень вкальвает здесь столетие с хвостиком, а не сдвинулся ни на миллиметр. Понимаешь? Поле такое огромное, прошел целый век, а он все там же... И я все там же, и ты... – Он покосился на стоявшего рядом Анатолия Александровича и вполголоса добавил: – ...и он тоже.

Последние слова были произнесены очень тихо, и Анатолий Александрович в первую минуту даже не вполне осознал, действительно ли он их услышал или ему просто показалось. Отчего-то он обдумывал этот момент неоправданно долго. Во всяком случае, кореец и его спутник уже давно отошли, а Анатолий Александрович все стоял перед «Жнецом», тараща на картину выпученные глаза и повторяя про себя: «Послышалось?... Или нет?..»

«Подожди, – сказал он сам себе наконец. – Какая разница – послышалось или нет? Ну, допустим, что он это произнес на самом деле – что тогда? Побежишь бить ему морду? Потащишь в полицию? Но за что? Только за то, что он говорит правду? Ведь это правда, Толя, не так ли? Ты ведь так и стоишь там, на самом краю, в точности на том же самом месте, где и стоял, и пропасть – вот она, здесь, никуда не делась, и камешки сыпятся из-под ног все с той же завораживающей неотвратимостью...»

Он сделал инстинктивный шаг назад, чуть не сбив с ног пожилую посетительницу. Неужели так оно и будет всегда? Поле, и поле, и поле... веками, тысячелетиями, мерзлая грязь, адская бессмысленная круговерть? Неужели не вырваться, не сбежать, не отойти? Анатолий Александрович почувствовал слабость. Не потрясение, а именно слабость и облегчение, какие случаются после того, как вывернет наизнанку. Потрясение происходит от неожиданности, но, положив руку на сердце, разве с ним произошло что-то неожиданное? Ведь знал заранее, знал...

Надо бы выйти отсюда... но как? Он поискал указатель на выход, не нашел и нетвердой походкой двинулся наугад, прочь от проклятого места. Но уже в самом конце, где-то в последнем зале, ему попались на глаза «Вороны над полем», и Анатолий Александрович остановился, пораженный внезапной мыслью. Эта была картина с суперобложки того самого альбома, который они с отцом когда-то купили в подарок маме. Первая, которую он увидел, даже еще не зная имени художника, – до всяких подсолнухов и жнецов...

Это было все то же знакомое, непроходимое, нескончаемое поле, колышущееся море безрадостного и неизбежного греха над чавкающей мертвой землей. Он приходил сюда каждый день, с утра, а иногда еще и вечером, ставил мольберт со свежим холстом и лихорадочно выплескивал на него свою ненависть, свой ужас, свое отвращение. Жутко подумать, что случилось бы, не будь у него такой возможности. В этом случае он наверняка лопнул бы, или снова отрезал от себя какой-нибудь кусок, или выколол глаза, лишь бы не видеть, не слышать, не знать.

А полю было плевать на него, плевать на все и вся, и солнце все так же висело над холмом, похожим на морду лежащего на отмели крокодила, и жнец колупался все на том же месте, не в силах сдвинуться ни на йоту. А по вечерам, когда солнце исчезало, сожранное крокодилом, небо становилось синим, и в этом тоже заключался особый смысл, потому что синий – цвет, дополнительный к желтому, то есть желтый наоборот, а значит, опять-таки не происходило ничего нового, и море желтой пшеницы по-прежнему шумело перед ним, страшное и бесконечное.

Но в тот июльский вечер случилось чудо, иначе не назовешь. Он только подошел к своему обычному месту, к берегу поля или моря, или черт его знает, что это было, скорее все-таки море, потому что оно вдруг расступилось перед ним, как Черное море перед Моисеем, – просто расступилось, раздалось, раскололось надвое, и черные вороны, которые до того прятались в пшенице, испуганно вылетели оттуда – прочь, прочь, прочь, и посередине легла дорога, не вполне прямая, но совершенно очевидным образом ведущая вперед, на ту сторону, то есть туда, куда он так хотел и стремился.

И он, как всегда, сначала написал это, а уже потом, вернувшись домой, обдумал, и тогда уже знал, что делать, и впервые за долгое время уснул, и спал глубоко и спокойно. А утром – Фома неверующий – долго сомневался, брать ли с собой мольберт, и все-таки решил взять, хотя и ясно было, что мольберт не понадобится, потому что отвращение и ужас кончились, и в итоге так оно и вышло: дорога была там же, на том же месте, где он обнаружил ее вчера; и тогда уже он с чистым сердцем забросил мольберт в пшеницу, достал револьвер и выстрелил себе в грудь.

А потом, закончив все эти приготовления, он пошел по дороге, которая расколола злобное желтое море, и ему было хорошо и покойно; дорога почему-то привела его домой, в гостиницу папаша Раву, а он и не думал спорить, ведь дорога знает сама, куда вести. Он даже поднялся в свою комнату и лег на кровать, потому что идти, лежа в кровати, было намного легче и приятнее. Потом прибежал папаша Раву и что-то кричал ему вслеп, размахивая руками, а после него – доктор Мазери и доктор Гаше, и они тоже размахивали руками и задавали какие-то вопросы, отвечать на которые было смешно, а потом, наконец, приехал Тео, и стало совсем хорошо, и он все шел и шел по своей чудесной дороге к дальнему неведомому берегу, и Тео держал его за руку, и тогда он сказал, что хотел бы вот так умереть.

И тут кто-то стал трясти его за плечо, и, подняв голову, Анатолий Александрович увидел перед собой обеспокоенное лицо Саши, который спрашивал, все ли у него в порядке, и он ответил, что да, конечно, в порядке.

Тогда Саша с некоторым упреком сказал, что ищет его по всему мужею, на что Анатолий Александрович слегка удивленно ответил, что вот же он, здесь. А потом повторил еще несколько раз, не то утверждая, не то спрашивая:

– Я здесь... я здесь... я здесь...

И Саша подумал, что шеф, видимо, красит волосы не реже двух раз в неделю, потому что вот стоило ему пропустить эти несколько дней из-за поездки, как седина так и вылезла. Но на этом все недоумения, слава Богу, закончились, и они спокойно отправились пить пиво на Ледзеплейн, как, собственно говоря, и планировали.

Израиль, Бейт-Арье



Сторонник

РАССКАЗ

Гусев снял новую квартиру в начале марта. Стоял на балконе, курил и смотрел на улицу, узкую, уже сейчас пыльную – весна выдалась ранняя и сухая, – плотно заставленную машинами с обеих сторон – проехать только одной и очень аккуратно. Слева он видел здание Московского дворца молодежи, там же – метро. Рядом с ним были высотки сразу двух банков. Чутье подсказывало Гусеву, что весь автотранспорт под окнами принадлежит работникам этих банков. Возле метро строили большой жилой дом, к стройке протискивались друг за другом бетономешалки и грузовики, над улицей стоял шум моторов, грохот забиваемых свай.

Прямо, как знал Гусев по карте, должна быть Фрунзенская набережная, но все, что он видел перед собой, была крыша низкой хрущобы через дорогу; крыша со скатом, крытая металлическими листами, с тонкими перилами по периметру. Гусев представил, как зимой промышленные альпинисты счищают снег с такой крыши: цепляются за перила страховкой, поддевают лопатой целые пласты и вовремя отскакивают в сторону, чтобы вместе со снегом не слететь вниз. Гусев знал, как это делается, Колян рассказывал.

Удаляясь от метро, улица теряла оживленность, становилась как будто более провинциальной и старела. Все сплошь такие вот хрущовки. Кончалась она хлебозаводом. Оттуда пахло закваской – кисло. В перспективе над улицей возвышалась громада Университета – но это уже далеко, на другом берегу Москвы-реки.

Хозяйка Анна, хваля жилье, говорила, что дом этот элитный. Скорее всего она имела в виду, что был он единственной девятиэтажкой на улице. Единственным высоким домом, покуда не существовало банков. Гусева же удивил архаичный лифт: кабина с двустворчатой дверью, открытая шахта, затянута сеткой. Гусев долго еще будет привыкать, что лифт надо закрывать за собой, иначе никуда не поедешь, привыкать к окошкам в стенах кабины и дверцах.

– Вы видите, квартира в идеальном состоянии. И ведь это исторический центр.

Задев дверь боком, на балкон вышла Анна. Она была за сорок, высохшая, с кожей на лице нездорового древесного цвета, седеющие волосы не крашены, что Гусева удивляло тоже. Ее глаза прятались где-то в глубине лица. Ее глаза извинялись, что она просит за квартиру так дорого.

– Здесь совсем рядом Новодевичий монастырь, а еще – буквально через две улицы – дом графа Льва Николаевича, он здесь жил, – продолжала она. Но Гусеву не было дела до исторических соседей: он прикидывал в уме, сколько сэкономит времени на дорогу до офиса. Выходило больше двух часов в день. Гусев был собою доволен, кивал Анне и с чувством хозяина оглядывал узкую улицу под балконом.

– Это квартира моего дяди, – говорила Анна. – Он в МГУ профессором работал. Вот ему здесь квартиру и дали, очень близко, вы видите, вон оно, МГУ.

Гусев достал еще одну сигарету. Анна моментально извлекла неизвестно откуда пустую консервную жестянку и взглядом предложила Гусеву в качестве пепельницы.

– Обычно с долгосрочных жильцов я порядка не требую, – говорила она, закрепляя жестянку на перилах. – Живите, как вам удобно. Но одно условие непременно: я вас умоляю, здесь может быть что угодно, но никаких котов. Вы представить себе не можете, как долго потом держится запах! Мой дядя держал двух котов, мы не могли сдать квартиру целый год после его смерти, жильцы сбегали, только за порог перешагнув. Поэтому одно условие: никаких котов!

– Я вам обещаю, их не будет, – сказал Гусев и сделал шаг в квартиру.

Анна сразу поняла и стала собираться.

– Ну, я уверена, у нас с вами все будет хорошо. Соседи у вас тихие, в основном одни старушки, – говорила она, уже выйдя на площадку к лифту. Гусев готов был закрыть дверь, как открылась квартира напротив и из нее вышел старик в черном грязном пальто и с нейлоновой грязнейшей сумкой. Помимо своей воли Гусев брезгливо скривился: даже беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, как часто старик заглядывает в мусорные баки на улицах.

– А, Сергей Артемич! А это ваш новый сосед, – громко сказала Анна, будто дед был глухой. Он замер, как пойманный, кивнул через силу, на Гусева не глядя, и поспешил вниз, не вызывая лифта.

– Ну звоните, – обернулась Анна. – Думаю, вам тут понравится.

– А вы уверены, что он тут живет? – спросил Гусев.

– Сергей-то Артемич? Давно-давно. Он тихий. Бутылки на улицах собирает.

И она села в лифт. Гусев закрыл за ней дверь.

Ему было двадцать шесть, он прожил в Москве три года, уже купил машину в кредит и снял квартиру почти в центре. В «историческом центре», – вспомнил Анну и усмехнулся. Ему было, за что собой гордиться. Когда батя десять лет назад уезжал из дома в Москву, думал ли он, что сын так далеко пойдет? Он тогда был худощавый, очкастый, отличник, смотрел на папку снизу вверх и не понимал: что, навсегда, что ли? А ты думаешь, погулять? Давай, учись, потом все равно ко мне приедешь. Здесь-то что, а вот там!.. Для тебя же стараюсь. Становись человеком! Гусев-старший был в тот момент бодр и весел: сын школу закончил, больше смысла не имело скрывать, что живут вместе только ради него. Он чувствовал за спиной крылья. Он хотел начать новую жизнь. А Гусев-маленький в тот день понял: все кончилось и все теперь будет по-другому. Надо становиться человеком. Надо ехать в Москву. Ведь здесь-то что? А там...

Батя до сих пор на однушку в Кузьминках горбатится. Что толку было ехать, если ничего не сделал за десять-то лет? За три года, что Гусев-младший прожил вместе с отцом, он успел узнать его таким, каким не знал раньше. Как знают друг друга только взрослые люди. Чужие и разные. И теперь он был вдвойне счастлив, что снял квартиру один, что съехал наконец от отца.

Она ему нравилась вся: две небольшие комнаты со сквозной дверью, минимум мебели, старый нелакированный паркет, окно на свалку и балкон на пыльную улицу; ему нравилось, что по утрам слышно будильник у соседей снизу, а вечером соседка сверху цокает каблуками над его потолком туда-сюда. Он любил эту квартиру, как любил свою первую машину: не оценивая, такой, как она есть.

Сначала думал позвать гостей и устроить новоселье. Но потом стал перечислять в уме, кого бы ему хотелось позвать. Получилось, что коллег по работе не стоит: кто-то начнет завидовать, кто-то подхалимничать, с другими ему просто скучно, с кем-то не так близок, чтобы звать в гости, а кто-то еще и не пойдет к Гусеву. Отец исключался. Оставался один Колян, земляк, товарищ детства. Но Гусев решил, что с ним отметить они еще успеют. Других знакомых в Москве у него не было. И подумал тогда, что ему хорошо здесь и одному. И еще: что он был бы абсолютно счастлив, если бы не тот отвратительного вида старик, его сосед напротив.

Он стал встречать его каждый день обязательно, хотя мечтал бы не видеть никогда. Он видел его утром, когда пил кофе и выглядывал на улицу: дед уже рылся в мусорных баках прямо у Гусева под окном. Спускаясь к машине, Гусев сталкивался с ним в подъезде: дед шел с полными сумками. Вечером они встречались у лифта. Даже выходя на площадку вынести мусор, Гусев умудрялся застать соседа. Превозмогая себя, он выдавливал приветствие. Старик отвечал невнятно и тоже, как казалось, через силу.

Сам факт существования этого человека, то, что он живет совсем рядом, отравляло Гусеву жизнь. Он не понимал, почему это существо с образом жизни бомжа, опустившееся до отбросов, грязное, живет в таком районе Москвы. Гусеву казалось, что лучшие места всегда должны принадлежать лучшим. Таким, как он, например. Ему казалось, что он, сменив квартиру, будет жить среди равных – успешных и перспективных. Старик рушил не только это его представление о жизни. Он рушил гусевское представление о самом себе.

Однако уже через десять дней Гусев узнал наверняка, что дом ему достался странный.

Начались его подозрения с того, что он догадался: квартира справа – пустая. В четвертой квартире на площадке жила пожилая женщина, которая не выходила из дома. Он видел однажды, как вечером от нее ушла медсестра, и слышал голос хозяйки, когда они прощались, а в выходные к ней пришли мужчина и женщина средних лет с полными сумками продуктов. Дети, наверное, подумал Гусев.

На неделе позвонила немолодая женщина, сказала, что живет под ним, попросила приклеить к ножкам стульев мягкую ткань. «А то вы так по полу мебелью скребете, мурашки по коже бегут. Вы меня понимаете, молодой человек?» Гусев понял, стал передвигать стулья аккуратно.

Потом он начал встречать у подъезда одну и ту же даму лет семидесяти. Может, меньше, может, больше – Гусев не разбирался в возрасте стариков. Он выходил теперь на работу не рано, и она всякий раз сидела на припек у крыльца. Гусева поражала ее архаичная сиреневая шляпка, обвитая вуалеткой с мушками. Под ней он видел только белые скулы, крашенные розовой помадой губы и белую полную шею, обвитую фиолетовым прозрачным шарфиком. Шея казалась Гусеву даже красивой. Дама была весьма дородна, сидела с удивительно прямой спиной и, чтобы приветствовать Гусева, поворачивалась к нему всем корпусом. В руках у нее была небольшая сумочка, при виде которой у Гусева в памяти всплывало древнее слово *ридикюль*. Другого названия такого предмета он не знал. Разве что *косметичка*.

Она начинала разговор словами: «Приятный сегодня денек, молодой человек, не находите?» – и продолжала, не дожидаясь ответа, какой-либо новостью из жизни их дома. Голос у нее был сильный. Вопросы Гусеву она задавала редко и не навязывалась с беседой: стоило ему заикнуться, что торопится, как дама смолкала, будто ее выключили, и только продолжала благосклонно ему вслед улыбаться.

Через неделю Гусев знал, кто держит кошек в доме, а кто собак, к кому приехали родственники, а кто из соседей забыл вчера батон хлеба на каше. Но главное, Гусев совершенно четко понял, что их дом населен стариками. Две-три квартиры вообще пустуют. Одну снимает молодая относительно пара, но они иностранцы. Детей и подростков в доме нет.

Когда он это осознал, ему будто бы что-то открылось. Некая суть этого места, которую он никак не мог уловить. Почему дом такой тихий, даже по выходным, когда обычно в других местах, где он жил, за стенами слышны разговоры, музыка, телевизор. Не такая ведь тут идеальная звукоизоляция. Почему в подъезде, у лестницы к лифту – перила, которых обычно не бывает. Почему, если возвращаться домой в темноте, в большинстве окон уже не горит свет.

Всегда, сталкиваясь лицом к лицу с пожилым, немощным человеком, Гусев испытывал неудобство, самому ему непонятное. Теперь это чувство преследовало его, стоило только войти в подъезд. Потом он стал ловить себя на том, что думает о соседях уже на работе. Он чувствовал, что у них у всех есть нечто общее, чего нет в нем, Гусеве, что ему чуждо. И что было чуждо всему тому миру, к которому Гусев принадлежал: энергичному, процветающему миру. Гусев задумывался над этим и не понимал: как же так?

Если эти люди живут совсем не так, как живет он сам и такие, как он, как они живут? О чем они думают и чего хотят? Если они вообще чего-то хотят. А если хотят, то зачем? Зачем им что-то, если они уже все равно ни к чему не стремятся? Чем дальше он углублялся в эти вопросы, тем более странным казалось ему само существование этих людей. Ему было бы проще, если бы их вообще не было.

Однажды Гусев представил дом в разрезе, как кукольный, чтобы видны были квартиры и жильцы. И понял: он окружен. Купил пива и позвонил Колян.

Колян был метр девяносто ростом, косая сажень в плечах и с каким-то бесовским огнем в глазах. Ухарь, альпинист, бард, он попал в Москву после армии, работал высотником и очень любил показывать фотографии, где он висит под козырьком крыши, улыбается во весь рот, а ветер выбивает из глаз слезу. За его спиной непременно видна какая-нибудь панорама: Пушкинская площадь, Цветной бульвар, кусочек парка или Садового кольца. Из таких фотографий Колян мог уже собирать альбом с видами Москвы. Он держал их всегда при себе, в телефоне: на девушек эти фотографии действовали безотказно.

С Гусевым они учились когда-то в одном классе, но в те времена у них было мало общего. В Москве сошлись по принципу землячества, старой памяти и от неимения альтернативы.

– Мы тут как-то висели! – заявил Колян с порога. – Вон тот банк, стекляшка, пару недель назад окна мыли. – Он показал самое высокое здание на улице, затянутое в тонированное стекло.

Он приходил, они пили пиво, сидели до упора, потом Колян бежал на метро, а Гусев не мог вспомнить, о чем говорили, но помнил, что было весело. Раньше ему не нравилось так проводить время. Теперь он боялся тех вечеров, когда Колян не приходил. Ему стало неуютно в этой квартире, в этом доме. Он даже попытался однажды рассказать Колян, в каком странном месте живет, но тот только хлопнул его по плечу:

– Ниче, вот увидишь: ты станешь свидетелем, как все они тут сменятся.

– В каком смысле? – не понял Гусев.

– Ну в смысле вымрут, – сказал Колян и заржал. Но, заметив, что Гусеву не смешно, сделался вдруг серьезным. – Девушку тебе надо найти, Вовчик. А то ты не о том что-то думаешь.

Гусев только вздохнул: последнюю свою девушку он оставил, когда уезжал в Москву. Ведь не мог же он все увезти с собой, в самом деле?

Он стал примечать всех, с кем встречался в подъезде. У него даже появилась игра: он пытался догадаться, кем эти люди были раньше, когда выглядели по-другому. В основном попадались тихие старушки с сумками на колесиках, они тушевались и отводили глаза, когда он с ними здоровался. Или же крепкие старики, по взгляду и голосу которых он узнавал старых начальников с высоких постов. Сейчас это были выцветшие оболочки, содержащие память о собственном прошлом и ничего настоящего.

Элитный дом, вспоминал Гусев, усмехаясь.

Его соседка по площадке, которую он ни разу не видел, играла на арфе. Он не сразу понял, что это за странный инструмент. К роялю снизу он уже привык. На балкон первого этажа, возле подъезда, с наступлением теплых дней была выставлена целая рота горшков с цветами. Хотя жил в этой квартире старик: Гусев видел иногда его силуэт за занавеской.

Но самое удивительное существо, которое он встречал, была одна старушка, такая низенькая и худая – не выше девятилетней девочки. Гусеву она попадалась обычно вечером, когда он шел домой. Старушка так медленно, аккуратно поднималась по лестнице к лифту, держась за перила, что Гусев впадал в какой-то приступ неисполнимой заботы. Ему хотелось взять эту бабушку и понести, но это было неприлично. Сумок у нее никогда не было, и потому каждый раз, смущенный и пристыженный своей ненужной силой, которую чувствовал в себе в эти моменты очень резко, он кивал ей небрежное – «драсте» и шел на свой этаж пешком. При этом замечал удивительно светлый, детский взгляд бабушки, и здоровалась она всегда с большой радостью.

Эта бабулька стала для Гусева светлым, нежным и хрупким образом дома. И ее полной противоположностью был дед, что жил напротив.

Гусев стал замечать, что всякий раз, когда злился или раздражался по какому-нибудь поводу, его мысли сами собой обращались к этому старику. Будто он злится и раздражен именно на него. Потом, непонятно зачем, он начал за ним следить. Стал выходить специально пораньше, подольше беседовал с сиреневой дамой, выкуривал сигаретку перед тем, как сесть в машину. Старик в это время стоял у мусорных баков, шагах в двадцати. Гусеву было удобно за ним наблюдать.

Он заметил странную вещь: не все подряд бутылки из-под пива дед брал. К тому же собирал он и другой мусор: упаковки от йогуртов, пластиковые бутылки из-под воды, коробки от соков, бутылки от шампуней, обертки от шоколадных батончиков, коробки из-под сухих завтраков... Он всегда внимательно изучал этикетки, будто это имело для него значение. Уходил домой, груженный до предела.

Однажды Гусев не выдержал и спросил у сиреновой про старика.

Это было вечером, он только приехал и увидел ее у крыльца. Он тут же понял, что другого шанса не будет. Ведь утром, когда старик близко, расспрашивать возможности нет.

Сиреневая была не одна. Незнакомая Гусеву бабка с бесцветным лицом и бегающими глазами сидела рядом. У сиреновой была откинута вуалька, но пол-лица закрывали большие очки-хамелеоны, сейчас почти черные. Гусев с удивлением отметил, насколько эффектно в своей архаичной пышности сиреневая по сравнению с этой клушкой. Ему даже захотелось сделать ей комплимент, но он сдержался и спросил сразу, как только обменялись приветствиями:

– А известно ли вам что-нибудь про моего соседа? Ну того... неблагополучного вида мужчину с моего этажа.

– Сергей Артемич? – спросила сиреневая и выглянула поверх хамелеонов. – О, он милый, хотя вы верно подметили – неблагополучный человек.

– Пф! – фыркнула ее товарка. – Он подозрительный тип! Грубиян, никогда со мной не здоровается, никогда не заговорит, буркнет что-то под

нос – и побежал. Носится целый день, будто белены объелся. И сам с собой разговаривает. Не все у него дома!

– Ну что ты, Катя, – сказала сиреневая, и Гусев опять с удовольствием отметил, что его знакомая говорит тише, спокойней и приятней второй женщины. – У него жена умерла, вот он и стал нелюдимым. Горе замыкает человека.

– У него жена умерла пять лет назад, – сморщилась Катя.

– А что вас интересует, молодой человек? – обернулась сиреневая к Гусеву, и он смутился.

– Ну не знаю... Давно ли он тут живет...

– Всегда, – опять влезла Катя.

– Неправда, не всегда. Они въехали после Орловых из тридцать пятой квартиры, это я точно помню.

– Сколько я здесь живу, столько его помню.

– Катя, но ведь ты въехала только в семьдесят девятом году! – устыдила ее сиреневая.

– А родственники у него есть? – перебил Гусев.

– Детей у них с Машей не было. Приезжала когда-то Машина сестра, но она умерла, кажется, еще в девяносто третьем. И тоже бездетной.

– Это ты с ним на почту никогда не попадала, – вдруг заявила Катя. – Он же посылки, конверты всякие – и пребольшущие – чуть не раз в месяц получает. А то и два. И на праздники все ему обязательно открытки приходят. Я сама видела, как он на Новый год из ящика доставал.

– Не понимаю, откуда бы это, – пожала плечами сиреневая, но было видно, что она растеряна и даже как будто досадует, что не знает таких вещей. – Но это точно: детей не было у них. И не приезжал никто к нему никогда. Да ведь он и бедный совсем. Разве, были бы родные, они бы оставили так, чтоб он бутылки по помойкам собирал?

– Ох, много ты современную молодежь знаешь! Но что-то ведь они ему присылают. Я уж не знаю, кто и что, но посылки – вот такие – своими глазами видела. И сам он письма отправляет тоже. Я сама, сама видела, да, как он конверты покупал!

Гусев думал, что бы еще спросить, но тут за шторкой первого этажа, за балконом с цветами, мелькнул силуэт. Гусев взгляделся, но старик понял, что его заметили, и резко задернул штору. Гусеву стало не по себе, он попрощался и ушел.

На следующий день вечером, когда он парковался, вдруг отворилась балконная дверь на первом этаже и показался лысый старик в байковом, замасленном на груди халате в цветочек. Оглянувшись по сторонам, он поманил Гусева к себе. Когда тот подошел, убрал с бортика пару горшков, наклонился и поманил Гусева еще ближе. Только когда тот встал на цыпочки, дед прошептал, глядя в глаза:

– Я имею информацию касательно Кузнецова.

– Какого Кузнецова? – спросил Гусев, но старик весь сморщился и, махая руками, дал понять, что это слишком громко.

– Сергея Артемича, из сорок девятой квартиры.

– А-а. Ну?

– Я хочу сообщить вам, что этот Кузнецов – сторонник.

Последнее было сказано на грани слышимости. После чего дед отпрянул и посмотрел на Гусева значительно. Будто для Гусева все должно теперь проясниться. Но Гусеву ничего не прояснилось.

– Какой еще сторонник?

– Тш-ш, – болезненно зашипел старик в палец. – Я не знаю, но счел нужным. Вы же интересовались.

– А-а, – закивал Гусев, будто догадался. – И при каких обстоятельствах... вы это узнали?

– Мы столкнулись в подъезде, – быстро зашептал дед, снова склонившись. – У почтовых ящиков. Кузнецов шарил в своем и сердито говорил: опять нет, который день. И в таком роде. Я спросил, ждет ли он письма. Кузнецов ответил: да, ждет. От кого же, спросил я. Очень ненавязчиво, как вы понимаете. Мол, тебе-то ведь не от кого. Объект изменился в лице, захихикал и говорит: а мне полагается. Я сторонник.

Дед опять замолчал, только теперь еще более значительно.

– Так и сказал? – спросил Гусев.

– Именно так.

– Хорошо. Благодарю. – Он опустил на пятки и пошел к подъезду.

– Ну вы уж потом того! Вы меня уж не забудьте!

– Не забудем, – пообещал Гусев, отпирая дверь.

Вечером он рассказал об этом случае Колян.

– Может, тебе съездить куда, а? – с неугасаемой улыбкой поинтересовался тот. – Вот, смотри: отправь пять крышек – выиграешь путевку на Райские острова. Да еще на двоих. Хочешь? – Колян потряс перед Гусевым бутылкой из-под минеральной воды. – На худой конец часы получишь.

– Ну тебя, Колян. Тут все серьезно. – Гусев почти обиделся. – Что может быть за сторонник? Сторонник чего? Это партия, что ли, какая?

– Действительно, – пожал плечами Колян равнодушно. – В эту лабуду только уроды играют. – И выбросил бутылку в форточку. – А что тебе дался этот старик?

Тогда Гусев решил и рассказал про свои мучения. Про то, как ненавидит соседа с первого дня. За его нищету. Грязь. Убожество. Как следит за ним. Замечает всякие странности. Как по вечерам изводит себя, представляя его квартиру. У них должны быть похожие квартиры. Зеркальное отражение. Но у старика она грязная, темная. Совсем без мебели, потому что мебель он пропил.

Нет, наоборот.

В ней должно быть очень много барахла, ненужного и поломанного, горы тряпья по углам, он все это тащит со свалки вместе с коробками и бутылками.

Да, бутылки там должны быть везде.

Нищая лампочка еле освещает черный пол, узкий проход через нагромождение стульев, ломаных кресел, тумбочек и диванов. На кухне – засаленная плита. И запах. Да, там обязательно должно чем-то вонять.

Помойкой. Гусев почти чуял, как воняет в той квартире помойкой. И сам старик должен вонять так же, потому что не моется и вечно ходит в одном и том же пальто. Он весь насквозь пропитался самыми отвратительными запахами. Помойки и – что может быть еще хуже? – котов. Да. Он весь насквозь пропах котами.

– Ты извращенец, Вовчик, – ухмыльнулся Колян. – Ты чего-то не то себе представляешь. Ты бы лучше телку представил. Вон у тебя по крыше каждый вечер цокает какая. Не знаешь ее? А вдруг это такая вот вся из себя цыпочка?

Гусев только вздохнул. От сиреновой он знал, что цыпочка эта – ровесница революции, что весит она около центнера, а на каблуки встает, чтобы избавиться от геморроя. Отчего-то она уверена, что это поможет. Говорит, старый дворянский метод. Даже если когда-то у Гусева был интерес к соседке сверху, он давно пропал.

– Вовчик, ведь ты же православный человек! – хлопнул себя по лбу Колян.

– В смысле? – не понял Гусев. – Я в церкви не был, как меня крестили в два года.

– Это неважно. У тебя архетип христианина. И комплексы. Ты подсознательно чувствуешь вину перед этим стариком. Поэтому ты его ненавидишь.

- Да он мне мерзок просто. Отвратителен. Никакой вины, боже упаси!
- Нет, смотри: у тебя есть все, ты молод, здоров, а у него – ничего, он нищий и собирает отбросы. Тебя совесть мучает.
- Ты большой, Колян: ничего меня не мучает. Таких же тьщи! Что, у меня за всех должна совесть болеть?
- А он рядом, как ты не допрешь! Ты его каждый день видишь, вот и мучаешься. Тебе надо ему что-нибудь подать. Типа милостыню. Ты вроде как ему ничего не станешь должен. И совесть твоя успокоится.
- Я и так ничего ему не должен!
- Это на подсознательном уровне.

После долгих споров решено было отдать деду старые гусевские летние ботинки. «Чтобы и не совсем отстой, но и не очень жалко», – сказал Колян. Сделать это необходимо было ненавязчиво, «а то он оскорбится, только хуже будет», но так, чтобы обязательно попали по адресу.

- Ну и давай ему по почте пошлем, – предложил Гусев.
- Ты что, опух? – удивился Колян. – Где ты видел, чтобы милостыню по почте слали?
- Ну, типа, гуманитарная помощь...
- Нет, надо, чтобы ты сам видел, как он их в руки возьмет, как примерит, какое у него лицо при этом станет. Тогда совесть твоя очистится.
- Решено было подкинуть ботинки в мусорку. И, чтобы это сделать незаметно, Колян присудил Гусеву ежедневную утреннюю пробежку.

Он должен был встать в шесть утра и бежать в парк, к метро. Старика еще нет. Гусев должен был делать по парку пару кругов и возвращаться назад. Старик уже будет на месте. Через неделю, когда старик привыкнет к нему, Гусев должен, выбегая, поставить обувь у мусорки, а возвращаясь, увидеть, как обрадуется находке дед.

Для Гусева, который был весь мягкий и округлый, бег всегда был испытанием. Он сам не понял, как согласился. Добега до парка, он уже чувствовал одышку. У ворот закуривал, делал медленным шагом круг по берегу пруда, выходил из парка и бежал назад. Расстояния до дома ему хватало, чтобы взмокнуть. Для деда иллюзия была полной.

Гусев понял, что пора выносить ботинки, когда одним утром дед не поднял головы на его приветствие.

На следующее утро Гусев вынес обувь и большой пакет с бутылками – стеклянными и пластиковыми – остатками их с Коляном вечеров. Он поставил ботинки на парапете у бака. Так, чтобы было ясно, что их выбросили, но чтобы и не в самую грязь.

Подбегая назад, он увидел ботинки нетронутыми. Дед доставал бутылки из пакета. Гусев удивился. Подумал, что он рано и старик еще подарок не нашел, и решил пробежаться вокруг дома.

Когда вернулся, старик разбирал бутылки по группам. Групп было три. Причем в каждую попали как стеклянные, так и пластиковые. К гусевским уже прибавилось изрядно других. Ботинки стояли на месте. Почувствовав раздражение, Гусев решил пробежаться еще.

Со второго раза не изменилось ничего: дед разбирал тару. Одну группу он уже упаковал в пакет. На ботинки не смотрел, читал, сощурившись, что написано на упаковке от сока. Гусев был зол и не остановился.

На третий раз он понял, что больше бежать не в силах. Затормозил в десяти шагах от мусорки, облокотился на березу. Тело тряслось от напряжения и злости. На ботинки стало уже плевать. Они сиротливо стояли на своем месте. Дед кормил булкой голубей, стоя к Гусеву спиной.

– Их сколько, все едут, едут и еще ведь больше приедут, – услышал Гусев. – Как медом им тут намазано. Ведь это ж надо смелость иметь: все дома бросить, где жил, – все бросить и в чужой город уехать. Это ведь было бы

зачем. Значит, есть зачем. Пива вона сколько, а толку мало. Бегают тут потом. Бегом от инфаркта.

Гусев даже перестал задыхаться. Он раньше и не думал, что дед вообще его замечает. Он ощупал в кармане зажигалку, но курить не хотелось. Старик бросил голубям горбушку, поднял пакет и заспешил к подъезду.

– Сторонник! – бушевал Гусев. – Интеллигенты хреновы! Элитный, блин, дом. Профессора, музыканты. Стукачи и сплетники! Я вас всех понял! Всех я вас раскусил. Аборигены. Коренные жители столицы. Да вымрете, как мамонты, и никому вы все не нужны! Пережитки. Старье.

Он зол был, как собака. Он взмок от бега. Долго тер себя в душе. Он опоздал на работу. Это будет отмечено на его пропуске, и из зарплаты вычтут двести рублей. Обидно не это. Обидно, что это первое его опоздание. И все из-за старика! Он ненавидел теперь и его, и весь дом.

«Съеду! – решил он твердо. – Это какой-то дом престарелых. Для молодого человека нездорово жить среди старья».

Он сообщил о своем решении Анне, и та расстроилась. Захотела узнать, что ему не понравилось. Сказать правду Гусев не мог, потому соврал, что неудобно ездить на работу, что нашел жилье поближе. Анна расстроилась совсем и попросила подождать, пока она найдет других жильцов. Гусев согласился легко, потому что сам еще не знал, где будет жить. Возвращаться к отцу ему не хотелось.

Они дали друг другу неделю срока, и за это время Гусев не сделал ни одного звонка в поисках жилья. Он продолжал по утрам бегать. Теперь ему это нравилось: в парке зацвели яблони по берегам пруда, это было бешено красиво. Он беседовал с сиреневой, здоровался со всеми соседями, помогал старушкам добираться до лифта. Ему стало вдруг легко и просто все это делать. Никакого неудобства, стыда или жалости. Потому что он постоянно помнил: он скоро отсюда съедет и оставит это царство навсегда.

А в конце недели Гусев проверил свой почтовый ящик и извлек оттуда вместе с горой листовок конверт на имя Кузнецова Сергея Артемьевича.

Вообще-то Гусев редко проверял здесь почту: ему никто не писал, а в газетах он не нуждался. Изредка чистил ящик от мусора. Письмо тоже хотел сначала выбросить, но узнал имя и остановился.

Это был фирменный конверт с пандой и знаком WWF России. Перед фамилией соседа стояло одно слово: *стороннику*.

«Стороннику», – повторил Гусев про себя и ухмыльнулся. Он почувствовал, что нашел недостающий элемент мозаики. Больше никаких неясностей, никаких раздражающих тайн: Кузнецов – сторонник «Гринписа». Только и всего.

Сердце колотилось, пока Гусев поднимался в лифте на свой этаж. Было сладко и томительно от предвкушения полной, неопровержимой победы. И это победа не над одним стариком. Для Гусева это была его личная победа над всем домом, над их старостью, над тем, что все они скрывали за собой, от чего он постоянно чувствовал себя приниженным, сжатым. Над тем, что было у них и чего у Гусева не было.

Он позвонил в квартиру сорок девять, улыбаясь во весь рот. Старик открыл не сразу, сначала разглядывал Гусева в глазок. Открыл с выражением досады на лице. «Мизантроп», – подумал Гусев умиrotворенно и протянул конверт.

– Добрый день. Я нашел в своем ящике это. Вероятно, по ошибке положили.

Он смотрел на старика в упор. Он хотел уничтожить его своей лучезарной улыбкой. Он ждал полной капитуляции, растерянности. Может, даже скандала.

Но увидел, как недоверие сменилось в глазах соседа радостью. Дед улыбался неожиданно наивной, смущенной улыбкой, трепетно взял конверт и сказал еле слышно: «Я за очками схожу».

Он ушел, оставив дверь открытой, и Гусев остался один на один с квартирой, которую так часто себе представлял.

Это была такая же, как у него, квартира, только со старой мебелью и советскими обоями на стенах. Такая же квартира, как у него до ремонта. Никакого хлама, мусора, только чистые бутылки из-под пива стояли у двери, под вешалкой. Коридор был просторен, а через открытую дверь Гусев видел комнату, почти пустую, без мебели, со старым телевизором «Рекорд» на треноге.

И еще множество деталей увидел Гусев, которые поразили его: огромное количество дешевых безделушек заполняли квартиру. На вешалке у двери висел шарф с эмблемой пива, на стене – часы с эмблемой йогурта. На телевизоре стояли термос с логотипом чая и кружка с названием марки кофе. Кепка с символикой известного сыра, расческа с названием шампуня, тарелка с крышкой, отмеченная производителем плавящихся сырков. Рядом с собой, на тумбочке, Гусев увидел только что распечатанную бандероль: старик получил дешевые китайские часы, уродливо-огромные, с названием минеральной воды. «Спасибо, что приняли участие в нашей акции», – прочел Гусев на торчавшей из-под часов бумаге.

«Господи!» – подумал Гусев. От чувства победы не осталось и следа. Он стоял пристыженный, как маленький мальчик. Как будто он сам притащил сюда все это. Как будто он сам заставил старика участвовать в акциях. Обманывал его, говоря, что это и есть предметы его, гусевского, мира. Модные и настоящие. Поздравлял с победой, присылая весь этот суррогат.

Сергей Артемьевич вышел из комнаты в очках, на ходу читая открытку, держа ее почти на вытянутых руках.

– Дошла ж таки, – говорил он нежно и, сдвинув очки на кончик носа, посмотрел на Гусева. – А я ждал, бояться уже начал, что не придет. Ведь триста рублей заплачено, а нет и нет. Они обычно на все праздники шлют. И еще газетки свои, календарики там и еще это. – Он показал треугольный флажок на стенке, униженный металлическими пандами. – А тут – нет и нет. Я каждый день ящик проверял, на почту ходил, может, потерялось где. У меня же двадцать пятого день рождения. Но вот ведь, прислали! Смотрите, что пишут: «Дорогой – слышите: дорогой! – Сергей Артемьевич, благодарим за ваш добровольный вклад в дело спасения дикой природы и поздравляем вас с праздником...» Вот ведь как!

Дед светился от радости. Гусев смотрел на него и силился улыбнуться. – Скажите, – спросил он вдруг, – а вам все это зачем? – Он обвел взглядом квартиру, но дед не понял.

– А, так ведь это в год всего триста рублей. Мне не жалко. В год. Зато регулярно: и открытки, и газетка, и календарики бесплатно. Глядишь, потом и еще что пришлют. Ведь по рекламе еще не всякий раз получишь. А я уж очень люблю посылки получать. Вы знаете, как назад с почты идешь, так сердце радуется! Все будто помнит о тебе кто-то.

Гусев кивнул, вышел спиной и закрыл за собой дверь. Отошел к своей квартире, вставил ключ в замок, но замер и посмотрел в подъездное окно.

На улице бушевала зелень. Там было солнечно. Гусев вспомнил вдруг, что скоро майские праздники. День Победы. Он представил, как выйдут все его старики, весь дом, с орденами на груди, как им будут дарить цветы незнакомые дети – праздничные школьники, первоклассницы с белыми здоровыми бантами, – и ему захотелось плакать. Он вынул ключ и вызвал лифт.

Спустившись на первый этаж, через окошко в дверце лифта он увидел, что подъезд открыт и у дверей стоит «скорая», а на лестнице столпились жильцы. Они стояли очень тихо, и лица были кроткие. Они смотрели на что-то, что было перед ними, на лестнице, над чем склонился белый санитар. Гусев понял, *что* там, и ему расхотелось выходить из лифта. Но один мужчина начал подниматься, Гусеву пришлось выйти.

Он пошел вниз, обещая себе, что смотреть не станет, и все же не сводил глаз. Он был уверен почему-то, что увидит на ступеньках ту самую крошечную бабулечку, которой ему так ни разу и не удалось помочь. Он боялся увидеть ее еще более сжавшейся, совсем маленькой и невесомой.

Но он прошел две ступеньки и увидел сиреневую шляпку, аккуратно положенную на пол. Даже вуалька поднята. Полная женщина сидела на лестнице, прислонившись к стене беспомощно, голова откинута неудобно. Рот приоткрыт. Губы синие. Бледное лицо, искаженное, Гусев не узнал без очков и вуальки. Даже подумал, что, может быть, это не та совсем женщина. Другая. Но он узнал мягкую белую шею, нежную, неестественно заломленную и сейчас совсем неживую.

Люди, стоявшие вокруг, были спокойны, почти равнодушны. Гусев узнал Катю. Она тоже не выглядела расстроенной. Но показалась Гусеву строже, чем до того.

– Уносить надо, – сказал санитар и поднялся.

Они встретились с Гусевым глазами, тот отвел взгляд и вышел из подъезда.

Гусев шел к парку как мог быстро. На улице было солнечно, пели птицы. В лицо дул прохладный ветерок. Было тепло.

Кажется, знобит, подумал Гусев.



Гай Валерий КАТУЛЛ

Все Венеры, все Грации...

Вопрос о том, зачем надо снова переводить того или иного поэта, в данном случае Катутлла, сродни вопросу, зачем снова идти в музей смотреть картину, если уже видел. То есть не хочешь – не надо. В случае стихотворения ответ, впрочем, яснее. Перевод предназначается для читателя, который оригинала не знает, это всегда репродукция, а репродукция по определению не бывает совершенной. Поэтому всегда есть место для более совершенного, потому что идентичности никогда не достигнуть.

У перевода есть и другая функция – он удостоверяет актуальность того или иного автора для литературного пространства чужого языка. Если взять в качестве примера, допустим, Альфреда Теннисона, можно с достаточной уверенностью установить, что в русской литературе он существовал очень эфемерно и в настоящее время практически мертв, хотя возможность воскресения теоретически не исключена. А вот о Катутлле можно утверждать обратное: несмотря на отделяющие его от нас два тысячелетия он сегодня жив как никогда, о чем свидетельствуют многочисленные опыты перевода последних десятилетий, как изданные, так и неизданные.

Параллельную жизнь автора в чужом языке нельзя рассматривать как достоверное свидетельство его истинной литературной ценности, по крайней мере для собственной литературы, здесь многое зависит от случайности. Тот факт, что Корней Чуковский заинтересовался в свое время Уолтом Уитменом, на какое-то время поднял у нас американского классика на гребень славы, но уже давно о нем практически ничего не слышно. Уитмен у нас уже как бы есть – зачем к нему возвращаться?

Судьба Катутлла по-русски складывается счастливее, хотя картина эпохи, в которую он жил и творил, в нашем восприятии искажается. Сейчас уже мало кто помнит, но до сравнительно недавнего времени Катутлл считался, пожалуй, самым маргинальным из латинских классиков. Образованный британский джентльмен XIX века знал наизусть Горация, мог процитировать Вергилия или Овидия – в оригинале, конечно, тогда в переводах нужды еще не было. А вот Катутлла, если кое-что и знал, то употреблял строго в мужском обществе. Потому что знал скорее всего непристойные стихи, которых у Катутлла немало. Впрочем, и в этом качестве ему предпочитали Марциала. В любом случае Катутлла считали крайне легкомысленным.

Когда знание древних языков стало приходиться в упадок, Катутлла, как и прочих, стали переводить, но, как и Марциала, в причесанном виде – неприличное либо опускали, либо превращали в приличное, отчего смысл стихотворения временами просто испарялся.

Но, когда античные поэты зажили новой жизнью в переводах, их иерархия стала постепенно видоизменяться. Пока латинский язык оставался повседневной речью культурного народа, недостижимое

первенство принадлежало Вергилию, для римлян он был эквивалентом Пушкина или даже Шекспира. Однако, оказавшись в литературе, стремительно терявшей вкус к эпической поэзии, он стал отходить на задний план. Это, впрочем, происходило и до переводов, где Вергилия уже и раньше теснил куда более пригодный для салонных досугов Овидий.

Катулл пришелся как нельзя кстати позднеромантическому времени преобладания коротких форм и непосредственности самовыражения. Каждая цивилизация и эпоха склонны возводить свои вкусы в абсолют, и для проникновения в Вергилия нужно воображение, которое нам, тем более в переводе, сегодня, как правило, не по силам. Я говорю это с состраданием к Вергилию, которого по-прежнему считаю одним из величайших поэтов всех времен, но за Катулла искренне рад – его время пришло, и, хотя его не декламируют по телевизору, он вышел на пик популярности, какой не имел со времен своей смерти. Он ведь вообще дошел до нас чудом, срок хранения лирики всегда был невелик.

В русской литературе Катулла повезло особо, хотя опять же за счет остальных античных поэтов. Никто не может сейчас сказать наверняка, как звучали греческий или латинский гекзаметр и пентаметр, но совершенно очевидно, что их русские эквиваленты тяжеловесны и по доброй воле, за пределами университета, за них мало кто возьмется. А вот размеры Катулла – логазды – звучат для нашего уха вполне живо и в сочетании с импонирующей современному читателю авторской лирической позой практически гарантируют успех переводу, если он сделан на совесть.

Тут меня могут упрекнуть, что я, судя по вышесказанному, перевожу именно Катулла только потому, что реального выбора, по сути, не остается. Но это, во-первых, неизбежно, потому что стихотворный перевод, подобно политике, – искусство возможного, и чем дальше отстоят языки и культуры, тем меньше этого возможного. Во-вторых, любовь, скажем, к Вергилию совершенно не подразумевает нелюбви к Катулла, хотя веками казалось, что это именно так. Я перевожу Катулла потому, что он мне нравится, и потому, что, по счастливому совпадению, это в какой-то степени осуществимо.

А если вернуться к теме многократных попыток, то можно вспомнить еще и Эверест – первый штурм почетен, но он не исключает возможности последующих. С поэзией дополнительная тонкость заключается в том, что реальная вершина у всех перед глазами, но ее не возьмет никто, потому что она – оригинал. Но всегда есть возможность прорваться хоть на метр выше. Это я говорю не из самонадеянности, а в надежде.

Алексей ЦВЕТКОВ

I

Кто в подарок получит эту книжку,
эту чудную, прямо из-под пемзы?
Ты, Корнелий, – ведь ты мой бездельник
полагал не лишенными достоинств
в те года, когда ты один меж римлян
в трех томах изложить дерзнул подробно
всю историю, бог тому свидетель.
Получай же в подарок эту книжку
без затей, да пошлет ей жизни больше
сотни лет покровительница дева.

II

Воробей – моей девочки забава,
с кем играет она, кого в подоле
усадив, иногда ему подставит
нежный пальчик и вздрогнет от укуса,
если милой моей взбредет в головку,
ненаглядной, найти себе потеху
или тяжелой печали утоление,
чтобы страсть не томила понапрасну.
Поиграть бы с тобой, как ей игралось,
и тревогу души своей развеять –
цель желаний моих, чем золотое
было яблоко девственной бегунье,
распустившее слишком тесный пояс.

III

Все Венеры, все Грации, скорбите,
И другие, кто к ним равнодушен.
Вечным сном опочил моей подружки
воробей, моей девочки забава.
Крепче ока она его любила,
был он нежен и льнул к своей хозяйке,
словно девочка к матери любимой,
от подола на шаг не удалялся:
только прыгнет туда-сюда бывало
и чирикает лишь одной хозяйке.
Нынче в мрачные он ступил пределы,
из которых навеки нет возврата.
Будьте прокляты, мерзостные тени
Орка, где красота навеки гибнет,
Воробья меня дивного лишая!
О, утрата! О бедная пичуга!
Ты виной, что грустна моя подружка
и глаза у нее на мокром месте.

V

Станем жить, моя Лесбия, с любовью,
за зловредные старцев пересуды
не давая ни ломаной полушки.
Пусть восходят светила и садятся,
нам же, только затмится свет недолгий,
спать под пологом бесконечной ночи.
Поцелуй меня тысячу и сотню
раз, и тысячу, и еще повторно
сто, и тысячу раз, и снова сотню,
а когда набежит без счета тысяч,
перепутаем все и позабудем,
и недобрый не сглазит соглядатай,
сосчитав, сколько раз мы целовались.

XI

Фурий и Валерий, Катутла свита,
хоть надумай в Индию он податься

дальнюю, где гулко о берег бьются
волны востока,
или в край гирканский, к арабам нежным,
к сакам или к парфянам луконосным,
или где разливом окрасил сушу
Нил семиустый,
или побрести по альпийским кручам,
монументы Цезаря озирая,
галльским Рейном к грозным и самым несусветным британцам –
раз уж вы, друзья, что бы ни сулило
небо, риск со мной разделить решили,
восточку подружке моей снесите
не из приятных.
Счастья ей среди блудодеев притких,
сотни три в объятья ей будет впору,
никого не любит, но иссушает
каждому лоно.
Больше пусть любви у меня не ищет,
что ее виной полегла, подобно
луговому цветку под равнодушным
лемехом плуга.

LI

Как по мне, бессмертному равен богу
или даже богу соперник смертный,
кто перед тобой, онемев, все время
видит и слышит
сладкий смех твой – мне, смятенному, тотчас
отнимает чувства, лишь мельком гляну
на тебя, о Лесбия, гибнет голос
в стиснутом горле.
Речь в параличе, легкое по членам
пробегаёт пламя, и призрак звука
поражает слух, затмевает очи
ночью кромешной.
В праздности, Катулл, для тебя погибель,
праздность твой восторг, лучше нет улады,
праздность бич царей и цветущий город
в прах повергает.

*Перевод с латинского
Алексея ЦВЕТКОВА*



Сигизмунд КРЖИЖАНОВСКИЙ

Две новеллы

Среди «киевских бумаг» Сигизмунда Кржижановского, о внезапной находке которых было рассказано при публикации новеллы «Красный снег» («Октябрь», 2006, № 1), я рассчитывал обнаружить как минимум еще одно сочинение, судьба коего давно меня интересовала. В записях-набросках середины двадцатых годов – строка: «Попугай-путешественник: сквозь всю страну» (Вторая Записная Тетрадь). Несколько лет спустя, уже в тридцатых, экзотическая птица появляется снова: «Почему попугай вытаскивает билетики счастья: потому что ему и счастье в лапы, потому что попугай – это оперенный повтор» (Третья Тетрадь).

Еще позже, в тридцать седьмом, написана миниатюра «Последний из атуров», включенная в цикл «Мал мала меньше». Полстранички. «Это не вымысел. Зачем выдумывать такое?»

Александр Гумбольдт точно сообщает, что стена гор Восточных Кордильер в конце XVIII века рухнула. Грохот ее падения слышало несколько деревень. И только.

Племя атуров, жившее за этой стеной, перестало общаться с миром. Их, атуров, никто не посещал, кроме чумы, которая переползла через горы и уничтожила всех до последнего. Кроме старого, с сединой в сине-зеленых перьях попугая. Племя атуров умерло и перестало говорить, а попугай в берестяной клетке все еще продолжал выкрикивать: «Утур-ратур-дзен-дзео-дзин!»

Попугая кормили мошки и мухи, залетающие в его берестяную клетку. Через год после гибели племени атуров по проложенной заново тропе спустился исследователь этих стран. Он нашел пустые дома, потухшие очаги и попугая, который кричал в своей клетке: «Утур-ратур-дзен-дзео-дзин!»

Это было последнее, что осталось от погибшего народа атуров».

Рискну утверждать, что тема пришла к автору из книги, читанной им чуть раньше. В очерке «Хорошее море» (одесские впечатления лета тридцать седьмого – с эпиграфом из «Контрабандистов» Багрицкого) упоминается «Сборник памяти Багрицкого», то есть вышедший в 1936 году под редакцией В. Нарбута альманах «Эдуард Багрицкий».

И вот цитата из мемуарного очерка Марка Тарловского «Багрицкий и животный мир»: «...С горящими глазами он мне читал выисканное им в немецком издании Брэма стихотворение про попугая, оставшегося единственным хранителем нескольких слов языка, на котором говорило одно дикое племя, вымершее вплоть до последнего своего представителя». То ли Багрицкий обмолвился, то ли мемуарист напутал, но «в немецком издании Брэма» такого стихотворения нет. Кржижановский перевел его в свою прозу не с «оригинала», но с беглого – вскользь – пересказа. Взял свое – где нашел...

Впрочем, к тому времени туманно задуманная в двадцатых новелла о попугае уже была написана. И озаглавлена: «Путешествие клетки». Три упомянутых мотива в нее вошли.

В РГАЛИ она обозначена как «незавершенное» произведение. Потому что машинопись обрывается на девятнадцатой странице – буквально на полуслове: черточкой переноса.

Рукописей у Кржижановского не было. Новеллы, повести, статьи, пьесы он не **писал**, а **диктовал**, сочинял «с голоса» (Мандельштам), что характерно для поэтов (а он и начинал как поэт), но среди прозаиков, драматургов, историков литературы и театра мне лично другой такой случай неизвестен. «Рукописями» Кржижановского, о которых упоминают мемуаристы, были машинописи с авторской правкой – или без оной, коли не требовалась. Так что «Путешествие клетки», вне сомнений, было завершено.

В киевском Архив-Музее текст новеллы тоже есть. Такой же, как в РГАЛИ. Единственное отличие – на другой машинке напечатан, иной междустрочный интервал, иное количество знаков в строке, вместо девятнадцати – двадцать четыре страницы, но оборван так же, только посреди страницы – и строки, из чего можно вывести, что перепечатывался текст уже после смерти автора.

О прочем остается гадать.

Во-первых, когда и каким образом отделилась и затерялась концовка – и сколько их было, пропавших страниц? Логично предположить, что обнаружилось сие, когда автора уже не было в живых, потому и не восстановлено утраченное; однако «логично» в подобных случаях вовсе не значит «верно».

Во-вторых, почему новелла эта не упоминается автором ни в одной из составленных им в разное время «автобиблиографий»?

В-третьих, по какой такой причине Анна Бовшек нигде не сказала о «Путешествии» ни слова, но... отдала его в перепечатку и увезла с собой в Одессу?

Всё это тем более странно, что и в таком виде, какой есть, это «Путешествие клетки» в пространстве времени и во времени пространства, на мой вкус, запросто выдерживает сравнение с лучшими вещами Кржижановского. А внезапно, случайно оборванная строка приводит на память знаменитые **обрыв-концовки** Лоренса Стерна.

Но с Кржижановским – обычное дело: ищешь ответ, а находишь только новые и новые вопросы...

Так нашлась в том же Архив-Музее новелла «Глазунья в пенсне», о которой прежде вообще не было известно – ни-че-го.

Хотя ее **мотив** – из самых протяженных и многообразно варьирующихся и в прозе Кржижановского, то бишь в **написанном**, и в Записных Тетрадах – в **ненаписанном**. То и дело проступает в **оппозициях**: близорукость (а он был близорук) – и очки (или пенсне, он смолоду был вынужден пользоваться «стеклистыми придатками» и, судя по дошедшим до нас фотографиям, носил именно пенсне), зрение внешнее – и внутреннее, очертания сна – и яви, мирозерцание – и мировоззрение...

Для которого из неродившихся персонажей был подсмотрен такой, например, усталый жест: «Он снял очки и положил их стеклами в страницу. Готические буквы за выгибами овалов умалились и скорчились. Стальные уски очков встали двумя вопросительными знаками (по перпендикуляру к строчкам)»?

Герой какой задуманной и неосуществленной новеллы бросил бы в философическом споре реплику: «Это мировоззрение не моих диоптрий»? Для чего могла понадобиться ему занесенная во Вторую Тетрадь французская идиома: *a la vue courte* – стричь зрение? (Понадобилась она, кстати говоря, много позже, в 1951 году, совсем другому писателю, Алексею Ремизову, чтобы озаглавить **написанный во Франции** мемуарный том: «Подстриженными глазами».)

Впрочем, **тема** эта ведет и вадит Кржижановского не только в прозе, но и в размышлениях о литературе и театре. И весьма похоже на то, что именно двойной эффект «стекла» (уменьшение/увеличение, четкость/

размытость – видимого/мыслимого) приводит его к выработке теории **экспериментального реализма** (см., например, «Страны, которых нет» или «Фрагменты о Шекспире»); не случайно, поясняя сей термин, Кржижановский ссылается на Свифта, который лишь однажды **уменьшает** или **увеличивает** рост своего героя; на мой взгляд, похоже и на то, что отсюда – из рано начавшегося **обдумывания** этого своего отличия от большинства окружающих – берет начало и **кинеметографичность** писательской манеры Кржижановского (сложившейся задолго до его работы в кино, в частности, над сценарием «Нового Гулливера» А. Птушко) – с резкими – и неизменно сюжетно-обоснованными – чередованиями общего и крупного планов, дальнозоркости (литоты) и близорукости (гиперболы); отсюда же – замыслы неосуществленных теоретических работ: «Литературный пейзаж» (общий план) и «История гиперболы» (крупный)...

«Глазунья в пенсне», в отличие от «Путешествия клетки», **оборвана** вполне осознанно, даже демонстративно, потому что главное осмыслено и сказано, продолжать легко, потому неинтересно...

Новелла не датирована, но в тексте ее – **подсказка**, позволяющая заполнить эту пустующую строку: упоминание «о бомбах, рушащихся на Лондон». 1940 год (к слову, «Путешествие клетки» начинается в канун Первой мировой войны). Свидетельства о том, что в последние десять лет жизни (т. е. с 1941-го по 1950-й годы) Кржижановский, кроме цикла очерков «Москва в первый год войны», ничего своего/художественного не писал, только – время от времени – статьи, переводы да несколько оперных либретто, сомнений не вызывают. А это значит, что перед нами – последняя новелла этого автора. Тем любопытней, что приведенная здесь, в концовке, цитата из «Гамлета» некогда, в двадцать четвертом, стала эпиграфом и дала заглавие повести «Странствующее “Странно”». Первой крупной вещи Кржижановского. Круг замкнулся. Дальше – тишина...

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

ПУТЕШЕСТВИЕ КЛЕТКИ

1

Это произошло в одну из сентябрьских дат 1913 года на станции Вержболово. Черета пассажиров, доставленных к границе австрийским шнельцугом, продвигалась, вслед за спинами носильщиков, через таможенный досмотр. Баулы, кожаные саки, отщелкнутые крышки чемоданов, короткое «сигары-табак-вино», «к доплате», «следующий», тюки вслед тюкам, – и вдруг кто-то запел «Марсельезу». Озабоченное цоканье шпор о асфальт, и все головы испуганно на звук: кто? Все рты закрыты, если не считать двух-трех приоткрытых удивлением. И все же «Марсельеза», запятанная непонятным образом под груды сдвинутых тюков и чемоданов, гортанная, резкая и на раскатистых «р», длилась, как ни в чем не бывало. Растащили тюки: на опроставшемся асфальте – круглая, из частых прутьев, клетка, в клетке попугай. Из клюва его с веселыми прикриками, взбираясь с такта на такт, песнь марсельцев.

Несколько улыбок, тотчас же спрятавшихся в воротники пальто. Толстый бритый господин, блеснув золотом пломб, вытолкнул вместе с сигарным дымом: «А у птицы неплохой прононс». Глаза жандармов искали собственника клетки. Но такой предпочел не отыскаться. К перрону, ударяя в тимпаны буферов, подошел русский поезд. Асфальт опустел. Птицу опечатали и отправили в камеру для хранения не подлежащих пропуску грузов.

Приемщик внимательно оглядел клетку и птицу. Круглое донце клетки, темное от времени, хранило на нижней своей стороне следы наклеек и клейм: очевидно, попугай долго странствовал, меняя отели и страны, прежде чем клетка его попала в клетку. Вид попугая, нахолившегося под его прутьями, подтверждал: да, и очень долго. Изогнутый клюв его брезгливо прятался в встопорщенный, сизеющей жесткой остью воротник, а под мутными пленками глаз, казалось, не счесть годов, отраженных в годах.

2

Один из таможенных чиновников заинтересовался птицей. Но птица не заинтересовалась чиновником. Он совал палец в толстом обручальном кольце меж прутьев, пробуя обратить на себя внимание попугая. Тот, чуть приоткрыв пленки, равнодушно косил глазом и отодвигался от пальца вдоль по жердочке.

Так как пленника полагалось кормить, то чиновник предложил перенести клетку из склада к себе на квартиру. Вероятно, им руководила смутная ассоциация: молодая жена, привезенная им недавно из Петербурга в приграничную глушь, была музыкантшей, и поскольку попугай обнаружил знакомство с творчеством Руже де Лиля, то... клетка водворилась в углу крохотной гостиной в трех шагах от пианино с гипсовым Бетховеном вверх черного лака и поставкой для нот.

Чиновник был с утра до вечера занят на службе. Жена, оставшаяся целыми днями одна, переигрывала свои старые нотные тетради, писала письма петербургским друзьям и слушала свистки поездов, проходящих мимо. К вечеру приходил муж и рассказывал служебные новости. Иногда он приводил сослуживцев. Сослуживцы сначала просили сыграть, потом, вежливо отулыбавшись, садились к ломберному столику, затем: «Сам Бог послал», – Бог неизменно посылал водку и холодные закуски. После ужина раскрасневшиеся гости окружали клетку с попугаем и, стуча ладонями о прутья, с ласковой настойчивостью повторяли: «Дерни «Марсельезу», попка. Теперь можно – свои люди. Ну-ка, попочка, ну – аллен занфан... ну пожалуйста».

Но птица, презрительно отвернув клюв, отвечала им молчанием или коротким злым сыком.

После этого гости, повздыхав и разменявшись парой служебных сплетен, желали спокойной ночи и расходились. Но, очевидно, у попугая было другое отношение к ночи. Однажды супругов разбудил высокий и острый свист. Муж, не стяхнув еще спросонок, вскочил, ударив пятками в пол, но жена удержала его за руку: «Тише!» В соседней комнате тонкою звуковой нитью тянулись начальные такты адажио бетховенской «Апассионаты».

Женщина, ступая босыми ногами, стараясь не вспугнуть адажио, подошла к двери, приоткрыла ее. За порогом сквозь темноту смутный контур клетки: птица пела негромко, будто для себя, точно соблюдая метр, грусть и синкопы мелодии.

На следующее утро, оставшись, как обычно, наедине с клеткой, женщина раскрыла ее и попробовала приласкать птицу. Попугай натопорщил крылья и укусил ее за палец.

3

Ветром войны снесло границы, потом намело с востока и с запада груды серого и синего, потом закружило в сине-серых водоворотках боев. Пограничным чиновникам, очутившимся без границ, пришлось спешно эвакуироваться. Но с востока все пути загромодило красными теплушками, а с запада небо рушилось канонадами. Было не до клеток и не до пианино – лишь бы себя унести. Попугай приоткрыл круглые бисерные глаза, когда рядом зазвучала немецкая речь и стал тянуть свои гнусавые тире полевой

телефон. Подошвы торопились в дверь и из двери. Никому не было дела до белого Бетховена, птицы и клавиатуры под спущенной крышкой. И попугай, уже начавший погружаться в привычную полудремоту, всего лишь раз или два был возбужден звонким топотом «Deutschland, Deutschland uber alles», бивнями бывшего клавиатуру. Стрекот пулеметов сначала удалялся к востоку, потом, казалось, стрекочущая их стая быстро летит вспять. Тире телефонов стали короче и чаще. Потом как оборвало. Тишь.

4

На плечах у штабс-капитана Копилки было тридцать семь лет жизни, восемь медных звездочек, жена и трое детей. Мирный путь к двум пустым погонным просветам был беспросветно длинен и тягуч. Барабан, отстукивающий дни, месяцы, годы, вычеты, карточные долги, «то да се» – как определял сам штабс-капитан Копилка. А тут, все-таки, знаете, либо покойник, либо полковник, да, полковник без всяческих аллегорий. Копилку увязали в сложные поперечины походных ремней и экспортировали на фронт. Жена, розовощекая и русоволосая женщина, стала получать аккуратно пронумерованные письма с войны, а в одно из тронутых заморозком октябрьских утр в дверях, вслед за звонком, появился весело склабящийся солдат: «От его высокородия». Из левого обшлага вынырнул очередной конверт с очередным номером, а под левой пястью качалась круглая клетка с сизо-пестрой птицей внутри: «Подарок деткам-с». Птице была устроена торжественная встреча. Дети – двое мальчишек, сами похожие на долгоногих голенастых встц, и тихая, с глазами, широко распахнутыми на мир, девочка – сначала потащили клетку на плиту с целью отогреть птицу, затем, на окрик матери, поставили гостя посредине детской и учинили веселый, в шесть пят, танец вокруг попугая. Тот, чуть приоткрыв глаз, произнес: «Halt». И чуть погодя: «Feuer!» Эффект был чрезвычайен, но дети, побежавшие за истолкованием к матери, не могли добиться от попугая повтора слов. Было решено, что пребывание у линии боев временно оглушило птицу, но что после она заговорит.

Попугай, прибывший оттуда, был предметом неустанных забот: его кормили сахаром и муравьиными яйцами. С ним говорили, как с другом, называли его самыми нежными именами. Но птица невежливо отворачивалась и молчала.

Замолчали отчего-то и письма. Один из номеров досадным образом застрял где-то в тысячеверстии. Затем вместо письма – телеграмма: в две строки. Сначала дрожащие пальцы распутывали перекрест сгибов бумаги, потом глаза раз – еще раз – и еще, потом крик на длинном и страшном «и»: «Убили!» И тотчас же в комнатах появились чужие люди. Дети испуганной стайкой забились в угол, и женщина, стуча зубами в росплеск стакана, повторяла тихо и монотонно, будто затверживая трудное иностранное слово: «Убили – убили»...

Неделя – еще неделя – месяц. Трава забвения любит, чтобы ее поливали слезами: это на пользу ее росту. Посторонние, посострадав, сострадали уже где-то в других местах (во время войн спрос на сострадание превышает предложение), но один из посторонних стал – так оно всегда как-то выходит – из постороннего делаться близким. Главное его преимущество перед Копилкой было не в том, что усы его были рыжее и жестче, а в том, что он не был трупом.

Так или иначе, отчего не пойти иногда вдвоем в кино, а в двух шагах сбегающие вниз ступеньки кавказского погребка; в погребке глухие клетки кабинетов. На стене в столовой переменили отрывной календарь; модистка, призванная на совещание, нашла, что к русым волосам лучше всего белый цвет. Приготовления к свадьбе были не долгими, не хлопотными: ничего не достать – дурацкая война – дороговизна. О попугае совсем забыли. Немного – и о детях. Впрочем, к торжественному дню под подбородками у них заголублили шелковые банты. И еще одно впрочем: торжествен-

ность была доведена до минимума, как приличествует. Старенький отец Иоаким, приглашенный «откушать» вместе с несколькими гостями, приоткрыл губами к рюмке, подмигнул синим веком и хотел уж сказать «горько», когда в соседней комнате вдруг истошно и пронзительно закричали. «Убили! – убили!» – надсадно заливался высокий гортанный голос. Гости, не понимая, приподымались из-за стола, вопросительно оглядывая хозяев. Невеста была под цвет своему платью. Прежде всего – убрать птицу. Клетку унесли в угловую комнату, затем в кухню, за три пары запертых дверей. Но попугай продолжал упрямо и безутешно: «Убили!»

«Убили» замотали в простыню и прикрыли подушкой, но оно, хоть и глухо, с бульканьем и клекотом, нудной и тонкой нотой, сквозь стены и двери вклеивалось в праздник. И опять, как в то, вместе с старым календарем выброшенное утро, стакан стучал о сведенные спазмой зубы, жених и гости растерянно сутились вокруг припадка, дети сидели носами в банты, а отец Иоаким, глядя левою ладонью их головы, вскидывал широкий и черный, как крыло, правый рукав, крестя три крохотных сморщенных болью лба.

Новый хозяин не любил попугая. Детям было запрещено играть с перстоперой птицей. Клетку перенесли из детской на кухню, где она и висела рядом с засиженным мухами сине-желто-зелено-красным изображением адских мук, ожидающих грешных и нераскаянных. Колорит лубка и оперение птицы как-то странно подходили друг к другу. От плиты шло тепло и сквозисто-сизый пар. Попугай, цепко обхватив кольчатыми лапками поперечину, топырил крылья и чистил их кривым клювом. Может быть, горсть калорий, брошенных зимней печкой, напоминала ему о тех давних теплых странах, где море и небо стараются пересинеть друг друга, где дремлют ленивые пальмы, макая многопальчатые зеленые ладони листов в влажные леты муссонов, – и казалось, птица замышляет возврат.

На кухне иногда собирались кухарки и горничные из соседних квартир. Тут обсуждались романы черной лестницы, пересуживались новости десятка гостиных и спален. Иногда вспоминали и о безмолвном слушателе их калеканий, попугае. Пододвигая табуретом к табурету, кухарка Анфимия рассказывала, как «новый барин», подобравшись раз к клетке, когда никого не было, тыкал в попку вилкой. «Ну а тот как заверещит, я из коридора раз – и тут. Ейный вилку и вырони. Сама видела: ох, изведет он птицу».

И вскоре, по нашепту ли кухарки, по желанию ли «нового барина», птица вместе с клеткой была подарена отцу Иоакиму, большому любителю всякого рода раритетов.

5

Низкий потолок. Беленые стены. Тесно прижавшиеся друг к другу иконы в углу. Клетка повисла над подоконником, заселенным иглистыми ластами и вспучинами кактусов. Хозяин знакомил их с посетителями так: «Вот – семейка уродов-с».

Впрочем, случалось это чрезвычайно редко, так как старый священник жил одиноко, и почти никто не беспокоил его в тихом и убогом обиталище. Требы и служба постепенно отошли к молодому заместителю, отец же Иоаким редко заходил дальше края половицы своей комнатки. Половица под нажимом пят скрипела. Отец Иоаким был терпеливее. Когда его спрашивали: «Что это вы, батюшка, горбатиться стали?» «Смерти кланяюсь», – отвечал он, оглаживая изжелта-белую бороду. На планке полки, вровень с клеткой, аккуратно, корешок к корешку, два-три десятка книг: «Русский паломник» – «Хождение в Св. Землю Афанасия Никитина» – «Лифостротон сиречь камень веры» – «Перелетные птицы» Кайгородова – «Записки об ужении рыбы» – «Плачевное книгам целование» Стефана Яворского.

Жизнь была тихой и однообразной. Днем сквозь раскрытое окно всплески меди на колокольне, визгливые голоса старух у паперти, редкий стук колеса о булыжники. По вечерам, когда ревматизм не давал отцу Иоакиму уснуть, он прогуливал его вдоль скрипучей половицы и иногда заговаривал с попугаем. Он рассказывал о семи Вселенских соборах, о троествольном древе Адамовом, о пустынниках Фиваиды, процветших язвах Францисковых и чудесах Печерского Патерика; о птице, в Страстной Пятток свисающей головой вниз с ветки, пластая крылья, об огне, незримо нисходящем в ночь Воскресения на лампы Иерусалимского храма, и опять о соборах, древе троеветвном, еще и еще.

Попугай безразлично круглил глаза и чистил клюв о стержни клетки.

Секунды каплями в минуты, минуты струйками в часы, часы ручьем в дни, притоки дней в русло годов. Сначала попугая кормили конопляным семенем из конусовидных пакетиков, потом в чашечке у него размокало пшено, потом под клюв ему, и то редко, подставлялась углистая хлебная корка. Попугай, отклевав, брезгливо отворачивался и всушливался в сон. Колокола, уютившиеся в соседней колокольной клетке, отзванивавшие привычные часы, уже не будили птицу. Но однажды где-то далеко, за городом, ударили в какой-то непривычный глухой, но гулкий колокол. Попугай приоткрыл пленки и наклонил голову. Казалось, он что-то припомнил. Отец Иоаким крестился и прикрывал ставни. Улицы сначала шумели укатывающими колесами. Потом все смолкло: пришли они. И после короткой череды дней – опять гулкий колокол издалека, и «они» стали говорить: идут они. Слово, прячущееся под всеми стенами, пробирающееся за все двери, навещало иногда вместе с десятком-другим ртов, приходивших отшептаться в чем-то отцу Иоакиму в его обнищалую келью. Даже попугай, вглядываясь в ставень, перегородивший ему свет, однажды произнес, ворошась над пустой чашечкой: «Они».

Однажды беленую комнатку посетили двое приезжих крестьян из дальнего села Никоновки. Открестясь и отохав, они просили уважить и принять приход; священник, объясняли просители, покинул их, заместителя не шлют, времена путаные и трудные, а церковь стоит беззвонно, и слушать некому.

Отец Иоаким обещал. И вскоре зеленый вагон с битыми стеклами вез котомку, священника и круглую клетку. Впрочем, не столько вез, сколько стоял: стоял на узловых и неуловых, больших и малых, станциях и полустанках, платформах и постах, а то так посреди поля, неизвестно зачем. В беззащитные окна било ветром, и ревматизм беспокойно ворочался в суставах отца Иоакима. Но нельзя было ни расправить ног, ни прилечь под теплое. Отовсюду тела, вдавленные в тела, в ноздрах едкая махорка, в ушах брань, чавканье и храп. «Когда же Никоновка?» – спрашивал отец Иоаким. Одни отвечали «скоро», другие – «далече», иные ж отворачивались, вовсе не отвечая. То скрипели натруженные оси, то ударяли сталью в сталь тормоза. При первой же пересадке людским стиском два стержня клетки вдавились внутрь, сделав ее чуть теснее. Попугай, которого отец Иоаким защищал от холода рогожей, наверху на клетку, иногда цокал клювом в прутья, очевидно, напоминая: есть.

Это было время заблудившихся поездов, алогических маршрутов, когда колеса, вращаясь, как земля, проделывали эпициклы на линии ее орбиты... Задача о точке отправления и точке назначения стала неразрешимее неразрешимой математической проблемы о двух точках. Север превращался в юг, и солнце падало в восток. И вскоре отец Иоаким, запутавшись среди пересадок, бессонниц, запасных путей, локомотивов, впрягающихся то в голову, то в хвост состава, не понимал, где он, куда его везут, где Никоновка и где город. К концу четвертого четырехчасия он очутился меж двух поездов: ушедшего и непришедшего. Вдоль перрона в гудах: люди и мешки. Старик положил котомку, сел поверх, запахнул поплотнее в рясу и,

прижавшись виском к клетке, сквозь дрему – в сон. В проводах пел зимний ветер, потом падал сухой колючий снег. Но спящий запахивался все глубже и глубже в сон. Загрохотало вдоль перрона, топали ноги и лязгали друг о друга чайники. Опыты, произведенные психологом Мори, дают возможность допустить, что удары жестью в жезл, проникающие в спящий мозг, легко могут превратиться в пасхальный благовест или... Но короткий клевок сквозь рогожу заставил отца Иоакима вскочить и раскрыть глаза. У платформы стоял воинский поезд. Из красных коробов галдело и орало песни серое сукно. Отец Иоаким с трудом приподнял свой пожиток, сознание не растушеввалось, вслед за преодоленным сном надвигался, пеленя глаза, другой, непреодолимый и беспробудный. И он пошел, точно сослепу, вдоль раздвинутых шарнирами дыр, повторяя у каждой: «Никоновка-Никоновка». Резкий хлип гармошки из первой дыры перегородил дорогу даже голосу; из второй загоготали и напутствовали: «Лезь, ряса, в свою клетку и лети»; из третьей плеснули холодным чаем: «Кыш!» И тут вдруг из-под рогожи, из-под левой руки просителя вдруг дробной гортанной россыпью заклокотала матерщина; случайный брызг воды разбудил вдруг сложнейшие зигзаги словохульства; взбираясь из хрипов в свисты, птица частила и частила металлическими переливами, забираясь в распропере так и так. Отец Иоаким в испуге выронил клетку. Но навстречу из распахнутой двери прыгало, восхищенно осклабя рты, содержимое теплушки:

– Ай да птаха!

– Наддай, попка, х-хы.

– Чеши без перечесу.

– Ну и поп: под рясой тихо, а под рогожей лихо.

– Братье, тащи попа за полы, да и с попкой вместе. Закатим в закатаевы страны.

И через пять минут теплушки покатали дальше. В одной из них под кожухом лежал отец Иоаким, а клетка, пододвинутая к печке, показывала блеску красных углей кривоклювую пеструю птицу, брюзгливо копошащуюся на своем тонком шестке.

Сначала в теплушке было шумно и весело. Потом сорок пар пяток повернулись плашмя к огню, и был слышен лишь стук стыков и трение ветра о стенки. У печки, глазами в озоленные угли, раскачивался в такт бегу колес и секунд дневальный. Ночь вместе с ветром проносилась мимо. Сквозь приподнятую у потолка заслонку можно было видеть постепенно синеющий воздух. Внезапно вагон – буферами на буфера – и стал. Толчок и тишина заставили дневального приподняться и, откатив дверь, высунуться ушами и глазами наружу. По путям двигался фонарь. Подождав, когда огонь будет ближе, дневальный крикнул: «Какая станция?» «Никоновка», – отвечали из подсветия, и фонарь продолжал плыть дальше.

Дневальный, отшагнув внутрь, наклонился над кожухом:

– Вставай, батя, Никоновка.

Под кожухом было тихо.

Дневальный запустил пятерню под овчину и нащупал костлявое и холодное плечо.

– Никоновка. Твоя остановка. Чуешь?

Несколько пяток, зябко зашевелившись, подобрались под сукно: «Кто там захолаживает? Дверь, закрой дверь». И чей-то сиплый голос с верхних нар:

– Ну, что там?

– Товарищ взводный, – распрямился дневальный, – позвольте доложить, что во время моего дежурства помер поп.

Через четверть часа труп был сдан коменданту станции Никоновка. Фонарь махнул сквозь серый воздух. Тихий лязг пробежал от буферов к буферам. Клетка длила путь.

6

Перегон за перегоном приближали поезд к боевой зоне. Из снежного поля, то там, то здесь торчали обугленные остовы мертвых деревьев. Паровоз шел без огней и не давая свистков. Песни внутри красных коробов оборвались. Люди бодрствовали и спали, не снимая снаряжения.

Затем вдруг, в предзакатный час, когда небо горело, как подожженное, откуда-то из-за поворота пути, с трехсот шагов частый щекот пулеметов в пересыпь с ружейным огнем. И тотчас же по колесам пулевой цок.

Паровоз, злобно взыв, лягнул состав, пробуя назад, но сзади перегораживающий залп, а в телефонную трубку, переброшенную через тендер, короткое: стоп. Шарниры теплушек разомкнули доски, люди быстро высыпались в цепь. Надо было торопиться навстречу смерти. Клетка, стоявшая среди сутолоки сорока пар ног, попав под толчки, пододвинулась к краю, еще толчок – легла на круглый бок; случайно задевший по прутьям приклад – и, перевернувшись с прутьев на прутья, клетка, вскрикнув высоким птичьим голосом, ударилась о снежный наст и покатила по пологой насыпи вниз. Ей предстояла пересадка.

7

Железнодорожный сторож, тыча палкой в шпалы, обходил свой участок. Шагая вдоль насыпи, он вдруг услышал откуда-то снизу гортанное: «Взвод, пли!»

Сторож, точно подсеченный рефлексом, припал к земле и замер. Но поле молчало. Притом через секунду он сообразил, что залпунеоткуда и быть – со стороны пути была снежная безлюдная плоскость. Сторож, приподнявшись на коленях, заглянул за края насыпи. В двух-трех саженьях от него, зацепившись на полускате за безлистный куст, лежал какой-то странный предмет, напомнивший ему сначала вершу, потом клетку. Недоумевая, сторож встал с колен и через минуту разглядывал диковинный зелено-сизо-пестрый комок, который, топорща под обмерзлыми прутьями свои жесткие крылья, продолжал зудящим и присвистным звуком: «Взводд, пли, пли, пли, взз...».

Сторож с опасливой улыбкой приподнял клетку, потом прикрыл ее полый полужубка от ветра, и вскоре лед на прутьях, размерзаясь в теплой сторожке, закапал дробными слезливыми каплями на глиняный пол.

Прошло еще несколько месяцев. Пули, долгое время заселявшие воздух, опростали его под дыхание. Жизнь, а следовательно, и поезда, вновь вошла в расписания. Мимо нумерованной сторожки размеренно вращалось время, отсвистывая predeterminedенные часы и минуты локомотивными свистками. Рядом с сине-зелено-красной птицей торчали из кожаных гнезд зеленый и красный флаги. Попугай научился имитировать свист пара в железную щель, и однажды, когда, вследствие заносов, почтовый запоздал, птица укоризненно просвистала высокую и резкую ноту, как бы напоминая о нарушенных минутах. Сторож только головой покрутил: «Хоть в начальники дистанции – с клеткой вместо кабинета».

Все было ясно и ясноло от дня к дню, кроме мутной жидкости в неиссыхающей бутылки, бывшей третьим обитателем сторожки. Муть, переливаясь из стекла в человека, кричала из него причетами и руганью, кружила стены вокруг глаз, бросала голову в ладони и на доски стола.

– Пойми ты, птицын сын... – начиналась каждовечерняя, словами по сивухе плывущая исповедь – и дальше тянулась про то, что учили не азом, а вязом и что чуть вырос повыше порога, ушел из дому в науку к дорогам, бродяжил, мир вразгляд брал: вместо крестов перекрестки, а вместо...

Попугай, пряча голову в встопорщенный сизый воротник, слушал с видом консультанта, который, сидя перед клиентом, путано и многоречи-

во излагающим свой казус, всматривается в следующих, чьи рассказы, такие же смутные и бессильные, терпеливо ждут очереди.

Бутыл, присосавшаяся к скудным доходам сторожа, вобрал в себя жалование, требовая сверх. Сторож сначала просамогонил запасные сапоги, потом казенную «дежурку» на медных пуговицах, а там пришло время и для клетки: выменянная на сотню глотков жгучей бурды, она переселилась в одну из изб неказистой деревеньки, поднявшей в небо десятка три сиренево-серых дымов.

8

Клетка стояла в углу полавочья; снизу, с убитого земляного пола выпивала деревянное брюхо бадьа; из щелей ее тянуло прокисью; из-за дебелой белой печи цвиркал сверчок; это был необразованный деревенский сверчок, он не знал, что на свете бывают Диккенсы, и пел лишь про то, что, чем жарче угли, тем шире щель, но, чем шире щель, тем холоднее она.

Изба, как и все избы-соседки, жила узколобой, медлительной и трудной, как лесная дорога, жизнью. Под низкую притолоку вместе с грязью, налипающей на подошвы, захаживали слова, тугие и вязкие, как сырая глина. Иногда на столе, рядом с качаемым дыханием пиковым тузом, заострившимся огоньком квадратилась газета, и монотонный надсадный голос тянул из нее, выгибая словам суставы, медлительные строки. Вокруг, наклонив уши и смятые морщинами лбы к слогам, молчали слушатели. И клетка тоже не подавала голоса.

Прошло несколько недель, и она, подвязанная веревкой к мешкам с картофелью и клохчущему букету из куриц, сцепленных лапками, как стеблями, в один пук, качалась в телеге вдоль дорожной колеи, ведущей в город, на ярмарку.

И снова сквозь прутья клетки протискивались шумы и пестроты многолюдия: бродящее меж телег «почем», яркие бабьи платки, зазывы и нахвалы продавцов, шуршание сена в замундштученных лошадиных ртах, истощное «держи вора!», медный пересчет с дряхлой колоколенки.

Вскоре ярмарка, скрипя осями, разъехалась, оставив на Маркса и Энгельса, бывшей Соборной площади, лишь следы ободьев, битые черепки, хлопья сена и экскременты цвета танго.

И еще: за дверью чайной, распахнутой на опустелую площадь, рядом с вздернутыми носами чайников, выставившимися с полок, изогнутый серпом вниз клюв попугая. Дребезг посуды на прилавке – лузг слов и семечек – пар, сдуваемый раструбами ртов, – поликаляканье – жужжание жирных мух.

Но молчание птицы было мало развлекательно. И крестьянин, сбывший клетку, завернув в следующий ярмарочный день в чайную, не увидел уже ни клетки, ни попугая.

Зато на одной из приволжских пристаней скачающие пассажиры, ждущие паровозного гудка, смыкали теперь круг у деревянного ящика с судьбами, отдающимися за пятак. Привлекали их не столько судьбы, сколько линиялая птица на крышке ящика: она сидела, устало сутуля крылья, с видом не верующего в Бога продавца индальгенций; и когда хозяин ящика толкал птицу, торопя с вручением билетика, попугай – под общий смех – вскрикивал: «Кипяточку погорячее, кипят...»

9

Некогда Глеб Борисович Борисоглебский занимал квартиру в одиннадцать покоев; затем он жил в шести просторных комнатах; потом квартировал в двух комнатах с кухней; затем ютился в одной комнатухе с одним примусом; теперь он досуществовывал свое существование в отгороженной щелевками полукомнатенке, куда даже солнце, за отсутствием окна, не знало, как войти. Начиная с полукомнаты, все у Глеба Борисовича Бо-

рисоглебского как-то полу: сам он на вопрос о возрасте, указав на путаницу седых и черных нитей над лбом, лукаво отвечает: «Если поставить на волосование-с, одни – за, другие – против, – извольте подсчитать, и по большинству волос, ха»... Глеб Борисович не худ и не полон, не близорук и не дальнзорок, не умен, но и не неумен; по вечерам, запершись в своей полуконате, он полупьет: рюмка с нацеженной не доплна водкой и аккуратные ломтики хлеба, бродящие от стекла ко рту и обратно под монотонное – сквозь обсос – бормотание: «Борись и глебь, Глеб Брсч...»

Глеб Борисович Борисоглебский – внимательный посетитель аукционов, гумовских распродаж, весенних и книжных рынков и рынков вообще. С лицом человека, слушающего симфонию, следит он за ныряющим в толпу вензелеванным хрусталем, за скольжением по рублям вверх застекленных ню, чулок и флаконов с заграничными пломбами и за старинным, с потертыми поручнями креслом, которое, взгромоздившись на аукционный помост, некупленное и сконфуженное, пятится, подгибая гнутые ноги. Но и здесь Глеб Борисович приценивается, но не торгуется, а если торгуется, то не покупает. Иной раз, остановившись у книжного ларя, он долго листает книгу, постепенно погружаясь в чашу строк, но, дочитав до цены, аккуратно кладет ее на место и отходит прочь.

Так началось и в этот день. Под желтое праздничное солнце из подворотен на рыночную площадь густо поползла бывшая вещь: козетки в лысеющем плюше на рахитических бамбуковых выгибах; печальные иконы под темным загаром древней олифы; прячущиеся под переплет и за стертые застежки молитвы; молью траченные ткани; гравюры с полями, тронутыми желтизной; желчью времени пропитанные, сонно слипающиеся страницы ветхих книг; и, наконец, в узком переулке, вытягивающемся из площади, как река из озера, поверх обулыженных волн – всякого рода дробная разбродь: финифтеная рюмка с отбитой ступней, шестирукий канделябр, потерявший пару, резная в золоте рама, охватывающая четырехугольную пустоту, настенный бисером шитый тифелек, подчулочный гриб, изоспенный иглами, распяленный рот граммофона, страдающего горловой чахоткой, альбом с расхлябанными картонными прорезями, которые, прежде чем опустеть, дали протиснуться сквозь себя несчетным уплотнениям трех поколений.

Глеб Борисович – как обычно – неспешным шагом шел меж разостланных брезентов и рогожи, оглядывая пестрый невольничий рынок вещей. Он тронул стеклянные подвески люстры, казалось, рухнувшей с невидимого потолка вниз, к ногам обозревателей. И тотчас же из граней подвеса брызнул семицветьем спектр; наклонясь над гравюрой «Смерть Эпаминонда», внимательно оглядел копые, торчащее из серой раны, и даже спросил «сколько?», постоял у свесивших ржавый маятник часов, подумал «бестиканность», скривил улыбкой ус и вошел в перекрытый тенями домов переулоч.

Сквозь прислонившуюся к тумбе золоченую раму нелепым натюрмортом чернели остановившиеся калоши и конец трости какого-то прохожего. И тут – сквозь шелестящий кашель граммофонной трубы – кланчущим звуком прогнусило:

– Купи, дяденька, попоньку.

Звук был откуда-то из-под локтя. Глеб Борисович отвел руку и увидел – на высоте кармана своего пальто – задранный вверх каракатичий рот с надвинутым на верхнюю губу козырищем.

– Купдяпоп... – тянул мальчуган, держа всей десятерней кривоклювую и пестроперую птицу.

Глеб Борисович тронул попугаю желто-зеленый хохол:

– Сколько?

– Треху.

– Ого! – и, отдернув карман от беспризорника, Глеб Борисович двинулся дальше. Он уже успел, свернув за угол, оставить за спиной рынок,

как вдруг услышал дробный топот догоняющих шагов. Он обернулся – мальчишка с попугаем бежал вслед, вскрикивая из-под козырька:

– Рупь! Рупь!

Это было, конечно, недорого. Но к чему? И, чтоб верней отвязаться, он бросил назад:

– Полтина.

Но, прежде чем Глеб Борисович успел воспользоваться преимуществом длинных шагов, его нагнало:

– На.

Затем два пятиалтынных и двугривенный спрыгнули с ладони, а на подставленном пальце закачались два крыла и растопыренный хвост. Глеб Борисович с некоторым недоумением заглядывал птице под пленки. Зачем? Кто-то из проходивших мимо громко рассмеялся. Мальчишка-продавец – точно его ветром свеяло. Глеб Борисович, рассердившись, тряхнул пальцем и сказал: «Кш!» Но цепкий затиск не выпускал пальца, и птица, качнувшись, даже не раскрыла глаза. «Ишь», – подумал Глеб Борисович Борисоглебский и понес на вытянутой руке нечаянную покупку домой.

Достаточно было снять шесть номеров «Печать и Революция» с полки, что над столом, вдвинуть на их место консервный ящик с песком до краев – и попугай получил свой угол; после этого оставалось – одним кольцом за чешуйчатую лапку, другим за гвоздь, и с водворением экзотического вселенца как будто б кончено.

Глеб Борисович выскользнул руками из пиджака, расшнуровал штиблеты и лег отдохнуть, вщуриваясь сонными глазами в пестрое пятно на фоне книжных переплетов. Казалось, оперение птицы придавало двадцатисвечью, ввинченному в потолок, яркость и игру. «Что ж, пусть», – подумал он...

За стеной, прижатой к затылку, шуршала швейная машинка. За стеной, пододвинувшейся к макушке, чей-то упрямый палец блуждал по битым клавишам где-то в окрестностях «Интернационала». Белая навесь потолка вздрагивала под топочущими каблучками. За закрытыми веками поплыли пестрые пятна: «А вдруг он со словами?» – протянулось сквозь засыпающий мозг. Жужжание машинки за затылком смолкло: должно быть, оборвалась нить. Мозг, расцепив нейроны, спал.

Звук возник из ничто и из никогда, извиваясь длинным «и-и-и» и из «и» в «ли» и вниз в «или», и из-за «или» – «били» – «были» – «убили» – «и»...

Мозг, взигленный звуком, стиснул нейроны и, дернув за нейрошнур, распахнул веки: и в комнате, и вокруг нее все было сонно и немо; только глазные пленки попугая были подняты и клюв его слегка шевелился, изгибаясь крутой запятой из невидимого текста.

Глеб Борисович нащупал пятками штиблеты, поскреб в макушке, встал, пошарил по столу, звякнул стеклом, и через минуту насосавшийся спиртом хлебный мякиш пополз, роняя капли, от рюмки ко рту: «Борись и глебь, Глеб Брсч, брось гльбу, Глеб, глебь и брось, брысь»... Мякиш за мякишем, и глаза затягивало попугаевой пленкой, а сквозь мозг тянулось нудное длинное: «и-и-и»...

Наутро Глеб Борисович Борисоглебский, как обычно, встал, разбуженный обычными же шумами. На кухне гудели примусы; в уборной то и дело рушилась с коротким всхлипом вода.

За стеной справа перерывающиеся голоса: «Не моя очередь идти в очередь» («Опять эти Никудыкины, терка о терку, черт бы их драл», – прощально зажмурился Глеб Борисович); снизу, со двора – приглушенный сигнал автомобиля – это для молчаливой стены слева, за которой выдвигенец с билетом.

Борисоглебский собрал на ладонь хлебные крошки от вчерашнего и положил попугаю под клюв; тот сидел рядом с пятым томом Ключевского, дергая круглым глазом и беспокойно вороша песок длиннопальцами, в желтой чешуе, ногами.

Висячий замок прикусил дужку, и тов. Борисоглебский, вихляя портфелем из-под локтя, отсчитал подошвами сорок три ступеньки. Машина у подъезда, швырнув в него грязью и бензином перегаром, укатила человека из-за левой стены. Глеб Борисович хотел было рукавом по разбрызганной грязи, но тов. Борисоглебскому было все равно, и они, то есть он поплелся, или нет, поплелись вместе с днем, плетущимся от рассвета к закату, привычной дорогой.

«До четырех часов и тридцати минут я сочувствую советской власти, – любит острить Глеб Борисович в минуты конфиденции, – отчего же, не в четыре тридцать одну минуту, хе...», – и конфиденцы подхватывают «хе» отзывчивым «ха-ха» или дальновидным «хм». Было четверть шестого, когда Глеб Борисович, проделав в обратном порядке сорокатрехступенную гамму, переступил порог квартиры. Еще раньше чем открыть наружную дверь, он услышал какой-то высокий, на одной ноте натяженный звук. Недоумевая, он вшагнул в темную прихожую – звук, не рвущийся, с гортанным призывом, длился. Из прихожей в коридор, что к его двери, и вдруг закоченел: дверь в его комнату была распахнута, и семь или восемь спин, тесно сплотившихся, перегораживали дорогу. «Обыск – арест – конец, – скользнуло мышью сквозь мозг. – Бежать или...», – вероятно, никто б и не заметил бегства, так как все лица и внимание были повернуты внутрь взломанной комнаты, навстречу гортанному звуку, тянувшемуся из-за ее порога, но именно эта ровно звучащая нить, постепенно членящаяся в растуманивающимся сознании на слова и слоги, перехватила меж нервом и мускулом отдергивающий рефлекс. Голос попугая – Борисоглебский ясно различал лишь птичий присвист и цоканье в паутиной вытягивающемся звуке, монотонно артикулирующем ...<...>

ГЛАЗУНЬЯ В ПЕНСНЭ

Близорукость отвратительна. Когда я протираю носовым платком две стеклянных ямы в моем пенснэ, я всегда испытываю чувство полустыда. Любопытно, что в народе близоруким называют мужчину, дающего волю рукам, поближе к себе притягивающим бабу. Противно.

Разговор о пенснэ начался вчера утром. Мне подали сковородку с двуглазой яичницей. Два круглых желтых глаза на круглом и белом, как циферблат, лице. Я в это время перелистывал газетный лист, читая о бомбах, рушащихся на Лондон. Внезапно буквы стали большими и дымными, быстро теряя ясность контура. Я понял, что неловким движением зацепил за край пенснэ, и оно – как плохой ездок – выронило седловину носа и упало куда-то вниз. На полу его не было. На столе тоже. Только когда я ткнул вилкой в яичницу, что-то стеклито пискнуло под одним из трех зубов вилки, и я увидел: яичницу в пенснэ. Два стеклянных эллипса прижались к огромным, выпученным, лишенным зрачков желтым глазам и смотрели на меня снизу вверх. Это было начало. Перехожу к концу.

День был суматошный. Я вернулся домой во втором часу. Лунный свет блестел на металлической крышке чернильницы и мерцал на остриях перьев, выставленных из круглого жерла деревянной коробочки, точно щетина крохотных штыков.

Я быстро разделся, не зажигая света. Бросил на стол портфель. Затем, сняв пенснэ, положил его в футляр, придвинул к портфелю и укрылся одеялом.

Сон, как мне казалось, не торопился придти ко мне на помощь. Я вспоминал события дня. На подошвах ног у меня еще жило и не засыпало ощущение ступенек лестниц, по которым я ходил вверх, вниз и снова вверх;

потом мне вспомнился образ Шекспира о том, что «бессонница – это обанкротившийся сон»; затем я подумал, что можно написать рассказ о мертвечце, страдающем бессонницей, которую он с отвращением называет жизнью, потом...

И вот тут я не помню. Переступил я через порог сна или остался в яви? Но только я увидел, что черная крышка футляра пенснэ беззвучно отщелкнулась и пенснэ приподнялось, привстав на своих коротких металлических ножках. Оно вышагнуло из футляра, волоча два огромных стеклянных глаза, и подошло к самому краю стола. В его двояко-вогнутых глазах, как всегда, мерцали тусклые лунные блики. Оно смотрело на меня чрезвычайно внимательно, изредка переступая с одной куцей металлической ножки на другую.

Я не выдержал долго длящегося молчания. И спросил:

– Чего тебе надо?.. Я не понимаю...

– О, да, – отвечал тихий, но четкий стеклистый голос, – в непонимании ты дальнзорок. Но я не к тебе, а к твоим снам. Перед тем как заснуть, вы снимаете нас с своих глаз, прячете и их, и нас под футляры век и вот этих черных крышек. Ты не понимаешь своих снов, позволь мне войти в них, и я помогу тебе увидеть их смысл. Что тебе снилось сейчас, перед моим приходом?

– Не помню ясно. Какая-то нелепица. Будто жизнь – это поезд. А я в нем – простой пассажир. И вот мы проезжаем к последней станции. Надо укладывать свои мысли. А мысли разбросаны, их не собрать, и никак их не прикрыть, не притиснуть черепной крышкой. А поезд уже подходит – беззвучно и медленно – к конечной станции. Так вот мне снилось. И ты мне снишься, я знаю.

– Странные существа – вы, люди. Вы боитесь своих снов, но вместе с тем единственное, что вы любите, это ваши сновидения. И все ваши философские системы – это сны о мире. Все персонажи ваших новелл и повестей только приснились вашим гениям. И вы в них верите – как в живых людей. Сами вы умираете, рассеиваетесь, как сонные грезы, но поэтические видения живут среди вас, не умирая. В конце концов, что такое я? Так, простое стеклянное двуглазье с глупым именем: пенснэ. Зачем ты меня купил, зачем ты потратил на меня несколько рублей? Чего тебе от меня нужно?

– Ответ мой прост. Мне нужно, чтобы ты помогло моим глазам видеть мир, чтобы ты добавило какие-то десятые доли к моему зрению.

– Так говорят с офтальмологами и оптиками. Но убежден ли ты, что я делюсь всем, что вижу, всем, что вбираю вот в эти стеклянные чечевицы, с твоими глазами? А может быть, я отдаю им лишь то, что считаю нужным отдать, а остальное удерживаю для себя? О, если б мне можно было рассказать о том, что ты не увидел: через меня! О тех образах, которые скользнули по моим стеклам, отразились в них, как в прозрачных зеркалах, но так и не вошли в твою психику. О том, что ты видел, но не увидел.

– Странно.

– «Это странно как странника ты в сердце приюти». А можешь и прогнать его. Пусть идет странствовать по свету бездомное, лишенное приюта «странно».

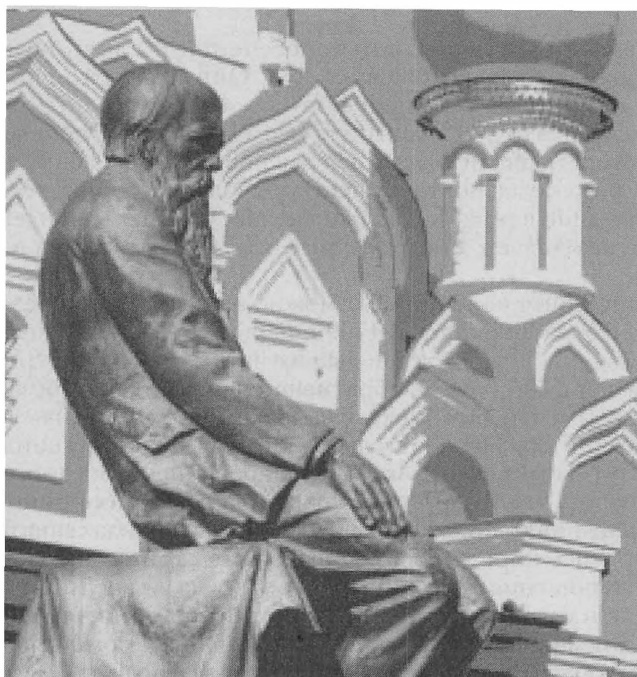
– Нет. Милости прошу. Пусть войдет.

– Я продолжаю. Ну, скажем, продолжаю сниться. Телосложение у меня – надо признать – нескладное. Эти запавшие, огромные стеклянные глаза на куцых рахитических ножках. И жить я не могу само по себе. Приходится ютиться при чужих глазах. Присасываться к чужому видению. О проклятая бездомная жизнь! Меня утешает только то, что очень многие и из вас, людей, живут, прилепляясь к чужому видению, к мировоззрению, глядящему на мир сквозь них...

Публикация Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА



НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ: РАЗМЫШЛЕНИЯ И СПОРЫ



Пожалуй, это уже стало традицией: после каждой международной встречи, проводимой Фондом Достоевского (2001, 2004, 2006 гг.), «Октябрь» первым обнаруживает результаты этих заслуживших признание научных форумов. Что, в свою очередь, свидетельствует о высокой интеллектуальной ориентации журнала. А также – о живом общественном интересе к проблемам, которые выходят за рамки «чистой» науки и несмотря на видимый академизм вступают в некоторое (а порой очень тесное) соприкосновение с тем, что «совершается ныне».

Ниже публикуются материалы, представленные на II Международном симпозиуме «Русская словесность в мировом культурном контексте» (Москва, декабрь 2006). В нем приняли участие более 300 исследователей, писателей и переводчиков из 37 регионов России и 31 зарубежной страны. Бесспорно, это явилось крупным событием современной культурной жизни. Хотя, как следует из названия симпозиума, диапазон интересов его участников был весьма велик и охватывал всю русскую словесность, публикуемый блок материалов так или иначе связан с творчеством Достоевского. Это лишь констатация того, что автор «Братьев Карамазовых» остается нашим национальным архетипом, болевой точкой нашего национального сознания, его чувствительным и средоточием его вопрошений.

«Лучшее, что нам даст история, – говорил Гете, – это возбуждаемый ею энтузиазм». Хотелось бы верить, что эти слова имеют отношение и к истории литературы.

Игорь ВОЛГИН,
президент Фонда Достоевского

Бесы versus Мадонна

В мире культуры существуют пересечения и влияния, которые могли бы придумать только Высший Дух. Они кажутся ненатуральными, случайными, но тем не менее они существуют, а потому заставляют с собой считаться. Что это значит для исследователя? Очень внятную позицию: необходимость анализа этих феноменов, их объяснения и умения увидеть их длящуюся актуальность. Существуют также историко-географические места, выступающие в роли неких сгущающих проблемы конденсаторов, где политические персонажи, писатели, мыслители оказываются в их завораживающем поле.

Для России одним из таких мест можно назвать город Дрезден.

Начнем с Петра Великого. В 1709 г. царь Петр отправил сына, царевича Алексея, в Дрезден, где тот должен был изучать языки, геометрию, фортификацию. Петр – первый русский, обративший внимание на Дрезден. Именно в этом городе в 1710 г. царевич Алексей познакомился со своей невестой – принцессой Шарлоттой Вольфенбюттельской. В 1711 г. они поженились. Это был первый брак русского наследника с западноевропейской принцессой, который открыл череду женитьб русских царей на немецких принцессах. Судьба принцессы и царевича оказалась трагической. Она родила сына, будущего царя Петра Второго, и вскоре умерла, не выдержав скудной и жестокой российской жизни. Отношения Петра Великого и Алексея воспринимались современниками как отношения новой и старой России, причем старую Россию представлял царевич. Противники Петра надеялись с помощью царевича разрушить европейские нововведения императора. Царевич был приговорен к казни. Таким образом Дрезден невольно оказался своего рода прелюдией грядущей русской драмы – борьбы цивилизации и анархии. Но дальше дело развернулось серьезнее.

Случайно ли Достоевский узнал о Нечаеве и его пятерках (движении, породившем русский большевизм) и начал писать свой пророческий роман «Бесы» именно в Дрездене? Вроде бы случайно. С 1867 г., спасаясь от русских долгов, Достоевский жил в Дрездене. Его жена вспоминала: «На возникновение новой темы повлиял проезд моего брата. Дело в том, что Федор Михайлович, читавший разные иностранные газеты <...>, пришел к заключению, что в Петровской земледельческой академии в самом непродолжительном времени возникнут политические волнения. Опасаясь, что мой брат, по молодости и бесхарактерности, может принять в них деятельное участие, муж уговорил мою мать вызвать сына погостить у нас в Дрездене. <...> Брат мой подробно и с увлечением рассказывал. Тут-то и возникла у Федора Михайловича мысль в одной из своих повестей изобразить тогдашнее политическое движение и одним из главных героев взять студента Иванова (под фамилией Шатова), впоследствии убитого Нечаевым»¹. Речь идет о преступлении 1869 г. в Петровском парке в Москве.

Нечаев, едва ли не первым в европейской истории сумевший соединить политическую борьбу с уголовщиной, опиравшийся в своей деятельности на уголовные принципы террора, был тесно связан с русским радикалом Бакуниным, на практике осуществляя его теорию. Однако стоит вспомнить, что Бакунин волею судеб оказался руководителем майского восстания 1849 г. в Дрездене, где проявил себя тоже незабываемым образом. По воспоминаниям его

друга Герцена, Бакунин как бывший артиллерийский офицер учил военному делу поднявших оружие профессоров, музыкантов и фармацевтов, советуя им «Мадонну» Рафаэля и картины Мурильо «поставить на городские стены и ими защищаться от пруссаков, которые zu klassisch gebildet, чтобы осмелиться стрелять по Рафаэлю»².

Еще за несколько лет до дрезденского восстания он вполне отчетливо выразил свое кредо. В 1842 г. Бакунин опубликовал под псевдонимом Жюль Элизар работу «Реакция в Германии», где был сформулирован неожиданный для европейской культуры принцип: «Давайте доверять вечному духу, который потому только разрушает и отрицает, поскольку он – непостижимый и вечно творящий источник всей жизни. Страсть к разрушению есть в то же время творческая страсть»³. Итак, все отрицающий дух, то есть дьявол, породил страсть разрушения, которая есть творческая страсть. Надо ей следовать. Может быть, впервые на европейском языке разрушение получило теоретическое обоснование, причем высказанное публично, более того, разрушение именовалось творчеством. Обычно разрушителями в мировой истории выступали те, кого не без основания называли варварами, то есть людьми, соприкоснувшимися с цивилизацией, но относящимися к ней грабительски и потребительски, не воспринимающими ее духовные ценности. Ранее почти никогда среди таковых нельзя было представить образованного человека. А Бакунин был человек образованный, воспитанный на немецкой классической философии, с красотой не боролся, просто *эту* красоту – красоту духовную – не воспринимал, не хотел воспринимать. У него была *другая* красота.

Но именно в Дрездене реализовал этот недоучившийся студент свою формулу разрушения. Почему? И опять мы невольно должны отметить некоторые почти мистические сближения. Надо сказать, что Дрезден как некое магическое место, где происходит столкновение сил зла и добра, сил мистических и земных, обозначил великий немецкий писатель Э.Т.А. Гофман в любимейшей им самим новелле-сказке «Золотой горшок». Эта сказка «из нового времени» начинается так: «В день Вознесения, часов около трех пополудни, через Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина...»

Как пишут специалисты-филологи, в этой сказочной повести весьма точно изображена топография Дрездена. Однако меня интересует не только топография, но и то, что действие сказки начинается в праздник Вознесения. Как известно, праздник Вознесения – последний выбор между земным и небесным. После Своего Воскресения через сорок дней повел Христос учеников на гору Елеонскую, где ученики решили, что отсюда Он объявит Свое мессианское царство на земле. Но Христос укорил их, что они так и не стали детьми «царства Христова», а царство Его на небе. После чего вознесся на небо, дав ученикам последнее благословение и обещав прислать им Духа Святого. Праздник этот бывает на сороковой день после Пасхи, то есть праздник переходной и все же чаще всего происходящий на апрель – май. Напомню, что именно в мае происходит то самое дрезденское восстание, руководство которым принял Бакунин и после которого он был арестован, пару лет сидел в венгерской тюрьме, потом его передали в Россию, где он был посажен в Петропавловскую крепость на долгие годы. 23 апреля (начало мая по европейскому календарю) 1849 г. был арестован в Петербурге вместе с другими петрашевцами молодой писатель Достоевский и тоже помещен в Петропавловскую крепость, после которой последовали десять лет каторги и солдатчины.

Вернемся, однако, к Гофману. Молодой человек, опрокинувший у Черных ворот корзину с яблоками и вступивший тем самым в эпицентр состязания добрых и злых волшебных сил, был студент Ансельм, который на протяжении всей повести разрывается между тяготением к земной девушке Веронике, желающей прочного устроенного быта, и любовью к дочери волшебника Саламандра, зеленой змейке Серпентине. Интересно, что Серпентина и Вероника – голубоглазые красавицы, почти двойняшки, так что студент порой

путается, кому, собственно, отдать свое сердце. Если у ранних романтиков выбор героя однозначен – он стремится к волшебному, духовному, отрицая земное, то у Гофмана все много сложнее. Вроде бы маг победил, Ансельм женился на зеленой змейке, с которой уехал жить в таинственную Атлантиду. Но тут очевидны гофмановская ирония и неоднозначность. Читатель так до конца и не знает, существует ли на самом деле Атлантида. Более того, волшебник Саламандр есть одновременно архивариус Линдгорст, мечтающий, как и прочие отцы, вполне прагматично выдать замуж свою взрослую дочь, поэтому и борется он за студента Ансельма со злой колдуньей, помогающей Веронике. Он хотел бы и двух других пристроить, о чем прямо и сообщает автору: «Как бы я хотел и двух остальных также сбыть с рук». И здесь ирония убивает романтическое волшебство: чудо преображения, чудо выбора между земным и духовным оказывается мнимым. Стоит также отметить, что «Золотой горшок» был переведен на русский великим русским философом и мистиком Владимиром Соловьевым, весьма склонным к иронии и даже к вышучиванию своих собственных идеологических построений.

Но вот недоучившийся студент Бакунин отнюдь не иронически воспринимал свои мечты о возможности моментального, революционного переустройства мира. Поражение дрезденского восстания, годы заключения не исцелили его. Ему по-прежнему казалось, что он выбирает фантазию, мечту, духовность. В 1851 г., сидя в Петропавловской крепости, он писал, что в его природе всегда был коренной недостаток – любовь к фантастическому, к необыкновенным, неслыханным приключениям, к предприятиям, открывающим горизонт безграничный, который и не может предвидеть конца. Между тем этот анархический мечтатель был на самом деле вполне реалистичен и жесток, желая воплотить свою мечту в реальность, вполне предвещая поступки Ленина и других большевиков.

В июле 1862 г., когда в Петербурге бушевали пожары, инспирированные русскими радикалами, русский литератор и либерал Александр Никитенко посетил Дрезденскую галерею и провел несколько часов перед «Мадонной» Рафаэля. Потом он гулял по Дрездену с Николаем Страховым, сотрудником журнала, издававшегося Достоевским в это время. Зашли они к немецкому журналисту и драматургу Вольфсону, который вспомнил Бакунина. Его рассказ записал Никитенко: «Спасаясь от преследователей, Бакунин явился к Вольфсону и просил у него убежища на ночь. Вольфсон скрыл его у себя. В следующее утро на прощанье Бакунин сказал ему: «Ты оказал мне услугу, потому предупреждаю тебя: если наша возьмет верх – не попадайся мне: повешу или расстреляю». Во время резни в Дрездене в том же году Бакунин, по словам того же Вольфсона, направлял пушки на картинную галерею»⁴. Не исключено, что Страхов рассказал эту историю Достоевскому. Тема Дрездена, «Мадонны» и Бакунина, как видим, могла возникнуть в сознании Достоевского еще до дела Нечаева. Заметим, что в этой бакунинской угрозе своему спасителю уже видны зачатки большевистской «этики»⁵. Так Ленин изгнал своего учителя Плеханова из России, не говоря о расстрелах вчерашних друзей – меньшевиков и эсеров.

Для России и в самом деле Дрезден оказался полигоном русских идей, где русские студенты, наподобие гофмановского студента Ансельма, попадали в замысловатые истории и находили себя, правда, скорее трагическим образом. Первый студент – царевич Алексей, второй – недоучившийся студент Михаил Бакунин. Он, по сути дела, подхватил эстафету неприятия петровской европеизированной России, выдвинув новые принципы борьбы с европейской цивилизацией, которые отожделись большевистской революцией XX века и террором XXI века. Радикалы использовали идею утилитаризма, но особого рода, который пользу видит в разрушении достижений культуры и цивилизации. С такого рода утилитаризмом Достоевский столкнулся еще в России. Утилитаристы-радикалы отрицали искусство, утверждая, что оно абсолютно бесполезно для общества. В 1861 г. Достоевский написал статью, где формулировал свое кредо о великой пользе искусства, утверждая, что потребности красоты

у человечества уже определились, определились и его вековечные идеалы. «При отыскании красоты человек жил и мучился, – писал он. – Если мы поймем его прошедший идеал и то, чего этот идеал ему стоил, то, во-первых, мы выкажем чрезвычайное уважение ко всему человечеству, облагородим себя сочувствием к нему, поймем, что это сочувствие и понимание прошедшего гарантирует нам же, в нас же присутствие гуманности, жизненной силы и способность прогресса и развития»⁶. И далее Достоевский перечисляет авторов, героев и произведения, которые принесли невероятную пользу человечеству: маркиз Поза, Фауст, «Илиада», «Мадонна» Рафаэля, Данте, Шекспир.

В «Бесах» Петр Верховенский (прототипом которого стал Нечаев) произносит: «... "стук телег, подвозящих хлеб человечеству", полезнее Сикстинской Мадонны». Между тем именно с этой позицией любового утилитаризма, который в результате ведет к катастрофе, и полемизировал Достоевский за десять лет до написания «Бесов». Приведу его слова: «Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству, например, «Илиадой» или Аполлоном Бельведерским, вещами, по-видимому, совершенно в наше время ненужными. Вот, например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья бытия», взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым и бесконечно прекрасным образом. <...> Когда этот юноша, лет двадцать-тридцать спустя, отозвался во время какого-нибудь великого общественного события, в котором он был великим передовым деятелем, таким-то, а не таким-то образом, то, может быть, в массе причин, заставивших его поступить так, а не этак, заключалось, бессознательно для него, и впечатление Аполлона Бельведерского, виденного им двадцать лет назад. <...> Оказалось, что души-то и не умирают. А потому, если давать заранее цели искусству и определять, чем именно оно должно быть полезно, то можно ужасно ошибиться, так что вместо пользы можно принести один вред, а следовательно, действовать прямо против себя, потому что утилитаристы требуют пользы, а не вреда. И так как искусство требует прежде всего полной свободы, а свобода не существует без спокойствия (всякая тревога уже не свобода), то, следственно, искусство должно действовать тихо, ясно, не торопясь, не увлекаясь по сторонам, имея само себя целью и веруя, что всякая деятельность его отзовется со временем человечеству несомненною пользою»⁷. Но не забудем, что русские бесы впервые явились в 1849 г. в Дрездене. Петербургские пожары – повтор предложения сжечь ратушу в Дрездене. Дрезденское майское восстание не только факт немецкой истории, гораздо большее значение он имеет для русской судьбы.

Пока Бакунин в «Исповеди» изображал себя простым фантазером и дворянским искателем острых ощущений, о нем ходили другие истории, пересказывавшиеся его близкими друзьями: «Как только поднялось движение в Дрездене, он появился на баррикадах, – его там знали и очень любили, – рассказывал Герцен в 1851 г. – Узнав, что королевские солдаты вовсе не приняли твердого решения избивать своих братьев, что у них были сомнения, что они даже щадили здания, Бакунин предложил выставить шедевры Дрезденской галереи на стенах и баррикадах. Это действительно могло остановить осаждающих. «А если они будут стрелять?» – возразили члены муниципалитета. «Тем лучше, пусть падет на них позор этого варварства». Муниципальные эстетика не пожелали этого. Таким же образом был отвергнут целый ряд революционных и террористических мер, предложенных Бакуниным. Когда ничего нельзя было больше сделать, Бакунин предложил поджечь дома аристократов и взорвать на воздух ратушу со всеми членами правительства, в числе которых был и он сам. Он говорил это, держа в руке заряженный пистолет»⁸.

Но интересно, что Бакунин в исповеди, адресованной императору, это свое намерение пытался свалить на немецких социалистов, сообщая Николаю I, что некоторые из коммунистических предводителей баррикад вздумали было жечь Дрезден и сожгли уже несколько домов. А он-де никогда не давал к тому приказаний: впрочем, согласился бы и на то, если бы только думал, что

пожарами можно спасти саксонскую революцию. И главное его соображение: он никогда не мог понять, чтобы о домах и о неодушевленных вещах следовало сожалеть более, чем о людях. При этом забывался весьма важный момент: что пожары уничтожают возможность жизни для людей и что в пожарах люди гибнут. Нравственные качества великого анархиста из этих эпизодов довольно ясно определяются: они в полном отрицании христианской морали, требующей от человека самопожертвования во имя другого. Бакунин жлет, чтобы обелить себя. Надо подчеркнуть, что лживость – одна из характернейших черт Бакунина и Нечаева, что с удивлением отмечали их современники. Очень долго старались не обращать на это внимания, забывая, что сатана есть отец лжи и что всякий постоянно лгущий – среди его сподвижников.

Образ Бакунина волюновал воображение художников. Им восхищался Рихард Вагнер, бывший тоже участником дрезденского восстания⁹. Русские писатели, знавшие Бакунина, были трезвее в его оценке. Бакунин оказался прототипом главного героя тургеневского романа «Рудин». Рудин вначале выглядит фантазером и мечтателем, а то и просто болтуном, провоцирующим окружающих, смущающим слушателей, но оказавшимся бессильным при необходимости принять решение. Тургенев, правда, попытался немного реабилитировать своего героя: в конце романа Рудин погибает на баррикадах во время парижского восстания 1848 г. В советское время (в 20-е годы) образ Бакунина был однозначно героическим, например, у Константина Федина, будущего начальника Союза советских писателей. В своей работе «Идеология национал-большевизма» Михаил Агурский писал, что в ранней пьесе «Бакунин в Дрездене» (1922) Федин противопоставляет вырождающейся Европе славян, представителем которых показан могучий скиф Бакунин. Федин так показывает Бакунина, что его национальное превосходство перед немцами очевидно. Бакунин в этой пьесе произносит такие слова: «Кто с нами, славянами, тот на верной дороге. Наша натура проста и велика, нам не подходит расслабленное и разжиженное, чем пичкает мир одряхлевшая старая Европа. Мы обладаем внутренней полнотой и призваны перелить ее, как свежие весенние соки, в жилы окоченелой европейской жизни»¹⁰.

Достоевский нарисовал другого Бакунина, того, который провоцировал в Дрездене восставших людей превратить полотно рафаэлевой «Мадонны» в мишень для пуль, призывал к взрывам и поджогам домов. Именно эту связь Бакунина с романом Достоевского «Бесы», писавшимся в Дрездене, стоит подчеркнуть. Исследователи склонны находить в одном из героев, Николае Ставрогине, интеллектуальном провокаторе романа, черты Бакунина. Замечу, что об этом писал еще один замечательный русский мыслитель, живший в Дрездене. Я говорю о Федоре Степуне, философе и писателе, изгнанном большевистскими бесами из России в 1922 г. и нашедшем приют в Германии, ставшем профессором дрезденской Высшей технической школы. В 1937-м он был отсюда уволен нацистами. Он писал о связи героя романа с Бакуниным: «Не раз высказывалось предположение, что прообразом Ставрогина надо считать Михаила Бакунина. Некоторое и даже существенное сходство, бесспорно, налицо. Бакунин, как и Ставрогин, верит в дьявола, быть может, даже канонически. В своих размышлениях о Боге и государстве Бакунин, во всяком случае, восторженно славит этого извечного «бунтаря» и «безбожника» как «первого революционера», начавшего великое дело освобождения человека от «позора незнания рабства». Бог и свобода для Бакунина несовместимы, а потому он и определяет свободу как действительное разрушение созданного Богом мира»¹¹.

Но гораздо важнее, что прототип главного «беса», Петра Верховенского, был списан с реального последователя Бакунина – Сергея Нечаева, реализовавшего идею тоталитарной партии, из которой впоследствии могло вырасти негласное тоталитарное руководство страной – вроде ЧК, КГБ и т.д. Бакунин писал Нечаеву: «Отвергая всякую власть, какую властью или, вернее, какую силою будем мы сами руководить народную революцию? *Невидимую, никем не признанную и никому не навязывающуюся силою, коллективную диктатуру нашей организации, которая будет именно тем могущественнее, чем более она ос-*

*танется незримою и непризнанною, чем более она будет лишена всякого официального права и значения»*¹². Замечу между прочим, что Сергей Нечаев, Михаил Бакунин, как и все центральные герои Достоевского, – недоучившиеся студенты, вроде гофмановского студента Ансельма, стоящие перед выбором пути и предъявляющие миру максималистские требования. Гофман над такими стремлениями иронизировал, Достоевский же понял их невероятную серьезность, чреватую исторической трагедией.

Достоевский создавал «Бесов», а в это время наиболее светлый из русских революционеров Герман Лопатин писал Наталье Герцен 1 июня 1870 г. о постоянной лжи Бакунина и об очевидной «солидарности Бакунина и Нечаева в этом деле»¹³, то есть убийстве студента Иванова. Бакунин попытался через посредство Нечаева организовать в России революционное общество, которое воплотило бы его радикалистскую программу. Нечаев вернулся в Россию в сентябре 1869 г. с выданным ему Бакуниным мандатом мифического «Русского отдела Всемирного революционного союза». Мандат датирован 12 мая 1869 г. и подписан «Михаил Бакунин»: «Податель сего есть один из доверенных представителей русского отдела Всемирного революционного союза, 2771»; на печати выгравированы слова: «Alliance révolutionnaire européenne. Comité general». Максимально используя предоставленный Бакуниным полномочия, Нечаев организовал в Москве несколько пятерок¹⁴.

И дело было не только в убийстве студента Иванова. Речь шла о полном пересмотре ценностей человечества. В мифологии каждого народа присутствует так называемый «культурный герой» (скажем, Прометей у греков), который учит людей ремеслам, учит строить и созидать, а главное – любить знания. Таким был в России Петр Великий, прививший своему народу вкус к науке и европейской духовности (в том числе к европейской живописи), по совету Лейбница учредивший академию, а его дочь, императрица Елизавета Петровна, открыла в Москве Университет. У бесов была другая установка – на разрушение. В прокламации, написанной в марте 1869 г. и обращенной к русской молодежи и использовавшейся Нечаевым, Бакунин писал: «Итак, молодые друзья, бросайте скорее этот мир, обреченный на гибель, эти университеты, академии и школы, из которых вас гонят теперь и в которых стремились всегда разъединить вас с народом. <...> Не хлопчите о науке, во имя которой хотели бы вас связать и обессилить. Эта наука должна погибнуть вместе с миром, которого она есть выразитель»¹⁵. Иными словами, духовность, индивидуальность обрекались радикалами на гибель, Петр Верховенский так изображал готовящееся им будущее: «Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями». И, надо сказать, его установка вполне была реализована в большевистской России, где уничтожались философы, поэты и художники. Но следование дьяволу, как об этом догадались русские неорелигиозные мыслители, особенно после ужасов большевистской революции, «есть состояние не освобождающее, а, – писал Бердяев, – рабье, потому что тот, кто бунтует и восстает против великого, Божественного и человеческого содержания истории, сознает его не как собственное, внутреннее, в нем раскрывающееся, а как ему навязанное извне. Такое бунтующее анархическое отношение основано на рабском состоянии духа, а не на свободе духа»¹⁶.

Достоевский был в ужасе от петербургских пожаров. Казалось, что они губят дело рук человеческих. В «Бесах» тема пожаров – одна из важнейших. Но в марте 1871 г., когда он уже работал в Дрездене над «Бесами», восстала Парижская коммуна, а в мае того же года в Париже начались пожары. Их устроили чувствовавшие поражение поражение коммунары. Федералисты поджигали или взрывали всякий дом, который вынуждены были очистить. Но горели и исторические здания вроде городской ратуши, дворца Тюильри, который был полон произведений искусства и так и не был впоследствии восстановлен. Произведения духа и рук человеческих не щадилась. Кстати, опять все тот же май, месяц выбора между человеческим и небесным. Поджигатели полагали, что выбирают небесное. Но беда человека в том, что он, отказавшись от стремле-

ния к высшему, к духовным откровениям человеческого гения, может двинуться не к божественной высоте, а избрать дьявольскую, бесовскую духовность. Именно это наступление дьявольщины почувствовал Достоевский в русском и европейском воздухе. 18 мая 1871 г. Достоевский писал Страхову из Дрездена: «Пожар Парижа есть чудовищность. <...> Но ведь им (да и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, *красотой*. Итак, эстетическая идея в новом человечестве помутилась»¹⁷.

Он открыл главное: красоту, противопоставленную «Мадонне». Эта красота – в бешенстве. В бесовщине. Именно эта красота и прельстила Бакунина. Любопытно при этом, что бесы, желая уничтожить «Мадонну», полагают, что они борются за счастье людей, что они отказываются от земных благ, но на самом деле они выбирают царство земное со всеми его грехами, ведущими в адские низины. Сам же Достоевский «идеалом человечества», до которого оно доработалось в течение своего долгого пути, «высшим идеалом красоты» считал именно «Мадонну» Рафаэля. «Федор Михайлович выше всего в живописи ставил произведения Рафаэля и высшим его произведением признавал «Сикстинскую Мадонну»¹⁸. Таким образом в Дрездене была первая попытка нигилизма свергнуть классическую христианскую красоту (Бакунин) и именно в Дрездене же был дан первый бой (Достоевский) этому новому, овладевавшему умами дьявольскому миропониманию. Поразительно, но бес Верховенский поминает в тексте романа город Дрезден, отнесясь к нему вполне иронически, как к месту, где ценят культуру и искусство. Но это иная ирония, нежели у Гофмана, не романтическая, не мистическая, а разрушительная, издевательская, унижающая честь и достоинство собеседника. Так, он советует одному из обывателей быстрее покинуть Россию, где скоро должны победить революционеры: «Тут, батюшка, новая религия идет взамен старой. <...> А вы эмигрируйте! И знаете, я вам советую Дрезден, а не на тихие острова. Во-первых, это город, никогда не видавший никаких эпидемий, а так как вы человек развитый, то, наверно, смерти боитесь; во-вторых, близко от русской границы, так что можно скорее получать из любезного отечества доходы; в-третьих, заключает в себе *так называемые сокровища искусства* (курсив мой. – В.К.), а вы человек эстетический, бывший учитель, словесности, кажется; ну и, наконец, заключает в себе свою собственную карманную Швейцарию – это уж для поэтических вдохновений, потому, наверно, стишки пописываете. Одним словом, клад в табатерке!». Как видим, ирония его полна издевки, а тон вполне презрительный и к городу, и к искусству. Да и как бес мог не презирать город, жители которого отказались прикрыться от пуля «Мадонной» Рафаэля, не послушавшись уговоров своего совратителя – Бакунина!

Федор Степун так резюмировал открытие Достоевского: «Читая бредовую проповедь Верховенского, нельзя не чувствовать, что она кипит бакунинской страстью к разрушению и нечаевским презрением не только к народу, но даже и к собственным «шелудивым» революционным кучкам, которые он сколачивал, чтобы пустить смуту и раскатать Россию. В духе Нечаева и Ткачева Верховенский обещает Ставрогину, что народ к построению «каменного здания» допущен не будет, что строить они будут вдвоем, он, Верховенский, со своим Иван-царевичем. Надо ли доказывать, что следов бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»¹⁹.

По указанию Ленина имя Бакунина было выгравировано в Александровском саду на стеле, посвященной великим революционерам. Ленин словно расписался в верности идеологу русской бесовщины. Как пишут современные исследователи, одним из истоков современного международного терроризма были русские радикалы, народовольцы и террористы. Одним из вдохновителей русского революционного терроризма был Бакунин, искавший в русском разбое силу социального преобразования общества.

В советские годы в России ходил анекдот, что по приказу Политбюро в центре Москвы поставлен памятник Достоевскому с такой надписью: «Великому русскому писателю Ф.М. Достоевскому. – Благодарные бесы». Но это был

лишь анекдот, а замечательный памятник С.Д. Меркурова²⁰ стоял на задах Мариинской больницы, больницы для бедных, где когда-то работал лекарем отец писателя. Сам Федор Достоевский оказался тоже своего рода доктором, «социальным доктором», религиозным мыслителем, который диагностировал тяжелейшее заболевание человечества, и, быть может, основной диагноз этой страшной болезни был угадан и записан им в Дрездене.

В наши дни в этом прекрасном городе поставлен памятник великому русскому писателю Достоевскому, который первым увидел самые сложные проблемы будущей Европы и сумел оценить их *sub specie aeternitatis*, став Данте нового времени. И это закономерно, что памятник ему стоит там, где он написал свой великий роман. Город выбирает того, кто ему ближе по духу и по идее. Город выбрал поклонника «Мадонны» Рафаэля.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Достоевская А.Г. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1971. С. 190-191.
2. Герцен А.И. Былое и думы // Герцен А.И. Собр. соч. в 9 тт. Т. 6. М.: Художественная литература, 1958. С. 355.
3. Jules Elysard (= Mikhail Bakunin). Die reaction in Deutschland. Ein Fragment von einem Franzosen // Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst 1842. Nr. 247-251, 17. Bis 21. Oktober. S. 1002.
4. Никитенко А.В. Дневник в трех томах. Т. 2. Л.: Гослитиздат, 1955. С. 286.
5. Впрочем, о нравственной нечистоплотности Бакунина не раз вспоминали его соотечественники, знавшие анархиста в юные годы. Приведу лишь одно свидетельство: «Совершенно независимо от его сумбурных теорий и беспутных подвигов за границей, где он являлся странствующим рыцарем всевозможных революций, это была порядочная скотина. Делать долги, не помышляя об уплате их, забирать в магазинах книги на имя своих приятелей без их ведома, бесцеремонно тратить деньги, вручаемые ему для передачи кому-нибудь, – все это считал он делом обыкновенным и безупречным. Частная собственность, то есть собственность чужая, не существовала для него еще задолго до того времени, как он возвел отрицание ее в принцип» (Феоктистов Е. За кулисами политики и литературы. 1848-1896. Воспоминания. М.: Новости, 1991. С. 101).
6. Достоевский Ф.М. Г-н –нов и вопрос об искусстве // Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30 тт. Т. 18. Л.: Наука, 1978. С. 96.
7. Там же. С. 77-78.
8. Никитенко А.В. Ук. соч. С. 613.
9. Как известно, Вагнер создавал либретто «Кольца Нибелунга» на основе «Эдды», германо-скандинавских мифов IX-XI веков, но включил в него и мифотворчество других народов, в том числе греческих и кавказских: драконы, любовные напитки, проклятия, Гера – хранительница очага, всемогущий Зевс сосуществуют с выросшим в лесу Зигфридом. Прообразом свободного человека, как считал сам композитор, стал для Вагнера Михаил Бакунин, с которым он познакомился и подружился в Дрездене. Личные впечатления автора дополнили и обогатили древние сказания.
10. Сам Федин видел в этой пьесе лишь начало возвеличения Бакунина, поскольку, по его словам, «Бакунин в Дрездене», представляя собой законченное целое, является частью задуманных им драматических сцен из жизни М.А. Бакунина под общим названием «Святой Бунтарь».
11. Степун Ф.А. «Бесы» и большевистская революция // Степун Ф.А. Сочинения. М.: РОССПЭН, 2000. С. 631-632.
12. Бакунин М.А. Письмо М.А. Бакунина к С.Г. Нечаеву 2-го июля 1870 г. // Бакунин М.А. Философия. Социология. Политика. М.: Правда, 1989. С. 547-548. Курсив Бакунина.
13. Герцен и Запад. Литературное наследство. Т. 96. М.: Наука, 1985. С. 495.
14. См. Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30-ти тт. Т. 12. Л.: Наука, 1975. Примечания. С. 192.
15. Несколько слов к молодым братьям в России // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. М.: Археографический центр, 1997. С. 213.
16. Бердяев Николай. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 30.
17. Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 30 тт. Т.29, кн. 1. Л.: Наука, 1986. С. 214.
18. Достоевская А.Г. Воспоминания. С. 150.
19. Степун Ф.А. «Бесы» и большевистская революция. С. 635.
20. В 1914 году скульптор Сергей Меркуров приступил к созданию памятника Ф.М. Достоевскому. Статуя долгое время находилась в его мастерской и только в 1918 году была установлена на Цветном бульваре, где простояла 18 лет, пока ее не перенесли во двор дома, где родился Ф.М. Достоевский (Божедомка, ныне ул. Достоевского, д. 2). Там сейчас музей Достоевского.

Христианские персонализм и дионисизм Ф.М. Достоевского

«Достоевский – глубоко христианский писатель. Я не знаю более христианского писателя. И споры о христианстве Достоевского обычно ведутся на поверхности, а не в глубине».

Н.А. Бердяев. О миросозерцании Достоевского

«Он думал или хотел думать, что его религия – православие. Но истинная религия его – если не в сознании, то в глубочайших подсознательных переживаниях – вовсе не православие, не историческое христианство, ни даже христианство вообще, а то, что за христианством, за Новым Заветом –

Апокалипсис, Третий Завет, откровение Третьей Ипостаси Божеской – религия Св. Духа».

Д.С. Мережковский. Пророк русской революции

Теоретически (догматически) христианство на Вселенских Церковных Соборах преодолело язычество, отчеканило ортодоксию (правовереие). Вроде бы оно преодолело его и исторически. Можно говорить и о христианской цивилизации. Но может ли быть фактически до конца побеждено язычество? Или оно было христиански осмыслено и прочувствовано?

Христианство – теоцентрично, язычество – космоцентрично. Язычество связано с природой, с космосом, с его демонами, духами, пантеизмом и деперсонализацией (растворением в стихиях бытия). Христианство предложило прежде всего высочайшую аскетически-виртуозную мораль, изгнав при этом демонов из природы, что, как известно, открыло дорогу современной науке¹, которая вскоре почувствовала себя самодостаточной. В результате христианского экзорцизма мир оказался секуляризованным и поляризованным. Для платоновской «души мира» места в христианском универсуме не нашлось. На одном полюсе оказался Св. Дух (к стяжанию которого, по слову преп. Серафима, христиане призваны), а на другом – мертвая, механически-химически понимаемая материя (природа), которой соответствовала философия позитивизма. Однажды изгнав демонов и духов из природы, историческое христианство природой уже не интересовалось. Конечно, это произошло не сразу. Христианство – это религия богочеловечества, боговоплощения. Оно не отрицает природу, а чаёт преображения ее. Но одно дело – догматика, другое – то, что происходит на практике, в социуме, в головах людей, в «историческом христианстве».

Да и природа в целом осталась природой, в ней продолжали гнездиться некие силы, не всегда самые дурные. «Солнышко, – как писал В.В. Розанов, – продолжало светить, как и до прихода Христа». Природа является в этом отношении амбивалентной: она творение Бога, но она несет с собой соблазнительную энергетику и она же повреждена первородным грехом. При совершении крещения священник изгоняет нечистых духов из крещальных вод,

читая соответствующие молитвы. Христианство акцентировало мораль, произошла сильная спиритуализация и морализация духовной жизни. Богословские добродетели (вера, надежда, любовь) вытеснили известные античные добродетели: справедливость, умеренность, мудрость, мужество, которым не нашлось места в восточно-христианском дискурсе, не знавшем римского права и рыцарства. Никто, конечно, официально от этих добродетелей не отрекался. Языческая добродетель силы и цветущей полноты жизни оказалась маргинализированной. Возник даже своеобразный культ слабости. Теперь слабым стало быть «не стыдно». Возникло также то, что можно назвать мироотрицанием. Здесь равно возможны как суровое отрицание «мира сего» (Ферапонт в «Братьях Карамазовых»), так и совсем не суровое культивирование всяческих немощей с упованием на «помощь свыше».

Именно такой тип исторического христианства вызвал его жесткую критику со стороны Ф. Ницше и В. Розанова, который утверждал, что «во Христе прогорк мир». Эта критика была бы никому не интересна, если бы объяснялась только их личными странностями. Но эти два самых острых критика христианства уловили некие тенденции исторического христианства. Именно этот «провал» серединной (природной) жизни вызвал появление нового («исправленного») христианства на рубеже XIX–XX веков. С. Булгаков, вслед за В.С. Соловьевым и П. Флоренским, развивает софиологию, Д. Мережковский, В. Розанов создают концепцию «святой плоти». Вместо онтологического обрыва (прерывности) возникает чаемая непрерывность, некий континуум между крайними полюсами дилеммы. С природой и связанным с ней эросом «нужно было что-то делать», а не просто от них оторваться.

О том же говорил Н. Бердяев: «...смерть Христа зачаровала человечество, а воскресенье Его не было понято или было понято неполно. Историческое христианство вместило только отрицательную, аскетическую половину религии Христа, поняло небо как отрицание земли, дух как отрицание плоти, а бездна на полюсе противоположном была отвергнута как дьявольское искушение. Дуализм неба и земли, духа и плоти отравил жизнь, превратил мир в сплошную греховность. А жизнь мира шла своим путем, оправдывалась святостью не христианскою»².

Первым эту проблему в русской мысли и творчестве начал исследовать Достоевский.

Достоевский в своих работах преодолевает именно этот взаимоисключающий дуализм духа и материи. Для этого нужно было:

во-первых, «оправдать природу», вновь по-сыновнему сострадательно полюбить ее (как когда-то св. Исаак Сирийский³, с творениями которого Достоевский был хорошо знаком), вернуть «природу-мать» в христианство, вступить с ней в некоторое взаимодействие. Но это чревато пантеистическим растворением в природе. Поэтому:

во-вторых, следовало ощутить и осмыслить уникальность человеческой личности, такую ее глубину, в которой она отождествляется (или приближается) с Истиной. Более того, с определенного рода объективными истинами такая личность находится как бы в отношениях на равных (что в остро парадоксальной форме показано в «Записках из подполья»).

Достоевский в художественно-философской (и к тому же в пророческой) форме осуществляет этот синтез. Здесь Достоевский – более чем писатель, и он создает нечто большее чем «текст». Он – теург и синергетик (в святоотеческом смысле слова), он совершает волевой прорыв. Н. Бердяев говорит, что Достоевский – Гераклитова духа, уподобляет чтение Достоевского некоей инициации, рождению заново.

В Библии Бог говорит от первого лица единственного числа – «Я». Христианский персонализм выражен в самом Евангелии: «Я есть Путь, Истина, Жизнь» (Ин.14,6). Высший субъективизм сочетается с высшим объективизмом. Отныне проводится грань между индивидуализмом (с его эгоизмом) и персонализмом (вселенская ответственность). Именно христианство положило начало повышению личностного самочувствия человека. Истина теперь существует не в форме «что», а в форме «кто». То, что было доступно немно-

гим философским умам, «друзьям парадоксов», следовало выразить в художественной форме.

Персонализм

Известно исповедание веры Достоевского. В двадцатых числах февраля 1854 г., едва выйдя из острога, он пишет (в письме к Фонвизиной): «... Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но и с равнивой любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если бы кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной»⁴. Истина, согласно Евангелию, не «что», а «кто». Пилат представлял себе истину в объектной форме «что» (Что есть истина?). Высший объективизм и высший субъективизм, как уже было сказано, совпадают в высшем божественном персонализме: «Я есть Истина» (Ин.14,6). Знаменательно, что свое исповедание веры Достоевский вкладывает в уста одиозного Ставрогина (в пересказе Шатова): «Не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» («Бесы», ч.2, гл.1). Достоевский не был равнодушен к своему своеобразному и еще небывалому герою-микрокосму, вместившему в себя все возможные измерения человеческого бытия (от посещения всеночных на Афоне – до изнасилования несовершеннолетней). Есть некоторая тайна Ставрогина. Бердяев утверждал, что Достоевский влюблен в Ставрогина⁵.

Труднейшая тема, связанная с персонализмом, – тема свободы в ее связи с истиной. «Существует не только свобода в истине, но и истина в свободе»⁶. Достоевский почувствовал весь трагизм свободы. «Сокровенный пафос его есть пафос свободы»⁷. Мнимая жестокость Достоевского связана с тем, что он не хотел снять с человека бремя свободы и ответственности. У него человек «отпущен на свободу», на «мировой сквозняк». «Свобода не может быть отождествлена с добром, с истиной, с совершенством. Свобода имеет свою самобытную природу, свобода есть свобода, а не добро... Свободное же добро, которое есть единственное добро, предполагает свободу зла. В этом трагедия свободы, которую до глубины исследовал и постиг Достоевский»⁸. Он понял, что редуцирование свободы к добру есть отрицание свободы. Великий Инквизитор мог бы сказать самому Достоевскому: «Ты возжелал свободной любви человека... Вместо твердого древнего закона, – свободным сердцем должен теперь человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея в руководстве Твой (Христа) образ лишь перед собой». Достоевский, не закрывая глаза, всем своим человеческим нутром чувствует тайну Христа и тайну свободы.

Мораль и обожение

Вот что он писал в 1870 г. в черновиках к «Бесам»: «Многие думают, что достаточно верить в мораль Христову, чтобы быть христианином. Не мораль Христова, не учение Христа спасет мир, а именно вера в то, что «Слово плоть бысть». Вера эта не одно умственное признание превосходства Его учения, а непосредственное влечение. Надо именно верить, что это окончательный идеал человека, все воплощенное Слово, Бог воплотившийся. Потому что при этой только вере мы достигаем обожания, того восторга, который наиболее приковывает нас к Нему непосредственно и имеет силу не совратить в сторону. При меньшем восторге человечество, может быть, непременно бы совратилось в ересь, потом в безбожие, потом в безнравственность, а под конец в атеизм и троглодитство и исчезло, истлело бы. Заметьте, что человеческая природа непременно требует обожания. Нравственность и вера одно, нравственность вытекает из веры, потребность обожания есть неотъемлемое свойство человеческой природы. Это свойство высокое, а не низкое – признание бесконечного, стремление разлиться в бесконечность мировую, знание, что из нее происходишь. А чтоб было обожание, нужен Бог. Атеизм именно исходит из мысли, что обожание не есть естественное свойство природы

человеческой, и ожидает возрождения человека, оставленного лишь на самого себя. Он силится представить его нравственно, каким он будет свободным без веры. <...> Нравственность же, предоставленная сама себе или науке, может извратиться до последней погани»⁹. Важно заметить, что эти слова предполагались для Ставрогина.

Во времена Достоевского еще не было заново открыто православное обожение (исихазм, паламизм, экстатический опыт Симеона Нового Богослова) как онтологическое преобразование всего естества человека. Гений Достоевского проявился в предчувствии будущего открытия. Не случайно он употребляет термин «обожание».

Экстатические падения на землю

Падения на землю Алеши и Раскольниковы типологически сходны. Оба целуют землю со слезами в экстатическом (исступленном) состоянии. Алеша обнимает землю, целует «ее всю». Возникает то, что Платон называл Эросом (некая вселенская энергия, проходящая через человека). Можно ли плакать о звездах? Он плакал и о звездах. Это очень напоминает древнюю мистерию инициации. Как будто нити от всех этих бесчисленных миров Божиих сошлись разом в душе его, и она вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». Алеша чувствовал, «как что-то твердое и незыблемое... сходило в душу его».

Важно, что экстаз Алеши происходит вне кельи и храма. Сцене предшествует краткое описание природы (хочется сказать: космоса): «тишина земная как бы сливалась с небесною, тайна земная соприкасалась со звездною». Не следует сводить эту сцену к одной психологии. Бердяев называл Достоевского не психологом, а пневматологом. Это следует понимать в духе мистического реализма, ставшего позже основой русской религиозной философии.

Мережковский писал: «Это – глубочайшее откровение христианства в русской, может быть, и во всемирной культуре. Донедаказало нам, что быть христианином – значит любить небо, только небо, отрекаясь от земли, ненавидя землю. Но вот христианство – не как отречение от земли, не как измена земле, а как новая, еще небывалая «верность земле», новая любовь к земле, новое «целование земли». Оказывается, что не только можно любить небо и землю вместе, но что иначе и нельзя их любить, как вместе, нельзя их любить раздельно, по учению Христа. Пока мы любим небо или землю не до конца, не до последнего предела неба и земли, нам кажется, как Л. Толстому и Ф. Ницше, что одна любовь отрицает другую. Надо полюбить землю до конца, до последнего края земли – до неба, надо полюбить небо до конца, до последнего края неба – до земли, и тогда мы поймем, что это не две, а одна любовь, что небо сходит на землю, обнимает землю, как любящий обнимает любимую (две половины, два пола мира), и земля отдается небу, открывается небу: «тайна земная, по выражению Достоевского, соприкасается с тайною звездною»; в этом-то «соприкосновении», соединении и заключается сущность если не исторического христианства, то самого учения Христова»¹⁰.

Раскольников также целует «грязную землю с наслаждением и счастьем». Было ли здесь покаяние (психология), которого ожидает читатель романа? Было ли здесь то, что по-гречески называется «метанойя» (онтологическое преобразование ума) и что недостаточно передается русским словом «покаяние»?

Что можно противопоставить вопрошаниям Раскольникова? Пресное моралистическое назидание? Укоризненный взгляд Сони? Взгляда, конечно, очень немало. Но Достоевский, как всегда, идет вглубь, как бы чая грядущего преобразования бытия. Отсюда некоторая сюжетная неопределенность концовки романа.

Оба (Алеша и Родион) переживают нечто необыкновенное, многомерное, полное, некий катарсис. Это не только психологическое (внутреннее) состояние: Алеша испытывает «исступление», а Родион – «припадок». Важно, что в обоих случаях участвует природа (космос), хотя бы и в виде «грязной земли» в случае с Раскольниковым¹¹.

Дмитрий Карамазов (прочитав стихи Шиллера) задумывается, как ему вступить в «союз с землею».

Духовный учитель Алеши старец Зосима умирает, простирая руки, обнимая ими землю.

Интеллигентный Иван Карамазов тоже хочет упасть со слезами на землю, но не в России, конечно, а в Европе, на ее священные камни.

Экстатическую радость от жизни испытывает Иван Карамазов. Метафора «кубка жизни» носит вакхический характер. «Полюбить жизнь больше ее смысла!» (Это как бы вне христианства.) И это притом, что Иван не способен, по его словам, к межличностной любви: то есть даже у рационалиста дионисийский элемент порой превалирует над персоналистическим.

Целует землю Мария Лебядкина, наученная одной старицей, «живущей (в монастыре) на покаянии за пророчество». Очевидна параллель и с Алешей, и со старцем Зосимой. Хорошо известны фольклорные мотивы почитания матери-земли. Но произошло ли христианское осмысление этой реальности?

Даже у князя Мышкина дионисическая природа, но это «тихий, христианский дионисизм»¹².

Земля в понимании Достоевского – это ближайший космос, репрезентация и метафора космоса. Так происходит восстановление связи с космосом и с самой собой, с космическим началом в человеке. Этика и эротика с межличностного уровня переходит на вселенский. Воскресает платоновский Эрос, имеющий вселенское измерение. Все вновь становится живым.

Достоевский воспринимает христианство не только в привычной моральной плоскости, но и во вселенском масштабе, и здесь он мистик, библейски чувствующий связь человека с тварным космосом, землей, ибо сказано: «...возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах обратишься» (Быт. 3,19). Отсюда и «мать-сыра земля – Богородица», ее рождающее и погребаящее лоно (влияние также русских духовных стихов) – женское измерение бытия. Достоевский, гностик и экспериментатор, как бы проводит человека через премордиальную материнскую утробу первобытия, которая еще по ту сторону добра и зла, где еще нет дуализма духа и материи, где еще нет зла и морали, где есть Бог, но еще «все дозволено». Для Достоевского характерно континуальное-дискретное мировосприятие, взаимопревращение (трансформация) добра и зла, страдания и радости (ср.: евангельская притча о пшеничном зерне).

Но откуда берется иступление (экстаз) его героев? Иступление, которого «не надо стыдиться»? Откуда вообще берется радость?

Думается, что это генетическая память человека об утраченном рае и предчувствие возможности нового рая, обетование которого дает Библия. Не только мораль, но и новая онтологическая реальность.

Христианство придает античному представлению о человеке как микроскопе новую головокружительную высоту «образа и подобия Божия». Экстазы всегда чреваты деперсонализацией, но Достоевский ни на секунду не забывает о личности, ее уникальности. Экстаз, таким образом, сочетается с острым христианским персонализмом, которого не знало язычество.

Достоевский «впускает» природу с ее языческим дионисийством в христианство. Достоевский – не моралист и не только философ (хотя дает много для философии). Он – мистик, совершающий некий прорыв, некое богочеловеческое действие. Он – Гераклитова духа, он чувствует огненные вихри первостихий бытия, у него вихревая антропология (Бердяев). Достоевский как бы участвует в продолжающемся творении мира, в пробе разносторонних сил Бытия. Конечно, он – не учитель. За ним нельзя следовать, так как он идет по воде с непредсказуемым результатом. А этому нельзя научить и почти невозможно научиться. Поэтому и он сам в какой-то степени «по ту сторону добра и зла». Поэтому он любит предельного антиномиста «крестоносца» – атеиста-мученика Ставрогина. Ставрогин есть провал в бездну, к первоосновам бытия, которые, как онтологическая реальность, «по ту сторону добра и зла». Поэтому Ставрогин не подсуден человеческому суду (хотя и подпадает под прозаические статьи УК).

По ту сторону добра и зла?

Из-за образов трансформизма, текучести бытия, мистико-диалектической связи добра и зла можно ли заподозрить Достоевского в некоем смешении добра и зла, а значит, в отступлении от принципов христианства? Известно, например, что роман «Братья Карамазовы» очень критически был воспринят в Оптиной пустыни. Но вот вопрос: а знаем ли мы христианство, его бездонную глубину, его мистирию, его онтологические преобразования? Некоторые высказывания Христа с большим трудом поддаются толкованию. Проще всего свести христианство к морали. А ведь без этой неисчерпаемой глубины не было бы и нашей тяги к христианству. Не оказалось ли христианство редуцировано к только высокой морали?

Кроме того, Достоевский, как уже говорилось, – гностик и экспериментатор, у него иступленный интерес к человеку. Его интересуют не святые и грешники как таковые, а предельные состояния человеческой души. Нормативная этика ему не интересна. Отсюда его интерес к страданию. Достоевский ощущает всеобщую взаимосвязь всего со всем, своего рода архаическую текучесть бытия («таракан из детства», «игра в детском возрасте» – выражения И. Лебядкина). Он остро чувствует таинство, мистирию жизни: не случайно старец Зосима умирает «как пшеничное зерно», произведя «многие плоды» в душе Алеши – вселенский экстаз, радость и страдание вместе, причастность некоему мистическому центру бытия¹³, который оказывается... добрым (ср.: главная весть христианства: «Бог добрый»).

Иногда говорят, что «сверхидея» творчества Достоевского является христианское преобразование (обожение) человека. Обожение предполагает святость, нетленность, некоторую благодатную внутреннюю динамику. У Достоевского предстательно и пророческое (пророческое) – более динамическое измерение духовного начала. Так Достоевский распутывает первоузлы Бытия и делает пророческий шаг вперед. Ему «свойственна духовная революционность, безмерная свобода духа»¹⁴. Масштаб творчества Достоевского таков, что оценить качество его христианства нам не дано. Его художественному творчеству (и в этом его родство с пророчеством) претит любая предзаданность, программы и т.п. Достоевский погружает нас в мистирию жизни, в ее «святая святых», там, где кипят платоновско-гераклитовы эйдосы и токи жизни. Исход его романов непредсказуем.

На глубинном уровне противоречия между экстатической верой героев Достоевского и православием нет. С.Л. Франк писал о последнем романе Достоевского: «К своему последнему духовному завоеванию Достоевский был подведен своеобразной особенностью православной веры, которая достигает своего высшего развития в идее просветления мира, в ощущении божественности мира, несмотря на все его пороки и мучительную дисгармонию (которая является последствием первородного греха. – В.Н.). Религиозная истина заключается для Достоевского не в сентиментально-ханжеском малодушном нежелании видеть ужасающую силу зла в мире и не в мрачно-аскетическом удалении из этого жестокого мира, а в опыте упорного, полного любви, превозмогающего все несовершенства утверждения мира в его внутренней укоренности в Боге»¹⁵.

Выражение «христианский дионисизм» может показаться экзотическим. Но Достоевский берет человека во всей его полноте, как существо духовно-материальное. Более того, он почувствовал бесконечность человека по всем его измерениям, чего не знал XVIII век. Известен кризис гуманизма на рубеже XIX–XX веков. «Гуманизм должен либо окончательно погибнуть, либо воскреснуть в новой – и вместе с тем исконной и древней – форме – в форме *христианского гуманизма*, которую для современного человека открыл Достоевский»¹⁶.

Творчеству Достоевского свойственна «открытость бездне» (Г.С. Померанц), в глубине которой все-таки сияет свет Преображения Христова. Хочется в это верить.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. А. Кураев. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир. М., 2001.
2. Н.А. Бердяев. О новом религиозном сознании // Вопросы жизни. 1905. № 9. С. 157.
3. И что такое сердце милующее? – и сказал: «Возгорение сердца у человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи у человека источают слезы от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умаляется сердце его, и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварю. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред ежечасно со слезами приносит молитву, чтобы сохранились и очистились, а также и о естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его по уподоблению во всем Богу» (Исаак Сирий. Слово подвижническое. 48).
4. ПСС, Т.28, кн.1. С.176.
5. Н.А. Бердяев. Ставрогин // Философия творчества, культуры и искусства. Т.2. М., 1994. С.176.
6. Н.А. Бердяев. Мирозерцание Достоевского // Н.А. Бердяев. О русских классиках. М., 1993. С.138.
7. Там же, с.136.
8. Там же, с.138.
9. ПСС, Т.ХI. С.187-188.
10. Д.С. Мережковский. Толстой и Достоевский. СПб., 1909. С.36-37.
11. Попутно заметим, что на ментальном уровне Раскольников продолжал считать произошедшее с ним не грехом, а промахом (да и действительно, логика Раскольникова безупречна: одни убивают миллионы, и им ставят памятники, а другие «ломаются» на одном убийстве). Для Достоевского не приемлемо простое решение с, например, церковным покаянием Раскольникова. Вопрос остается открытым.
12. Н.А. Бердяев. Мирозерцание Достоевского. С.165.
13. Можно предположить, что Достоевский отчасти переживал сходные состояния перед самым началом эпилептического припадка.
14. Н.А. Бердяев. Мирозерцание Достоевского. С.208.
15. С.Л. Франк. Из духовной мастерской Достоевского // Франк С.Л. Русское мировоззрение. СПб., 1996. С.351.
16. С.Л. Франк. Достоевский и кризис гуманизма // Путь. 1931, №27. С.28.



Божий след в творчестве Достоевского

У Достоевского имя Бога не всегда высказано. Иногда оно скрыто в черновиках. Например, очень важная мысль: совесть – действие Бога в человеческой душе. Или в печати обрублен конец фразы: мир красота спасет; в черновиках – мир спасет красота Христа. Возможно, скрывается построение образа Мышкина: князь даже на прямой вопрос Рогожина, верует ли он в Бога, отвечает притчами. А может быть, сказался общий страх Достоевского «унизить идею», впрямую выставив свои самые дорогие убеждения.

Имя Бога легко произносят богоборцы – Раскольников, Кириллов – или наивные персонажи, для которых просто нет многовековых споров, связанных с попытками определить, что за этим словом стоит. Армейский капитан, упомянутый в «Бесах», наверняка ни о каких богословских и философских вопросах не думал. Бог для него был просто царем небесным. И он в полной душевной простоте сказал: «Если Бога нет, то какой же я капитан!» Чего, мол, тогда стоит мой чин, мое место в иерархии, если самого царя сбросили! Но за этим осознанным смыслом Достоевский вкладывал в его слова и смутный глубинный онтологический смысл (хотя, конечно, без понимания слова «онтология»). Если Бога нет, поколеблена иерархия глубин, полноты, весомости бытия – как в оде Державина: я раб, я царь, я червь, я Бог. Если вовсе нет Бога, то нет и божественного, вечного в человеке. Без Бога Кириллов мог бы обойтись, но без божественного в самом себе он падал, как песчинка, в бездну смерти вместе с мышами и кошками, которые этих мышей ловят. И этого он перенести не мог.

Наивно-образна и фраза Мити Карамазова, очень емкая по смыслу: «Бог с дьяволом сражается, и место битвы – душа человеческая». Наивное сознание прямо *видит*, созерцает то, о чем оно говорит, обходя туманные абстракции философов, обходя законы, о которых спорят ученые. И крестьянка, вспоминая Мышкину, *видит* Бога в улыбке своего младенца. За ее простым чувством стоит идея о вездесущности Бога, присутствующего в каждой человеческой радости и в каждом крике человеческой боли, и поэт именно это видит и чувствует в своих стихах:

Бога ударили по тонкой жиле,
По руке или даже по глазу, по мне.

Опыт истории за две с половиной тысячи лет показал, что понимание бесконечности Бога, понимание невозможности Его определить, вместить в какие-то слова, не мешает чувствовать Его как собеседника и устанавливает с Ним подобие переключки сердца с сердцем любящих, прижавшихся друг к другу.

Однако тот же Мышкин в разговоре с Рогозиным использует и другой прием: отрицать все попытки научно, рационально определить непостижимое. Этот прием много раз открывался заново, в том числе и в православии, и в католичестве. «Не то», «не про то», обращенное Мышкиным к логическим выкладкам атеиста, буквально повторяет «не это», «не это» в Брихадараньяке-упанишаде, созданной в VIII-VI веках до Р.Х. Так же старо открытие, что место глубочайшей святости – в сердце и там его в любой век можно открыть и заново найти слова для своего открытия (например, наша душа – христианка, говорил Тертуллиан).

Слова «мир красота спасет» стали неотделимы от князя Мышкина. Но еще в Индии в XI веке Абхинавагупта писал: чувство красоты подобно чувству Брахмана. И Раскольников, забредая на острова, вдруг чувствует, как пламя заходящего солнца зажигает в нем вспышку внутреннего огня, и все теоретические построения сгорают, как лист бумаги. И он вдруг освобождается от навязчивой идеи и дышит полной грудью...

Но он только мимоходом взглянул на закат. Он не вгляделся в закат долго, пристально, до глубокого следа в сердце. Впечатление на миг освободило его от навязчивости и расплылось в тучах, где вынашивалась теория. И тогда логика снова хватает за горло. Мысль о том, что истинно только строго доказанное, – один из величайших соблазнов. Наталкиваясь на Божий след в природе, логик сразу его теряет.

К этому следу чутки любимые герои Достоевского. «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?» – говорит Мышкин. Говорит, потому что видит красоту дерева до его божественного корня и в дереве ему открывается присутствие Бога. Так смотрит на закат Марья Тимофеевна Лебядкина, до слез счастья, до готовности целовать землю. Марья Тимофеевна живет в сказке, ей чувство красоты целого дано за счет способностей к рассудочному анализу, а Мышкин каким-то таинственным образом владеет развитием мысли до захватывающего красноречия и в то же время воспринимает жизнь поверх деталей и поверх мысли, в едином облике, где целое не складывается из частей, а, напротив, части вырастают из целого, как в импрессионистической картине или в живописи Дальнего Востока. Достоевский отдает ему свой дар гениального художника со всей чуткостью к Божьему следу и без тьмы страстей, затмевающей все. Этот образ отсылает нас на планету смешного человека, где совсем не было храмов, потому что живое чувство Целого вселенной было разлито в каждом и не было нужды напоминать о нем. Заглавная буква в слове «Целое» придает ему смысл бессознательно священного, как в раю, где всюду был Бог и нигде не было греха. И от этой очевидной, но не высказанной цельности – беззащитность во встрече с восстанием людских страстей, рвущих целое на части, неумение уходить от них в отрешенное созерцание. Мышкин – фигура фантастическая, во всей своей полноте – немислимая и в то же время реальная в самом глубоком смысле слова, как беззащитный зародыш совершенного, духовно могучего человека, *итога* истории.

Исторически реальны скорее юродивые: Соня, та же Марья Тимофеевна, в которой закат на озере остается, как стержень, вокруг которого выстраивается ее сказочный мир. В этой сказке сохраняется связь с глубинной реальностью, и она дает дурочке прямой взгляд в души людей, считающих себя умными, образованными, и с полным правом она говорит им: скучно вы живете...

В душе Раскольника отсветы Божьего следа сталкиваются с непомерным значением, которое он придает своей способности создавать и развивать теории; и только после мучительного опыта преступления его спасает любовь Сони, все терпящая, все прощающая, все согревающая своим теплом. И тогда он во сне видит то, что не видел умом, – кошмар всеобщей войны всех со всеми, фанатической захваченности теориями, идеями – и ненавистью друг к другу.

Теория Раскольниковова, сталкиваясь с видением, рушится, как рухнули марксистские теории после реального исторического опыта, однако возможен патологоанатомический анализ трупов. Ход мысли Раскольниковова, бредящего Наполеоном, предугадывает ход мысли Ленина: реальность наполеоновских войн освобождается от всех исторических подробностей, становится просто массовым убийством, так же как институт диктатуры в Риме становится абстракцией ничем не ограниченного насилия. На самом деле войны XIX века велись по известным правилам, были делом государственным и не личным произволом убийцы. Эти войны расшатывали культуру, но не разрушали ее, они были частью самой культуры. Монополию на убийство культура признает за государством и не вручает ее частным лицам, даже вооруженным передовой теорией.

К сожалению, тоталитарные государства XX века до того злоупотребили своей монополией, что принцип, доведенный до абсурда, был расшатан. Действия Гитлера оправдали попытку Штанфенберга убить фюрера. Участники заговора считаются в Германии национальными героями. Однако Эрнст Юн-

гер отказался от участия в заговоре по моральным соображениям: ему претила тайная подготовка убийства. Достоевский stalkивался с проблемой, несколько сходной: ему показалось, что он заметил след конспирации, возможно, связанной с подготовкой цареубийства. Цареубийство внушало ему ужас, но донос – еще больший ужас, и он ничего не сделал.

В моем опыте главные моральные трудности возникали именно в подобных случаях, когда принцип сталкивается с принципом, одна заповедь запрещает, а другая приказывает. Решение в таком случае возможно только интуитивно, по ту сторону принципов. Единственное общее правило дано здесь Августином: «Полюби Бога и делай, что хочешь». Сын Божий – господин субботы. Но решать приходится, не дойдя до этого уровня и даже не очень приблизившись к нему, беря на себя грех действия, когда бездействие становится еще большим грехом. Митрополит Антоний Сурожский приводил несколько случаев подобных нравственных перекрестков. В тексте романа «Преступление и наказание» был такой перекресток, но Достоевский устранил его по требованию Каткова как «пережиток нигилизма». Я думаю, там было нечто вроде «бунта» Ивана Карамазова. «Бунт» можно истолковать как оправдание революционного насилия. На это наводит восклицание Алеши: расстрелять! Но Алеша тут же берет свои слова обратно. Достоевский не хочет повторять опыт своей молодости. Иван Карамазов, искушавший Алешу, впадает в безумие.

Роман – не математическая теория, в нем нет однозначно доказанных тезисов, но творческая воля автора направлена к пути Христа, хотя бы и вопреки логике. Нравственная зрелость героя достигается приближением к пути Христа, чего бы это приближение ни стоило. Или же герой, задушенный страстями или задушенный абстракциями, гибнет.

Отступив от Божьего следа, герой чувствует боль в груди. Бог познается болью. Страдание от верности ложному принципу – один из постоянных приемов Достоевского, ведущих к Божьему следу.

Присутствие Бога, действие Бога невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Бесспорна только боль. И чувство боли снимается образом Бога, участвующего в нашем страдании. Это впервые было открыто в книге Иова – любимой книге Достоевского. Душа разверзается болью, и тогда она слышит Бога, и бесконечность, не имеющая границ, вдруг становится собеседником, и этот собеседник говорит с вами. То, что он говорит, непостижимо и не возвращает вам ваши потери, но каким-то образом оно возвращает вам смысл жизни. Слово Бог, которое произносит человек, «впавший в руки Бога живого», не означает никакого предмета. Это письмо от интуиции говорящего к интуиции слушающего. Оно доходит до читателя, втянутого в жизнь Мити, Ивана, Алеши, невольно захватывающую вместе со всеми их проблемами.

Злоупотреблять этой магией искусства в прозе нельзя, и Достоевский только изредка дает герою пережить ее. Чтобы отдалась этой магии целиком, надо целиком выйти из быта в сказку, жить в сказке, как Марья Тимофеевна. Основные герои «Бесов» живут вне сказки, одни – в мире поверхностного здравого смысла, другие – в мире взбесившихся принципов, вырвавшихся из своих гнезд в традиции и мчащихся в тьму кромешную. Но убийство Марьи Тимофеевны – начало общей катастрофы. Внутренний мрак побеждает свет с горы Острой, помутившийся разум Кириллова переходит в полное безумие, а Ставрогин, отвергнув путь покаяния, вешается. И за всем этим просвечивает мышкинское «не то», «не про то».

Можно было бы здесь говорить еще о подполье, о хирении на полпути к смерти скоростижной, как это назвал Майстер Экхарт, о сознании своего греха, невозможности исправиться и самоистязании. Но подполье была посвящена моя первая работа о Достоевском, написанная в 1938 году, и с тех пор я много раз к этой теме возвращался. Скажу только, что и подполье нельзя однозначно оценить. Это и патологическое состояние, и толчок к выходу из него, к преображению. Не случайно сразу же за «Записками из подполья» Достоевский пишет «Преступление и наказание».

«Над гробом друга / Нельзя на Бога не восстать...»

МОТИВЫ БОГОБОРЧЕСТВА И ПОПЫТКА ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
У ПОЭТОВ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Полторы строки, вынесенные в название, принадлежат Сергею Маковскому. Издатель блестящего, внутренне и внешне, «Аполлона» (кто держал журнал в руках, тот меня поймет!), европейски образованный литератор, фронт, когда-то заочно влюбленный в Черубину де Габриак, западник в России, почти славянофил в эмиграции, автор мемуарного двухтомника, в поэзии Серебряного века довольствуется вторым, а может, и третьим рядом. Однако аутсайдеры порой чеканят такие первостатейные афоризмы, которые годятся и для жизнеутверждающего застолья, и для торжественной эпитафии.

Да и что значит «рядность» в столь неуловимом, капризном, часто парадоксальном деле, как поэзия? Сочините по наитию несколько нетленных строк – и некая сила перенесет вас из последнего ряда или вообще с нулевого места в Царскую ложу... Кто написал «Чужой печали верьте, верьте! / Навечно пламя в хрупком теле. / Ведь только после нашей смерти / Нас любят так, как мы хотели»? Мне известны по меньшей мере два претендента на авторство. Одного из них, Дона Аминадо, называет в своих воспоминаниях Александр Бахрах. Другого, на сей раз даму, Екатерину Галати, Роман Гуль («Я унес Россию»). Речь – не об авторстве. Речь – о стихах, которые живут, не считаясь с тем, насколько имениты их создатели, по какую сторону географической или политической границы вдруг осенило песнопевца.

Точно выбитые на граните строчки: «Легкой жизни я просил у Бога – / Легкой смерти надо бы просить...» довольно долгое время приписывались Ивану Бунину. Только потом докопались: их автор – Иван Тхоржевский, один из лучших переводчиков Омара Хайяма.

Оба стихотворных примера – из области возвышенно-печальной. Как бы ни преуспевал в этой жизни человек, рано или поздно, как пыльным мешком по голове, его огреет мысль: а ведь это ненадолго, надо бы подготовиться. Но подготовиться – некогда! Да и непонятно, к чему: к уходу навсегда без надежды вернуться или к некоей трансформации своей личности, которая порой пугает даже больше небытия...

Смерть друга – частный случай смерти вообще, можно сказать, облагороженный случай. Не о своем изъятии из списка живых сокрушается поэт, а об утрате друга, о вечной, может быть, разлуке с ним. Правда, это не то, что «положить душу за други своя», но тоже что-то хорошее. Традиция оплакивания ушедших друзей, что навсегда свили гнездо в нашем сердце, в русской поэзии богата: начиная с державинской оды «На смерть князя Мещерского» и кончая плачами ровесников по безвременно ушедшему Борису Рыжему.

В моей последней книге «Ум ищет Божества» я отметила поразительное сходство, не только смысловое, но и ритмическое, в двух реквиемах по дорогим друзьям – Державина и Цветаевой. Оба не верят в смерть как окончательный уход. Но это не утешает, так как за гранью жизни начинается нечто постижимое...

У Державина:

Сын роскоши, прохлад и нег,
Куда, Мещерской! ты сокрылся?
Оставил ты сей жизни брег,
К брегам ты мертвых удалился;

Здесь персть твоя, а духа нет.
 Где ж он? – Он там. – Где там? – Не знаем.
 Мы только плачем и взываем:
 «О, горе нам, рожденным в свет!»

Полтора века спустя Марина Цветаева так же билась головой об стену (ритм передает эти удары), вопрошая пространство: «Где ты? Где сам? Где тот? Где весь?/Там – слишком там. Здесь – слишком здесь».

Смерть близких – всегда трагедия. Но «восстать» за это на Бога? Не чрезмерно ли?..

Широко известно, что Достоевский выводил из веры в Бога веру в личное бессмертие. Не целокупное бессмертие мировой души, а души отдельной, неповторимой, любящей и любимой. Сколько бы ни спорили на эту тему его герои, выражая каждый со своей стороны внутреннюю многоголосицу их создателя, сам он никогда не отказывался от выстраданного им постулата: бессмертие души и Бог – это одна и та же идея. Если нет ни того, ни другого, для чего тогда жить? Ведь это «неестественно, немислимо и невыносимо» («Дневник писателя»).

Если бы озарение Достоевского осветило темные закоулки нашего мозга, может статья, и история пошла бы по-другому? Ведь бессмертие, согласно Федору Михайловичу, не падает с неба, – только от личных усилий человека зависит его посмертный удел, его место в вечности! Можно рискнуть коротким сроком земной жизни, отдав ее прикровенному злу или – чаще – злу, замаскированному под добро. Но поставить на кон вечность? Бр-р-р! Кто из мыслящих умов захотел бы за грехи свои в свидригайловскую баню с пауками или на кладбище, где и за роковой чертой, отделяющей бытие от небытия, вечно продолжают земные дрязги и прочая пакость?..

Впрочем, оппоненты у Федора Михайловича находились всегда. Писатель и врач В.В. Вересаев писал: «Для Достоевского понятия «бог» и «личное бессмертие человека» неразрывно связаны между собою, для него это простые синонимы. Между тем связь эта вовсе ведь не обязательна...»

И в самом деле, логически одно из другого никак не вытекает!

Личного бессмертия жаждал Иван Бунин и... не мог в него поверить. Чрезвычайно целомудренный в отношении веры, он только стихам доверял сокровенное:

Есть ли тот, кто должной мерой мерит
 Наши знания, судьбы и года?
 Если сердце хочет, если верит,
 Значит – да.

Вера Николаевна Бунина, жена, посланная ему, по его собственному признанию, Богом, в своем дневнике более открыто говорит на эту шепетильную тему: «Ян верит, что существует нечто выше нас, но после смерти не будет личного воскресения, хотя он страстно желал бы этого: «Ведь я не верю в смерть».

Она же без комментариев передает его насмешливую реплику по адресу Дмитрия Сергеевича Мережковского, который был абсолютно убежден в своем бессмертии и как-то раз в общей беседе выразил уверенность, что «за миром явлений» его душа будет вместе с Лермонтовым: «...Ян, улыбнувшись, сказал: – У него плохой характер».

Нет, в богоборцы великого писателя земли русской (Бунину эта пышная формулировка подходит, как мало кому!) решительно нельзя записать. И у него характер был не сахар, и он восставал против того, что считал античеловеческим, несправедливым, не соответствующим высокому призванию хомо сапиенс. Но у него было то, что можно назвать врожденным чувством иерархии. Его гнев и даже ярость могли обрушиться на любого двуногого представителя тварного мира – но не на Создателя.

В молодости он охотно делил простую веру, приятие христианского обряда, торжество церковного праздника с «усталым, кротким братом» – сельским крестьянином. Вот концовка стихотворения «Троица»:

Ты нынче с трудовых засеянных полей
 Принес сюда в дары простые приношенья:
 Гирлянды молодых березовых ветвей,
 Печали тихий вздох, молитву – и смиренья.

В зрелости, пережив и утрату родного очага, и смерть близких, и горькую любовь, пересказывал, близко к тексту оригинала, Откровение Иоанна:

Воистину достоин восприяти
 Ты, Господи, хвалу и честь и силу
 Затем, что всё Тобой сотворено
 И существует волею Твоею.
 («Из Апокалипсиса»)

В годы гражданской смуты под его пером рождается «Вход в Иерусалим», где за отталкивающим портретом мстителя-калеки – символа «кровавого пира для всех обойденных судьбой» следуют почти евангельские строки:

И ты, Всеблагой,
 Свете тихий, вечерний,
 Ты грядешь посреди обманувшейся черни,
 Преклоня свой горестный взор,
 Ты вступаешь на кротком осляти
 В роковые врата – на позор,
 На проклятье!

Вера его глубока, но стихам не хватает эффекта присутствия Высшей силы в жизни самого поэта.

Достоевского Бунин не любил, даже грозился *разоблачить* его, но, очевидно, высокие деревья, что далеко разошлись у корней, сближаются в вышине.

Одно из последних стихотворений Бунина (1952), при яркой изобразительности, вдруг проникается духом нелюбимого предшественника. Сначала оно может смутить будто бы утратой ценнейшего чувства: несоизмеримости Творца и твари:

Ледяная ночь, мистраль
 (Он еще не стих).
 Вижу в окна блеск и даль
 Гор, холмов нагих.
 Золотой недвижный свет
 До постели лег.
 Никого в подлунной нет,
 Только я да Бог.
 Знает только Он мою
 Мертвую печаль,
 Ту, что я от всех таю...
 Холод, блеск, мистраль.

Бунинские стихи не нуждаются ни в моей, ни в чьей-либо еще защите. И все-таки выскажу свою точку зрения: 82-летний писатель, нобелевский лауреат, эмигрант, исторгнутый на всю вторую половину жизни из родной стихии, мысленно был, когда подступили к горлу эти стихи, уже в иных сферах, у престола Всевышнего. Один шаг оставался до перехода *туда*, до страшного судилица Христова, до личного бессмертия, в которое он не верил, но жаждал поверить... Вот откуда это «только я да Бог»...

Пожалуй, самый тревожащий воображение представитель младшей после революционной эмиграции Борис Поплавский – в большей степени сам герой Достоевского, чем многие его коллеги. Мир, где он обитает, подобен тонущему «Титанику»:

Мы погибали в таинственных южных морях,
 Волны хлестали, смывая шезлонги и лодки.
 Мы целовались, корабль опускался во мрак.
 В трюме кричал арестант, сотрясая колодки.

Несколько лет назад найдены были стихи и поэмы Поплавского, которые считались пропавшими навсегда. Если раньше этим сверходаренным поэтом и мыслителем занимались только зарубежные исследователи и издатели, то теперь он возвращен, наконец, России. «Автоматические стихи» Б.П. вышли в 1999 году в Москве, в издательстве «Согласие». Автор вступительной статьи Елена Менегальдо, прослеживая путь поэта от футуризма к сюрреализму, погружается сама и нам позволяет войти (или выйти) в открытый космос его визионерского мира. Нет, в нем не только причудливые, изломанные линии, как будто перешедшие с его же ранних живописных работ. Не только отражения отражений. Тут есть кое-что и по нашей теме:

На железной цепи ходит солнце в подвале
Где лежат огромные книги
В них открыты окна и двери
На иные миры и сны
Глубоко под склепом, в тюрьме
Под землю служат обедно
Там должно быть уж близок ад...

Что это? Новые «Записки из подполья»? Репетиция скорого собственно ухода?..

Еще цитата:

Умершим легко – они не знают
Не читают писем и газет
Смотрят на таинственную лодку
Отвечают голосам
Умершим сияющим часам
Время яркий подымает флаг
Над темным камнем –
Река лазури
Не надо счастья
Я все забыл.

Обычно по ступенькам поднимаются куда-то. К новому смыслу. К новому ассоциативному повороту. Читая «Автоматические стихи», каждой ступней и корпусом тела чувствуешь спуск. Все ниже и ниже:

Песню о чуде
Забудь, забудь
Христос, к Иуде
Склонись на грудь
Лето проходит
Сумрак дождя
Сон о свободе
А погода
Песню о чуде
Забудь, забудь
Сдайся Иуде
Иудой будь.

Это уже очень серьезно. Впрочем, у Поплавского все серьезно. Он не играет. Не подыгрывает. Через него говорит нечто огромное, неподвластное людской воле. Он бы и хотел не поддаться этой темной мощи. Не-воз-мож-но! Приходится уступить...

«Я никогда не сомневался в существовании Бога, но сколько раз я сомневался в моральном характере его любви, – цитирует А.В. Бахрах в своих мемуарах «По памяти, по записям» дневник тридцатидвухлетнего поэта, посмертно изданный за границей друзьями. – Тогда мир превращался в раскаленный, свинцовый день мировой воли, а доблесть в сопротивлении Богу – в остервенение стальной непоколебимой печали». Автор воспоминаний, признанный дока в литературе Русского зарубежья, с трудом может поверить, что в свой последний вечер (далее цитирую А.В.Б.): «...в дрянненьком парижском отеле он мог еще думать о Кириллове из „Бесов“».

Два неприевшихся выражения останавливают внимание читателя в признании Поплавского: «раскаленный, свинцовый день мировой воли» и «доблесть в сопротивлении Богу»...

В Евангелии слово «мир» (через «и» с точкой) – место мало почитаемое. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей; Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира (сега)», – говорит апостол (1 Ин. 2, 15-16).

Это, безусловно, программа-максимум, и следовать ей могут только святые. Но совершенно сбрасывать ее со счетов не стоит. Индикатор истины, встроенный в человеческую душу, делать этого не велит.

Раз есть Божеская воля, значит, есть и мировая воля, и они противостоят друг другу. Эпитеты Поплавского к *дню мировой воли*: «раскаленный, свинцовый» не оставляют сомнений в его внутреннем отталкивании от знакомого многим утонченным натурам властного наваждения. В эмиграции, где на каждый квадратный метр свободной интеллектуальной площади приходится слишком много пришлых насельников, бытие раскаляется и утяжеляется, знаю по себе.

Судя по всему, в «дряньненском парижском отеле» поэт совершил над собой то же, что помянутый выше Кириллов – сначала в воображении автора «Бесов», а потом – в романе... Самоубийство – тоже восстание против Создателя. Возможно, самая изощренная форма хулы на Бога.

Вообразим весы. На одной чаше то, что поэт называет «доблестью сопротивления» Высшему началу. Крайняя и бесплодная форма выражения своего несогласия с уродствами мира давно и талантливо романтизирована и в чад «болей, бед и обид» (как тут не вспомнить Маяковского!) может предстать затуманенному взору «доблестью». А что же на другой чаше? Что способно перевесить первую?

Может быть, *усилье* веры? «От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11-12). Слова эти цитируются редко. Они как бы противоречат принципу свободы, от которой все мы без ума. Мне кажется, из поэтов первой волны русской эмиграции последовала им не на листе бумаги, а на своем персональном листе в Книге Судеб Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, мать Мария, чей подвиг защиты гонимых ценой собственной жизни увековечен в Яд-Вашеме, израильском музее Холокоста. Ее вера не была столь безукоризненной, как может показаться. Есть немало стихов, где она вопрошает Бога, как же Он допускает такой разгул зла на земле, чего ждет от предавшихся Ему, если их вера бессильна: «Что ответим? – Что можем ответить?/Только молча мы ниц упадем/Под ударом карающей плети,/Под свинцовым, смертельным дождем...»

Опять «свинцовый»! У Поплавского «день», у Кузьминой-Караваевой «дождь». Эпитет один, а векторы судеб расходятся на все сто!

Если поэт не впитал веру с молоком матери, если, не будучи тверд духом, разменял ее на разные «но» («я верую, но...»), его подстерегают всевозможные чудища духовных соблазнов. У каждого поэта свои соблазны, однако наличествуют они обязательно: ведь темные духи любят податливую, рафинированную материю, предпочитая ее *непроницаемой для них*, как выразился священник Александр Ельчанинов, *телесности*...

И мать Мария, поэтесса-монахиня, не избежала соблазнов. Но в свой Судный час отдала жизнь не на потеху бесам (так люди верующие аттестуют самоубийство), а подарила ее другому человеку. Она не обобщала в поэзии свои религиозные эмоции, потому что была гением поступка, а не слова. А вот Борис Пастернак, побывавший коротко в полуэмиграции, прорепетировавший ее, как в юные годы любимую девушку – всю «от гребёнок до ног», – уже дома, давным-давно вернувшись из когда-то любимой, но неизнаваемо новой Германии, ненасильственно вплел в стихотворение «На Страстной» (1946) евангельское слово «усилье»:

Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

Думаю, Достоевский согласился бы с этими строками родившегося через десять лет после него великого русского поэта («русскоязычного» – здесь звучало бы бездарно!).

От Раскольников к Смердякову

ДВА ЗАКОНА ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Ф. ДОСТОЕВСКОГО

Под философской антропологией понимается взгляд писателя на человека, выводимый не из его прямых высказываний (статьи, публицистика), но из художественного творчества. Достоевский особенно предрасполагает к такому антропологическому анализу. В юности он сам назвал свою главную тему в письме к старшему брату от 16 августа 1839 г.: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать... я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».¹

Один из персонажей «Бесов», Кириллов, говорит: «Теперь человек еще не тот человек. Будет *новый человек* (здесь и далее жирный курсив в цитатах мой. – В.М.), счастливый и гордый <...> Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога... до перемены земли и человека физически».

Мысль о новом человеческом типе особенно заняла Достоевского после омской каторги. Суммируя впечатления от нее, он пришел к выводу о ложности социализма, которым до каторги увлекался, вспоминая в «Дневнике писателя» за 1873 г.: «Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма». «Я уже в 46 году был посвящен во всю правду этого «грядущего обновления» мира и во всю *святость* будущего коммунистического общества» (здесь и далее в цитатах курсив Ф.М. Достоевского. – В.М.).

После острога писатель отвергает «весь этот мечтательный бред радикально, весь этот *мрак и ужас*, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения...». Острог надоумил: человек – существо абсолютно индивидуальное, потому нет социального средства решить проблемы *индивидуального* бытия, к тому же недоступные рациональной логике, что уж говорить о разумном *общественном* порядке.

Недоверие к обновлению мира с помощью разных социальных проектов выросло из убеждения, окрепшего в остроге: зло (в том числе бедность, имущественное неравенство, несправедливость), от которого якобы избавит будущее коммунистическое общество, неискоренимо, ибо свойственно природе человека, как и добро. Добиваться уничтожения зла можно лишь путем тотального принуждения, поскольку обновители мира берутся за принципиально неисполнимое дело. Насилие будет сопровождаться столь же всеобщей ложью, назначенной оправдать заведомые неудачи эксперимента.

Но что же делать, чтобы изменилась действительно невыносимая жизнь? Послекаторжное творчество Достоевского является развернутым ответом на едва ли не основной, считал писатель, вопрос бытия. Содержание этого ответа я и рассматриваю в качестве философской антропологии.

Герой «Записок из подполья» спрашивает: «И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно выгодного хотения? Человеку надо – одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела».

В «Преступлении и наказании» Раскольников оправдывает эту антропологическую характеристику, имеющую у него социальное содержание, ибо герой убежден, что окружающий мир никуда не годен, его надо изменить. «Я не тебе поклонился, – говорит он Соне, – я *всему страданию человеческого поклонился*». Художественная идеология книги позволяет утверждать: Раскольников задумывается о социализме – обновлении мира, за что писатель и пошел в острог. В романе бывшие социалистические упования автора подвергнуты художественной критике,² которая допускает сформулировать первый закон философской антропологии Достоевского: зло наравне с добром присуще человеку, поэтому на земле невозможно Царство Божье (социализм): тот, кто хочет его установить, оказывается палачом во имя счастья. Социальная несправедливость – лишь внешнее, *историческое* выражение зла, а не его причина, и вся надежда на то, что человек сможет преодолеть зло в себе самом. В предназначавшейся для 3-й части «Бесов» 9-й главе «У Тихона» Ставрогин говорит: «Я всегда господин себе, когда захочу... Ни средой, ни болезнями безответственности в преступлениях моих искать не хочу».

Писатель был противником доктрины: исправьте внешние условия – исправится человек. Над этими убеждениями потешается Разумихин в «Преступлении и наказании»: «Я тебе книжки ихние покажу: все у них потому, что «среда заела», – и ничего больше! Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и все преступления исчезнут... и все в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет. <...> С одной логикой нельзя через натуру перескочить!».

Из философской антропологии романиста следует: человек должен стать иным, тогда, не исключено, изменится и общество. Об этом говорит Зосима («Братья Карамазовы») в одном из своих поучений: «Чтобы переделать мир по-новому, надо, чтобы люди сами психически повернулись на другую дорогу. Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства».

Говоря схематически, Раскольников придерживается первого взгляда («среда заела») и как персонаж соединяет черты Базарова и Чернышевского повествователя в романе «Что делать? Из рассказов о новых людях». Эта идеология повлияла на решение Раскольникова убить процентщицу, чтобы испытать, годится ли он на роль социального вождя-реформатора, сумеет ли пренебречь одною ничтожною жизнью ради грядущего блага человечества?

Такое мировоззрение опровергается философской антропологией Достоевского, и упомянутый первый закон можно дополнить: логика *блага человечества* (Царства Божьего, братства), искренняя или демагогическая, *всегда* ведет к усилению зла, ибо в расчет не берется индивидуальная жизнь (сначала сделаться в самом деле всякому братом). Вот почему социализм (обновление мира) обернется массовым палачеством. Об этом, в частности, свидетельствует *второе* убийство Раскольникова – Елизаветы, а поскольку та была беременна, то и *третье*.

Некогда исследователь писал: «Фундаментальное расхождение Маркса и Достоевского состоит в диаметрально противоположных взглядах на будущее социализма. Маркс рассматривал радикал-социализм как единственное средство разрушить капиталистическое рабство и уничтожить (*d'élimer*) все несчастья, организуя общество на коммунистической основе». «Достоевский думал, что борьба за социализм для предоставления массам удовлетворительного социального порядка происходит из-за того же фатального материалистического духа, который вел от либерального капитализма к обогащению. ... Он чувствовал, что социализм – последний шаг к катастрофе, которую пригрозил капитализм».³

Чтобы избежать катастрофы, чтобы изменилась негодная жизнь, надо переродиться человеку, стать *новым* (об этом рассуждал и Чернышевский в романе, но предлагаемые средства обновления совершенно не считались с натурой человека), а это зависит от него самого, а не от общества, – вот разгадка тайны, пусть перемена человеческого типа, при всей желаемости, про-

блематична. Об этом, полагаю, написан роман «Идиот»: его главный герой кончает крахом и сходит с ума.

В художественно-философской антропологии писателя это может означать, что бытие антиномично; что основной вопрос – об источниках, причинах зла в мире – не имеет решения, хотя его нельзя не искать. Князь Мышкин не выдерживает жизни в антиномичном мире и хочет бежать: «Ему вдруг ужасно захотелось оставить все это здесь, а самому уехать назад, откуда приехал, куда-нибудь подальше, в глушь... Он предчувствовал, что если только останется здесь хоть еще на несколько дней, то непременно втянется в этот мир безвозвратно, и этот же мир выпадет ему на долю».

«Втянется в этот мир безвозвратно...» Достоевский предупреждает, что намерение, во всем противоположное замыслам Раскольникова, – изгнать зло в себе самом, а не из мира, может не дать результата, из чего не следует, согласно философской антропологии, что не должно сопротивляться злу. Должно – в этом состоит долг индивидуального бытия: противостоять злу, сознавая, что ты можешь проиграть; что индивидуально скорее всего проиграешь, социально же – всегда проигрешь.

Позднее Иван Карамзев скажет: «Если Бога нет, все позволено». Мысль ошибочная. Как раз потому, что бога нет, позволено не все – нет возможности исправить: отомстить, покаяться, надеясь на прощение. Федька Каторжный («Бесы»), обокрав икону Богородицы, утешает себя тем, что похищенные им иконы жемчуга – это слезы, которые Богородица проливает о его злодеянии. В «Идиоте» князь Мышкин рассказывает Рогожину историю: одному крестьянину так понравились часы другого, что он «взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился, проговорив про себя с горькою молитвой: «*Господи. Прости ради Христа!*» – зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы».

Тот, кто вопреки неразрешимости *онтологической* проблемы возьмется ее решать как социальную, вызовет неисчислимые жертвы. Но и это не все – перехожу ко второму закону философской антропологии – произойдет *понижение* человеческого типа, и одна из важных причин состоит в том, что идея *свободы* уступит идее *равенства*, а оно приведет к еще большему злу, ибо человек станет расплачиваться своей индивидуальностью; из *сверхчеловека*, о котором мечталось, опустится до *недочеловека*.

Похожая ситуация представлена в «Бесах», где Петр Верховенский комментирует систему Шигаева: «Он предполагает... разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать». «У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высший уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!» «Мы всякого гения потушим в младенчестве».

Позже об этом скажет О. Мандельштам в стихотворении «Ламарк» (1932), но уже не как о проекте, а как очевидец выполнения этой программы:

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольцецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей. <...>

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,

Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет – ты зришь в последний раз.

Он сказал: довольно полнозвучья,–
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.

Понижение человеческого типа как неизбежный результат равенства, без которого невозможно Царство Божье на земле, и есть второй закон философской антропологии. Об этом свидетельствует фигура Смердякова в «Братьях Карамазовых».

В разговоре с Алешей Иван произносит: «Я не бога не принимаю (он сверх моего эвклидовского ума, говорил он перед этим, и потому я охотно согласен с богом. – В.М.)... я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю...».

Не о боге речь, есть он или нет, Иван готов его признать; речь идет о мире, плохо устроенном, Иван (как Раскольников, Мышкин) обеспокоен безблагодатностью мира. Смердяков же понял его узко (ибо это соответствовало его натуре), как если б Иван отрицал бога и поступил в соответствии со своим узким, мещанским понятием. Он – мещанин чистой пробы, поскольку не взволнован метафизической стороной человека; не озабочен мыслью о том, как устроен мир. Его занимает другое: как ему устроиться в мире, каков бы тот ни был.

Иван говорит: *без бога нет добродетели* (и в этом ошибается), Смердяков же слышит: *нет бога и нет добродетели*. Для Ивана мир без гармонии негоден, а Смердякову хорош любой мир, где ему хорошо. Он убивает себя, когда Иван обещал рассказать на суде все, что узнал о смерти отца. К тому же Иван сам не уверен, что все позволено, Смердяков это видит, а ему нужна опора в чужой мысли (независимо от ее содержания), это освобождает от *личной ответственности* – вот в чем состоит понижение человеческого уровня.

Смердяков отдает деньги и кончает с собой. Что он без денег? Ради них все затеяно и рассчитано не хуже Раскольникова. Но у того убийство – только первый шаг, а у Смердякова – единственный. Раскольников убивает, чтобы испытать себя ради великой идеи: готов ли он изменить этот дурной мир? Смердякову же кроме денег ничего не надо. Мысль Ивана о свободе он превращает в мелочную лавку, которую хочет купить на деньги убитого.

Но в этом виноват Иван с его пафосом переустройства мира (не бога не принимаю и т.д.) – вот почему он считает истинным убийцей отца себя, еще до того, как узнал об этом от Смердякова. Тот рассказал ему: «Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве или пуще того за границей, такая мечта была-с, а пуще всё потому, что «все позволено». Это вы вправду меня учили-с, ибо много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. Так я и рассудил».

Рассудил, конечно, Иван, а Смердяков лишь взял из его суждений то, что *понял*, а понял то, чего давно хотел (чтобы ему одному хорошо жилось), и потому мысль Ивана взял не целиком (на это не хватило ума, еще бы, тип-то человеческий понизился!), а отбросив «*ненужное*».

« – А теперь, стало быть, в бога уверовал, коли деньги назад отдаешь?

– Нет-с, не уверовал, – прошептал Смердяков.

– Так зачем отдаешь?

– Полноте... нечего-с! – махнул опять Смердяков рукой. – Вот вы сами тогда говорили, что всё позволено, а теперь-то почему так встревожены, сами-то-с?»

Смердяков – мещанин и потому трус, нравственная пустота, у него нет мысли, которой он дорожил бы больше жизни, как Иван, у него только логика, необходимая для внятного оправдания *любых* поступков. Что есть что-то,

чего *нельзя делать*, этого Смердяков не допускает. *Можно все*, было бы логическое обоснование. Лишившись его, он потерял опору на логику и потому испугался – и только: вот причина его самоубийства.

Спустя несколько десятилетий антропологические пророчества Достоевского подтвердились, в частности, повестью М. Козакова «Мещанин Адамейко» (1927). Автор открыто использовал мотивы «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых», соединив в главном персонаже, Ардальоне Порфирьевиче Адамейко, черты Раскольникова и Смердякова.

Герой рассуждает: «Там, где *пьяник* в руках, – там справедливость в козырях не ходит! Это вам вопросик и не молодой и не маленький... Возраст ему, может, от самого Рождества Христова считать нужно, и вопросик по эту мину-ту – самый главный. Кровоточащий – как рана!»⁴

Окарикатурены аргументы Великого инквизитора из поэмы Ивана: «А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в *хлебы*, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное...»

Действительно, не о справедливости речь, не о свободе, а о хлебе, о равенстве, но когда так, это, по словам Алеши, грозит порабощением, «будущим крепостным правом».

Собеседница ничего не ответила герою М. Козакова, только спросила о новостях. «Есть новость, – отозвался Адамейко. – *Людей резать будут*, потому что необходимость такая...» «В революцию в мало-мальски живой предмет штыком тыкали, пулеметами целые армии распотрошили, справедливость в каждый суп, что называется, жирным куском пообещались положить, *ради этого*, как говорится, *кровь с усердием проливали*, – а дикое-то мясо человеческое в сторонке и забыли! Вот это и есть настоящая несправедливость...»

Она, полагает уродливый симбиоз Раскольникова и Смердякова, состоит в том, что не все доросли до справедливости. А таким и жить ни к чему: «Вот бы все это «дикое мясо» собрать да под одну пулю подставить, а блага, что после них останутся, употребить на пользу обиженных жизнью...»

Очень близко взглядам Шигалева в изложении Петра Верховенского. Адамейко находит единомышленника, и тот, проникшись его мыслью, убивает вдову, которая сужала деньгами жену героя – нарочитая параллель со старухой-процентщицей из «Преступления и наказания». Убийство раскрыто, и повесть оканчивается судом над сообщниками.

Книга М. Козакова – первое и пока единственное в послереволюционной литературе сочинение, применившее художественную логику Достоевского, чтобы изобразить неуклонный процесс деградации человеческого типа, если признать нравственные качества антропологическим признаком.

Мещанин Адамейко – новый шаг *вниз* после Смердякова. Мещанское, недочеловеческое явилось основным в человеческом типе, ибо такой однородно мещанской Россия прежде все-таки не была. «Новый я человек и... революционный даже, заметьте, – вот что! <...> Простого и серого, как арестантский халат, я сословья... группы: мещанин – вот что!.. А нелюбовь моя самая настоящая – к мещанину и есть только! <...> Вот сказали вы – «опасный человек». А кому именно? <...> Тому опасным можно быть, кого на голову перерос...»

Сверхчеловечество Раскольникова было условием всечеловеческого, а сверхчеловечество Адамейко – агония человеческого, компенсация собственного ничтожества.

Один из героев повести Э. Лимонова «Подросток Савенко» (1983) говорит, «что уже с год у него есть забавное желание убить кого-нибудь, ему хочется попробовать, что это такое – убить человека».⁵

Оказывается, Смердяков – не последняя ступень упомянутой агонии, можно спуститься и ниже: убить, чтобы попробовать, и только.

Русские мыслители, своими глазами наблюдавшие послереволюционную Россию, единодушно заговорили о прогрессирующем развитии недочеловеческого типа. В. Ильин писал: «Революция в обычном смысле слова, та, которую обличил и пригвоздил Достоевский, не только не дает ничего нового, но она *отнимает и все то хорошее, что было раньше, все то, что человека питало духовно*

и телесно». «Достоевскому несколько раз удавалось изобразить шабаш революционных ведьм и чертей, но, кажется, глава «У Наших» в «Бесах» удалась ему лучше всего именно по изображению *застойной скуки*».⁶

Скука есть сущность того нового человека, о котором твердили советские идеологи. Причина скуки понятна, об этом писал и переписал Достоевский, таково содержание законов его философской антропологии: упрощение внутренней жизни, исчезновение из нее того, что делает человека человеком, – индивидуального стремления превзойти то, чем ты являешься в каждый текущий момент обыденности; выход к каким-то еще не ведомым тебе личным горизонтам. Для этого и нужна свобода, но ей предпочли и предпочитают равенство в интерпретации Верховенского: «Не надо высших способностей», «наступает глухота паучья».

Спорить не о чем – подобная психология существовала всегда. Но Достоевский предвидел, что революционизм (Царствие Небесное на земле, «братство прежде брата») способствует распространению такой психологии, превращает ее в массовое явление: происходит понижение человеческого типа, а коль скоро люди сопротивляются, то происходят и массовые истребления, пока не исчезнут высшие способности. Но что сказать о будущем народа, если такой человеческий тип станет преобладающим?

И здесь необходимо прибавить. Исследователи у нас и на Западе не раз обращали внимание на прогностику Достоевского, не задерживаясь на том, что его прогнозы строились из современного ему материала. Конечно, Раскольников и Смердяков – полярные типы, но это полюсы *одного*, так сказать, магнита. Порча человеческого типа началась задолго до мещанина Адамейко, и эта историческая давность наталкивает на мысль, что скорее всего никакой порчи *не было*, а когда так, не надо обладать особым прогностическим даром, достаточно попросту изобразить окружающее, и ты «угадаешь» на столетия вперед.

Если это справедливо, то ложны качества, которые Достоевский приписывал русскому народу как отличающие его от прочих народов Европы, – всемирность и всечеловечность. Из «Дневника писателя» за 1876 г.: «Загорелось село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли».

Да, скажут, кабак отстояли, зато всемирность и всечеловечность. На это ответу: кабак – реальность, а всечеловечность, как бы ни была хороша, – фикция, мозговой фантом, своего рода психологическая компенсация за вполне реальный кабак, предпочтительный церкви. Не было, полагаю, да и нет никакой всемирности и всечеловечности, а еврейские погромы в начале XX века, десятилетия коммунистического террора – это было, и это нужно держать в уме, иначе всегда будем иметь дело с мозговыми выдумками, а не реальностью.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Все цитаты приведены по изданию: Ф.М. Достоевский. Собрание сочинений в пятидесяти томах. Л. – СПб.: Наука, 1988–1996.
2. Подробно рассмотрел это в статьях: Лейбниц и Достоевский: теодицея и эсхатология. / Dostoevsky Studies. The journal of the International Dostoevsky Society. New Series. Volume VIII, 2004. Раскольников и Мышкин. // Вопросы литературы, 2005, № 3.
3. René Fulöp-Miller. Dostoievski. L'intuitif, le croyant, le poète. Traduit de l'anglais par Louise Servicen. Edition Albin Michel. Paris, 1954, pp. 171, 172.
4. М. Козаков. Избранное. – М.: Гудьял-Пресс, 2002.
5. Эдуард Лимонов. Русское. – М.: Ad marginem, 2005, с. 248.
6. В.Н. Ильин. Достоевский и Бердяев, 1923. В кн.: Эссе о русской культуре. – СПб.: Акрополь, 1997, с. 429-430. В цитатах курсив автора.

Анна САМУСЕНКО

Не столько книжный, сколько летний

В сентябре, когда уже прошла XX Московская международная книжная выставка-ярмарка, когда отгремели все крупные литературные презентации и знаковые встречи, проходившие в павильонах ВВЦ, любопытно было бы оглянуться назад и вспомнить другое книжное событие, прошедшее в июне. Событие, предложившее совсем иной взгляд на книгу, – Второй Московский международный открытый книжный фестиваль.

Пестрым и показательным получилось это событие. Оно принесло с собой немало радостных моментов и вместе с тем оставило некое гнетущее сомнение. Однозначно определить это мероприятие не получилось. Что это? Действительно ли фестиваль, изменивший привычные представления о «книжном» форуме, или еще не отточенная временем идея, отличающаяся из-за начального этапа развития излишним размахом и всеядностью?

«Много – не мало», – убежден всякий организатор и потому предлагает все, что может заинтересовать. В случае ММОКФ – самые разные формы проведения досуга, которые как-то можно связать с книгами. Программный директор фестиваля Александр Гаврилов еще раз напоминает: «Книга пронизывает все этажи культуры». А значит, повествует обо всем. О еде, о других странах, о спорте, о жизни замечательных людей. Все это можно продемонстрировать, обсудить с автором. А кроме того, ее, книгу, можно петь, играть, рисовать. А можно и не ее. Так – показать, что рисуют известные писатели, или предложить им поделиться своими музыкальными предпочтениями, или порадовать и писателей, и посетителей интересной анимацией разных направлений и национальных школ. Все будут только рады. И никто не спросит: «А какое это имеет отношение к книгам?»

Даже если напрямую никакого отношения к литературным текстам подобное мероприятие иметь не будет, все будет знать, что проходит оно в рамках «книжного» фестиваля. И если акция понравится, то и о литературном форуме останется хорошее воспоминание. Это обеспечит «узнавание» Открытому книжному (что весьма важно в условиях сосуществования множества самых разных фестивалей в жизни столицы) и в то же время – потенциальный интерес к книге как таковой. То есть в данном случае замутнение чистоты жанра, добавление примесей оказывается несомненным плюсом. Кино-, арт- и музыкальные дополнения лишь ярче оттеняют литературу. Организаторы в этом уверены. Да в целом так и получается. Лишь отдельные акции совсем не ассоциируются с книгами, а потому порождают недоумение. Концерт британской группы Gamine, исполняющей баллады в непривычной нынче музыкальной стилистике, или кинопрограмма «Москва во времени», представляющая изменения столицы за прошедшие 80 лет. (Оба события не имеют никакой связи с литературой, если, конечно, не принимать во внимание те факты, что тексты песен – тоже словесность, а изменения Москвы всегда отражались и в произведениях писателей.) Что это – новая форма бытования книги – ее содержание – или очередной элемент привлечения внимания?

А вот бесспорно новыми формами существования литературы как вида искусства становятся выступления Родольфа Бюрге и Оливье Кадио, смешивающих рок и философию, Dj Spooky, читающего лекцию по собственной книге «Наука звука» с видеопроекцией и концептуальным музыкальным сопровождением, или лекция с танцами («музыкальный доклад») писателя Томаса

Майнеке. Мультимедийные проекты или акции на стыке литературы, музыки, артперформанса – явная примета времени. Текст, как очевидно, давно уже не самодостаточен. Его непременно нужно дополнять. Поэтому активно развивается такое явление, как видеопоезия. Кстати, именно с ней и связано наиболее точное представление о духе самого Открытого книжного. По тому же принципу, в соответствии с которым фестиваль видеопоезии «ЗРЯ!» представляет стихи, дополняя их видеоиллюстрациями, работает и сам форум.

Фестиваль интенсивно развивает жанр литературного аттракциона. Здесь готовят блюда, упоминаемые в произведениях Исаака Бабеля, Николая Гоголя или Ярослава Гашека (литературно-кулинарные перформансы «Съешь Бабеля/Гоголя/Гашека!»), учат правильно заваривать чай (выступление Бронислава Виноградского, автора книги «Путь чая»). На фестивале предлагают ролевою игру «Дневной» и «Ночной» дозоры, работают непосредственно с посетителями в рамках мастер-класса в области каллиграфии, иллюстрирования текстов и сочинения стихов. Все это, однако, и есть полноценная жизнь книги. Она становится предметом обсуждения, чтения, осмысления, а значит, живет. Чему прежде всего способствует формат события – фестиваль, то есть свободный праздник людей, объединенных вокруг книги (так по крайней мере определили форум организаторы). В этом, несомненно, отличие фестиваля от ярмарки или выставки. В случае ярмарки речь идет о купле-продаже, в случае выставки – о представлении «самого-самого». Фестиваль же подразумевает свободное общение всех желающих – без «красных ковровых дорожек» и «раздачи слонов». Разумеется, такое понимание своей задачи организаторами мероприятия более чем благородно и демократично.

Однако отличие Открытого фестиваля от других московских книжных форумов, особенно от ММКВЯ, не только в «жанре», но и в самом представлении о книге. Время ввело книгу в область коммерции, приравняло ее к «сосискам и колготкам», но это еще полбеды, куда хуже то, что форма существования книги как объекта продажи вытеснила в общественном сознании все другие. И сегодня людям нужно время, чтобы начать воспринимать самоценное бытование книги (без коммерческой составляющей) как само собой разумеющееся. Ведь несмотря на то, что Открытый книжный фестиваль проходил уже второй раз, зрители довольно часто терялись и искали привычные пути поведения на подобных мероприятиях – павильон с книгами. Собственно, и находили: к их услугам были два шатра магазина «Москва» и «набережная» букинистов.

Действительно, не видя книг, легко упрекнуть фестиваль в том, что он не книжный. Но правильнее, конечно, его понимать как место проведения досуга, как своеобразные гуляния, посвященные литературе. При этом фестиваль учитывает самые разные формы организации свободного времени. Кто-то будет рисовать новые комиксы про зайца ПЦ вместе с автором этого персонажа – Линор Горалик, кто-то пойдет слушать лекцию доктора биологических наук Александра Маркова о том, прав ли был Ч. Дарвин и как на самом деле шла эволюция, а кто-то будет качаться в гамаке и читать книжку. Устроители Открытого книжного фестиваля солидарны с Диной Пауэлл, до недавнего времени бывшей главой управления по образованию и культуре при Госдепартаменте США, утверждающей: «В ближайшие пятнадцать лет мы должны вернуть книгу как способ передачи информации в досуговую форму. Если мы этого не сделаем, то мы окажемся в ситуации XIV века, когда в монастырях книги читают и пишут, а все остальные живут в рамках устной культуры».

Фестиваль, рассчитанный сразу на всю семью и нацеленный на то, чтобы угодить самой взыскательной аудитории, и правда предложил публичное место, где можно отдохнуть целый день. Но уровень подобного «отдыха» на несколько порядков выше, чем в парке им. Горького. Казалось бы, это и так понятно, а значит, и само сравнение не должно было возникнуть. Но на лекции Александра Архангельского «Культура и политика в современной России» возникло. Здесь большинство согласилось с критиком, жестко и довольно резко разделяющим общество на любителей парка им. Горького и людей с высокими

запросами. К последним следует относить активное меньшинство, желающее думать и получать информацию. Их центром, «сердцем», необходимо признать библиотеки.

Лекция Александра Архангельского стала весьма показательным примером для фестиваля. Прежде всего сама лекция о культуре и политике в современной России явилась ответом организаторов форума на невозможность вести серьезный разговор в современной медиасреде и на упреки в адрес фестиваля в излишней развлекательности. Предполагалось, что и люди на лекцию придут серьезные, вопросом интересующиеся. Однако таких определений для тех, кто пришел на встречу, явно недостаточно. В шатре «Коктебель» собрались люди неравнодушные, воспринимающие эту дискуссию как возможность поговорить открыто на животрепещущие темы, послушать «умного» человека. Спросить того, кто действительно может ответить, – это всегда потребность. Слова Александра Архангельского о необходимости формирования единой нации, гражданского сознания и укрепления русской культуры (кстати, по твердому убеждению критика, понятие «российская культура» не приживется вовсе) и предложение решать эту проблему через социальное «перемешивание» (то есть «снизу») и приоритетное развитие ВУЗов и школ, нашли отклик слушателей, живой и сильный. И даже если отдельные утверждения публициста и подвергались сомнению, то в целом его мысли и наблюдения принимались доверчиво и жадно.

Впрочем, даже этот пример доказывает: «медийность» того или иного лица и издания для массового восприятия играет огромную роль. Связь с телевидением прежде всего обеспечила Александру Архангельскому такое внимание аудитории. Но и оно, стоит заметить, проигрывало на фоне того ажиотажа, который сопровождал презентацию новой работы братьев Пресняковых. Это имя, безусловно, уже стало брендом. Как следствие: места в шатре «Ялта» занимались' заранее, встречу снимало телевидение, а реклама события была самой «мейнстримной». То есть ударной, звучной, содержащей очевидный элемент гламура и напористо-действенной. Представляющий книгу братьев Пресняковых «Изображая жертву» рекламный слоган гласил: «Культовое кино. Знаменитый спектакль. Книга, которую нельзя пропустить». И в большинстве своем люди действительно не могли ее пропустить. А, между прочим, все и так уже знают сюжет, предложенный братьями Пресняковыми, и их представление о герое нашего времени благодаря фильму Кирилла Серебренникова, роман же стал лишь очередным ремейком этой истории. Но в силу вступил принцип известности, созданной масс-медиа, – и интерес аудитории обеспечен. Сказывается вымуштрованная СМИ манера узнавать по брендам наиболее «значимое». А оно, кстати, на самом деле таковым может и не являться. Выбирая между встречей с Пресняковыми и лекцией Архангельского (а они шли, к слову, одновременно), думается, предпочесть можно было бы последнюю. Но ведь на вкус и цвет...

Хотя опять же «но». Каждый свое мероприятие делал интересным, и придуманную «изюминку» хотелось непременно увидеть. Так значит, нужно было разрываться, то есть попросту что-то терять. Дилемма выбора возникала постоянно. То, к примеру, в одном павильоне проходит встреча Виктора Ерофеева с читателями, а в другом в это же время – фестиваль видеопоззии «ЗРЯ!». То в «Бахчисарае» устраивают круглый стол «Проблемная детская литература», и одновременно с этим в «Гурзуфе» Борис Куприянов рассуждает о сегодняшнем облике государственного писателя, работающего на заказ, в «Ялте» вручают премию «Московский счет», а в кино-концертном зале зрителей приветствует мировая знаменитость, английский фантаст Терри Пратчетт. Обилие любопытного в программе дало возможность организаторам и сам фестиваль отнести к разряду «нельзя пропустить».

Зная о любви Москвы к фестивалям и учитывая избалованность столичной публики, кураторы форума стремились удивлять. Если проходит презентация книги Андрея Шарого «Фантомас в книгах и на экране», то ее сопровождает первая экранизация истории этого персонажа – фильм Луи Фийда

1913 года в восстановленной версии. Тем самым выигрышно используется медиапотенциал самой книги. Если разговор идет о тексте, то к нему обязательно присовокупят экспозицию графики Дмитрия А. Пригова или видеоперформансы группы художников «Синие носы». Изобразительное искусство в данном случае работает с книгой и одновременно за ее пределами, то есть просто проверяет, где проходит граница между текстовой и «затекстовой» реальностью.

И посетители, независимо от того, какую форму поведения они выбрали (предпочли ли кочевать с мероприятия на мероприятие, превращая фестиваль в шоу нон-стоп, или решили приходить лишь на «нужное», узнавать необходимое и уходить), не могли бы упрекнуть форум в «неинтересности». Потрафить получилось всем. Хотя бы на уровне организации. То, что отдельные события выходили не такими, как хотелось бы, определялось, пожалуй, лишь волей обстоятельств. Так, люди, пришедшие на встречу с «Квартетом И», прочно ассоциирующимся со своим знаменитым спектаклем-пародией «День радио», были настроены на то, что их будут развлекать. Но самому «Квартету» мероприятие казалось более чем скучным из-за недостатка оригинальных вопросов и замечаний. Разочарование зрителей от подобного выступления с лихвой окупил беседы с ироничным Александром Ширвиндтом, с внешне несколько отстраненным Марком Захаровым и необычайно доброжелательной Маргаритой Эскиной. Все они презентовали свои мемуары. И при этом, как всякие крепко связанные с театром «служители народа», они хорошо понимали необходимость «работы» на любую аудиторию. Как результат: восторг зрителей и длинный шлейф из провожающих, тянувшийся за уходящими кумирами.

Радость подобных – открытых – встреч со знаменитостями, любимцами публики (встреч, где героем оказывается сама известная личность, а книга может стать лишь поводом, причем формальным), дарит как раз Открытый книжный фестиваль. Он не готовит премьер и не ставит целью идти ровно в ногу с актуальным литературным процессом. Его премьеры – лишь для читателей, как следящих за изменениями в литературной жизни, так и неторопливо изучающих море словесности. Никому на форум вход не воспрещен. А это наряду с понятными плюсами для посетителей подразумевает и опасность для фестиваля. От очевидного попсового элемента уберечь может только вкус кураторов. Пока он их не подводит, хотя граница между достойным и не очень определяется субъективно, а потому претензий не избежать даже сейчас. Сам факт же внедрения нового формата книжного форума заслуживает уважения. Даже если в результате фестиваль оказывается не столько книжным, сколько летним. То есть ориентированным на развлечение (пусть и как способ поучения). Но зато в этом случае фестиваль целиком застрахован от отсутствия интереса к себе и от поисков интерактивности.

И уж точно данный «праздник» вписывается в национальную программу чтения, предложенную участниками Пятого съезда Российского книжного союза, проходившего почти одновременно с Открытым фестивалем. На форуме говорили об отсутствии внятной системы книгораспространения и пропаганды чтения, в результате чего Россия сильно отстает от развитых стран и по доле активных российских читателей, и по уровню грамотности, и предложили объявить 2007 год в России годом чтения. В национальной программе, подготавливаемой для правительства Российским книжным союзом, объединяющим издателей, полиграфистов и распространителей, особыми пунктами значатся и модернизация библиотек, и увеличение количества книжных магазинов, и проекты, направленные на повышение престижа чтения. Очевидно, что Открытый книжный фестиваль уже неплохо справляется с этой задачей и в данной программе точно занял свое место.



Мария РЕМИЗОВА

Девяносто пять процентов

Людмила Петрушевская выпустила книгу, как указано в аннотации: «... по-современному «My best», а раньше это звучало как «Избранное»: выбор автора». «Best» – не преувеличение. Книга под названием «Жизнь это театр» (2006) действительно содержит только лучшее – подборку хороших, настоящих «петрушевских» рассказов и роман «Время ночь».

Роман «Время ночь» – и это, кажется, признают теперь уже все сколько-нибудь вменяемые критики – оправдывает собой все кособокое постперестроечное пятнадцатилетие. Даже если бы за эти годы не было бы написано больше ничего стоящего... Было, конечно, кое-что было, но даже среди всего, заслуживающего внимания, «Время ночь» высится, как одинокая недостижимая вершина, как неоспориваемый аргумент в пользу утверждения, что отечественная литература жива, и прочая, и прочая...

Однако «только лучшее», увы, не означает «все лучшее», и, дочитав до последней страницы, с огорчением убеждаешься, что в сборник не вошла ни замечательная повесть «Свой круг», ни многие из прекрасных рассказов, которые, конечно, держатся в памяти, но приятно было бы и освежить... Может быть, петербургская «Амфора», выпустившая книгу, соберется и сделает еще один том, может быть, Людмила Петрушевская порадует еще одним сборником в каком-то другом издательстве...

Перед нами великолепная книга – почти исключительная по нынешним временам. Интересный феномен. Редко кто из современных прозаиков выдерживает испытание перечитыванием. Для начала – мало кого вообще захочется взять в руки без какой-то уж очень крайней нужды. Принято считать: изменился ритм жизни, у людей нет больше времени по несколько раз перелопачивать один и тот же текст... Ерунда! Если у людей хватает времени, чтобы без толку убивать его на всевозможный тупняк – телевизор, компьютерные игры, коммерческую литературу, да на пьянство наконец – значит, дело не во времени, а в самих людях.

Бытует миф, будто раньше, когда не было масскульта, читали гораздо больше. Когда раньше-то? Когда большая часть населения планеты была неграмотной? Когда еще не изобрели печатного станка? Или в тот (исторически краткий) период в нашей стране, когда мы носили звание советского народа?

Но позвольте! Что читал среднестатистический житель СССР, такие уж стоящие книги? Нет! Абсолютное большинство граждан «самой читающей в мире страны» довольствовалось газетами, где печатали всякую чушь, изредка разнообразя свой рацион низкопробной хренью типа Льва Шейнина или «Вишневого омута». Ах да, как же, любимое чтение советского народа – зарубежный детектив, который не то что рвали друг у друга, а прямо убивались за него, да «Графиня де Монсоро»... Коммерческое мыло, только в другой упаковке. По-настоящему читали (а также думали, слушали, смотрели – нужный глагол подбери сам) все те же вечные пять процентов, которые делают это и сейчас, как делали и всегда. Пять процентов рефлектирующего человечества...

Так вот, не надо врать, будто теперь стало трудно читать (и перечитывать) из-за каких-то внешних причин. Иной раз полезешь за цитатой в какого-нибудь Гоголя, так и не оторвешься потом... А вот Иванова-Петрова-Сидорова не то что перечитать, заглянуть-то с души воротит. Почему? Да потому что Ива-

нов вообще не умеет писать, Петров подстиляется под запросы рынка, а Сидоров, ну Сидоров настолько завернут на себе, что предложить хоть что-то интересное кому-нибудь постороннему просто не может.

А читать и перечитывать Петрушевскую (лучшие вещи) – одно удовольствие... Нет, неправда. Удовольствие, но не одно. Петрушевская – писатель жесткий, ироничный, многоплановый и многослойный. Чтобы прорваться к смыслу, точнее, к смыслам ее текстов, еще точнее, к метатексту – потому что по большому счету комплекс ею написанного складывается в единый объемный текст и глубинные смыслы вычитываются как раз из этого цельного единого текста, – требуются очень серьезные встречные усилия. Петрушевская, когда пишет, выкладывается целиком. Но, чтобы соответствовать условиям задачи, выкладываться целиком приходится и читателю.

Понимать прозу Петрушевской трудно в первую очередь потому, что она работает со стихией первичного, базового, иррационального, если угодно, до-рационального сознания, где вообще-то и невозможна окончательная рационализация и перевод в слово всех нюансов неструктурированного хаоса. Ни один из персонажей Петрушевской не способен понять ни самого себя, ни мотивов своих и чужих поступков, ни всего окружающего его мира. Петрушевская отважно погружается в царство Праматери-ночи, где лишь она одна – как автор, как исследователь – микроскопирует и препарирует вязкий, амебообразный материал, вытаскивая на поверхность то один, то другой фрагмент, способный выступить наглядным образцом хтонической сущности мироздания. Лишь авторская воля и логика служат единственной структурирующей силой для бесконечного множества однотипных, не осознающих себя единиц. Тех самых чуждых рефлексии девяносто пяти процентов...

Осуществляя отбор и выбор, формируя как бы «избранное» из бесчисленных форм, которые принимает живая материя, Петрушевская приоткрывает завесу над скрытым от посторонних глаз «кишением» организмов в капельке воды, которое когда-то впервые наблюдал потрясенный изобретатель микроскопа голландец Антоний Левенгук. Но при этом, формально стоя на недостижимой высоте над своими «подопытными кроликами», по факту Петрушевская не демонстрирует ни единого признака высокомерия и превосходства. Отнюдь! Это огромное, пагубное заблуждение, будто Петрушевская – холодный и бездушный анатом, вытаскивающий на свет Божий ужасы и мерзости жизни, чтобы пощекотать нервы излишне впечатлительных людей.

Происходит как раз обратное: когда эти безликие, безгосые, почти неодушевленные организмы, имя которым – человеческая масса, – высвечиваясь в лучах магического кристалла личного творчества, вдруг обретают лица и голоса, в них начинает просвечивать индивидуальность, и они – сами того не осознавая – становятся отдельными людьми. И начинают разыгрывать свой маленький, но наполненный настоящей болью и настоящим драматизмом театрик. И мы, только что равнодушно скользившие взглядом по микрожизни в капле воды, заглянув в трубочку с волшебными линзами, вдруг видим перед собой не каких-то ничтожных микробов, а несчастных, задавленных обстоятельствами и собственной ограниченностью, однако же – все-таки! – несомненно людей.

Петрушевская никогда не вмешивается в этот театрик, демонстративно устранившись из текста, словно жертвуя свой голос, свое зрение этим обделенным яркостью человечкам. На самом деле, конечно, все происходит наоборот: это она, наделенная невероятным, почти нечеловечески тонким слухом и зоркостью, заимствует у неиндивидуализированной массы весь арсенал для своих вымышленных актеров. Она принимает на себя роль рупора, чтобы безъязыкая улица смогла выговориться до конца, чтобы те, кому от века предназначена лишь скорбная безнадежная бессловесность, получили, наконец, право собственного голоса. Разглядев себя, они смогли бы, наверное, даже что-то понять о себе. Но, увы, они не станут читать Петрушевскую: слишком сложно. Девяносто пять процентов предпочитают оставаться в неведении даже относительно самих себя. Меньше знаешь – крепче спишь.

Вероятно, потому так тяжек и мрачен мир петрушевских героев, потому застывшее время всегда – ночь, что в неотрефлектированном бытии отсутствует вектор поступательного движения. Схема проста до невозможности. Универсальный закон мироздания – цикличность. Все, абсолютно все, повторяется. Только на разных временных отрезках. Для галактики – ее формирования, существования и распада – отпущены миллионы или там миллиарды световых лет, для человека – от силы век, а для радиоактивного изотопа из последних рядов таблицы Менделеева – доли секунды. И так – бесконечно, непрерывно – происходит грандиозный круговорот всей известной и неизвестной нам вселенной: энергия концентрируется, превращается в материю, материя, принявшая все мыслимые и немыслимые формы, сколько-то там, сколько положено каждой форме, существует, потом распадается, превращается в энергию, и так далее, и так далее. Гаснут и зажигаются звезды, всходит и заходит солнце, сменяют друг друга времена года, меняет свои фазы луна, умирают старшие поколения, на смену им рождаются новые, строят вокруг себя из доступных средств шатки миры, бьются сколько есть сил с разрушающей его энтропией, не успевают заделать одну прореху, глядь – появилась новая, ведь вся материя рано или поздно предательски разлезается по швам, и, значит, нет конца и краю бессмысленным усилиям по поддержанию устойчивости заведомо обреченной постройки.

Импульс поступательного, то есть направленного из пределов дурной бесконечности, движения возможен в мире голой материальности только при одном условии: когда в него привносится фактор сугубо индивидуальной целенаправленной воли. Причем не всякой-любой, а только воли к самоосознанию. Каковая воля способна преобразовывать ограниченную область конкретного индивидуального бытия в том смысле, что сей дерзкий индивид перестает быть пленником обстоятельств, а становится – хотя бы и в своем отдельном сознании – хозяином положения. Второй универсальный закон, распространяющийся только на существа, наделенные разумом, накрепко связывает свободу с осознанием, а осознание – со свободой. Осознающий свободен настолько, насколько глубоко, широко и как там еще способен осознавать. Если сформулировать предельно лаконично: невозможно *стать* свободным, но можно (и нужно) им *уже* быть.

Какое отношение все это имеет к Петрушевской? Самое прямое. Петрушевская работает с материалом, для которого категория свободы отсутствует как таковая. Возьмем для примера роман «Время ночь». Все персонажи – Анна Андриановна, Алена, Андрей, баба Сима (дети уже просто не в счет) – проявляют одну очень странную, не свойственную, вообще говоря, персонажам *авторской* литературы особенность. Любое их действие, любое проявление обусловлено контекстом ситуации, и потому они абсолютно прогнозируемы и предсказуемы. Такой характер поступков свойствен персонажам совершенно другой сферы, а именно – фольклорной. Как сформулировал Пропп в отношении персонажей волшебной сказки: «амплуа» любого героя четко определяется его *функцией* в сюжете.*

Для нас здесь важно, что личные характеристики персонажа уходят на второй план, имеет значение лишь то, как он действует в ситуации: например, вместо героя исполняет трудные задания или снабжает его средствами для решения оных, тогда его роль – «волшебный помощник», а кто он при этом сам – старичок, медведь, щука, деревянная куколка или «благодарный мертвец» – совершенно не имеет значения.

Персонажи Петрушевской, как ни странно, во многом функционируют по этому же принципу, выступая рабами и заложниками обстоятельств. В фольклорных текстах такая участь означала принципиальную *безличность* дей-

* Удивительно, но между Проппом и столпом структурной антропологии Леви-Строссом завязалась по этому пункту горячая и даже язвительная полемика: французский структуралист уперся в термин «функция», а русский фольклорист – в термин «ключевой код», и так они друг друга не поняли. Между тем одно совершенно не противоречит другому, функция может спокойно выполнять роль ключевого кода, и наоборот.

ствующих лиц: фольклор был промежуточной станцией между мифом и собственно искусством, где персонажи представляют самих себя. Когда-то их *функции* служили актуализацией тех или иных онтологических законов, собственно, ради этого их и выводили на сцену. А закон, коль скоро универсален и непреложен, проявляется на любом материале – хоть в образе действий Серого Волка, хоть – Красной Шапочки. В фольклоре их индивидуальность лишь начала намечаться, проявляясь благодаря речевой манере каждого сказителя, но никоим образом не конструктивно-сюжетно. У Петрушевской та же история: лишь ее авторская речь, ее «воля и представление» наделяют каждого из персонажей узнаваемыми чертами, сами же они – только наглядная иллюстрация равнодушных закономерностей материального мира, по существу, такие же безличные и неиндивидуализированные, как персонажи фольклора.

Во «Времени ночь» есть чрезвычайно характерный эпизод, когда Анна Андриановна, глядя на судьбу дочери, вспоминает собственный развод с мужем, в котором, по ее мнению, виновата была ее мать, без конца попрекавшая того, что он «объедает детей», тут же заносит в свой «дневник» (весь текст романа, напомним, якобы и представляет собой дневник, переданный дочерью после ее смерти Людмиле Петрушевской, – вот уже совсем нарочитое «жертвование» собственным голосом) признание: мол, я вот никогда так не делала, разве только когда он «буквально» съедал все у ребенка...

Какая странная слепота! – удивляется читатель... О нет, вовсе не странная! Естественная, необходимая для этого мира, залог его, так сказать, стабильности. Чтобы солнце всходило, а вслед за зимой приходила весна, дочь должна слепо копировать судьбу матери, все изгибы и вывихи неудачливого совместного существования, должна так же уродовать судьбу собственных детей, отрабатывая заданный стереотип *несчастья*.

Стоило кому-нибудь из бесконечной цепочки поколений осознать ситуацию как ложную, навязанную, требующую преобразования, и круг дурной бесконечности был бы тут же разорван. Но Петрушевская своим персонажам в этой способности отказывает напрочь. Масса не может меняться. Масса – это страшная окостеневшая неподвижность, не предполагающая развития. В мире Петрушевской, как в мифологическом пространстве, нет линейного времени. Время не движется. Стрелки часов делают круг, и завтра наступает все тот же самый день, как в фильме «День сурка». Точнее, конечно, не день, а *ночь*. И все опять повторяется...

Отчего Петрушевская смотрит на мир так пессимистично? Ну, например, может быть, потому, что основной игрок из команды преобразователей, то есть мужчина, в современном варианте все больше отсиживается на скамейке запасных, предоставляя женщинам устраивать его (мир) по своему образу и подобию. Сугубо женский, феминизированный мир – не структурирован и консервативен. Жесткий эмоционально-волевой напор возможен (и еще как!), но – в моменте. Не один большой преобразующий взрыв, а много бессмысленных камерных взрывчиков, когда энергия распыляется и уходит впустую. Феминизированный мир – это хаос размытых определений, невнятица смыслов, броуновское движение атомов без надежды вылиться в законченную форму.

В чисто мужском мире тоже нет ничего хорошего. Но речь сейчас не о об этом. Речь о том, что для гармонии необходимо соединение двух уравновешивающих друг друга начал. В мире Петрушевской этой гармонии нет. Но нет ее и в окружающем мире. Пессимизм Петрушевской как раз и связан с нарушением этого естественного баланса.



Дмитрий БАК

БИОГРАФИЯ ДВОЙНЫМ ПУНКТИРОМ

Александр Гордон. Не утоливший жажду:
Об Андрее Тарковском. – М.: Вагриус, 2007.

Одно из биографических интервью Арсения Тарковского при публикации было озаглавлено символично и точно: «Пунктир»¹. Замысел «сплошной», полновесной биографии – дело масштабное и ответственное, предполагает единство взгляда на события, тщательное документирование, обстоятельность изложения... Биография-пунктир – совсем иное дело: легкие зарисовки, подробно изображенные отдельные выхваченные события при полном умолчании о других, порою – не менее важных. «Концептуальность» здесь не требуется, однако взамен читатель получает доступ к самому, на взгляд биографа, главному корпусу событий, пусть изображенных пунктиром.

Книга кинорежиссера и сценариста Александра Гордона построена предельно свободно; тем не менее эта свобода основана на достаточно сложном исходном замысле. Автор – вгиковский однокашник Андрея Тарковского, прошедший с ним рука об руку несколько замечательных студенческих лет. Кроме того, А. Гордон женат на сестре всемирно знаменитого режиссера, дочери поэта Арсения Тарковского – Марине Арсеньевне Тарковской, в последние годы получившей заслуженную известность в качестве биографа своей семьи². Двойная свидетельская перспектива (коллега-профессионал и близкий родственник) предопределяет особый угол зрения, дважды личностный взгляд автора книги на жизнь великого режиссера.

Но дело не только в стереоскопии взгляда свидетеля-друга и свидетеля-сотворца. Перед читателями в высшей степени лукавая книга, содержащая двойной биографический пунктир: отдельные повороты судьбы Андрея Тарковского переплетаются со столь же фрагментарным, однако пристальным и взыскательным *авто*биографическим повествованием о человеческой и творческой судьбе режиссера Александра Гордона – прожившего долгую жизнь в кино, работавшего со многими замечательными актерами, сценаристами, режиссерами, сталкивавшегося с чиновничьим произволом, отлучавшегося от профессии и возвращавшегося в нее...

Попытка переосмыслить собственное прошлое, обобщить свой опыт, вспомнить времена, когда автору, говоря по-пушкински, «были новы все впечатленья бытия», – вот что движет пером Александра Гордона. Другое дело, что семья Тарковских, жизнь Андрея Тарковского оказываются одним из самых глубоких впечатлений автора книги – так и рождается двойной пунктир воспоминаний о себе и о гениальном друге.

Книга А. Гордона – очень личная: эту фразу хочется немедленно перечеркнуть по причине ее кажущейся банальности: ну может ли быть иной книга воспоминаний? И все же пусть рассуждение начнется именно с этой фразы: она точна несмотря на видимую стандартность. «Как-то заела меня тоска жуткая», – вот первые слова книги Гордона, обозначающие ее исходную эмоцию, вовсе не обязательно «биографическую», не так ли? Тоска по утраченному времени, стремление облечь в слова почти невыразимые, подспудно живущие в памяти чувства, некогда бывшие сильными и непреодолимыми, захватывавшими все светлое поле сознания, а ныне бродящие в полутемноте неясных воспоминаний:

1. Тарковский Арс. А. Пунктир / Собр. соч.: В 3-х т. Т.2. М.: Вагриус, 1991. С. 235-246.

2. См.: Тарковская М. Осколки зеркала. М.: Дедалус, 1999. Второе издание книги вышло в 2006 г. в издательстве «Вагриус».

Я тень из тех теней, которые, однажды
 Испив земной воды, не утолили жажды
 И возвращаются на свой кремнистый путь,
 Смущая сны живых, живой воды глотнуть.

Четверостишие Арсения Тарковского неспроста предпослано книге А. Гордона в качестве эпиграфа, оно обозначает ее иное измерение, сквозную, но по большей части скрытую интонацию торжественного рассуждения о главном, существующем на границах вечного. Это – повторюсь – подспудная, неявная интонация, а вообще-то Гордон пишет очень просто и о простом. Его внешне незатейливая, а на самом деле – весьма прихотливая стилистика опознается буквально в каждой фразе. Этакая странная, я бы сказал – современная, вывороченная наизнанку «латынь», утратившая Цицероновский ораторский накал и катулловский чувственный пыл. Почему латынь? Да потому, что в этом навсегда застывшем языке принят обратный по отношению к русскому порядок слов: определение не предшествует определяемому слову, а следует за ним. Скажем, не «высокий тополь», а «... альта» (... *alta*): это уже не бытовое высказывание, а почти что строка из биологической классификации родов и видов. Не «смертная тоска» – а «тоска смертная», в этом весь Александр Гордон – талантливый прозаик, пристально вглядывающийся в ускользающий пунктир собственной жизни, а заодно и словно бы попутно, походя – и в судьбу своего великого друга. «В душе нарастало какое-то чувство неясное», – вот еще один (из многих) случай разговорной латыни по Александру Гордону. Именно что – не просто «неясное чувство» (так было бы излишне пафосно), а «чувство неясное» – интонация оказывается совсем иной, спокойной, ироничной, позволяющей о некогда всеобъемлющем чувстве говорить отстраненно и попросту. О чем идет речь? О молодых годах автора, он полон сил, он служит в конной артиллерии в Закарпатье и едет на своей милой лошадке Белочке вдоль длинной окраинной улицы городка Мукачева: «Цок-цок, звонко звучали подковки, а в душе нарастало какое-то чувство неясное»...

Начальные главы книги погружают читателя в атмосферу лет либо давно позабытых, либо, если читатель молод, и вовсе ему не ведомых. Пожалуй, наиболее точно и привлекательно обстановка рубежа пятидесятых и шестидесятых годов описана в блестящей повести молодого Василия Аксенова «Звездный билет». Дети двадцатого съезда, читатели и почитатели Хемингуэя и Ремарка, восторженные свидетели Московского фестиваля молодежи, слушатели поэтических чтений на переполненных стадионах, «идушие на грозу» энтузиасты-ученые – все они в каждый момент повседневности чувствуют себя погруженными в водоворот масштабных, едва ли не вселенских событий. Скажем, выбор профессии для них означает не просто желание самореализоваться (сделать карьеру, обеспечить семью и т.д.), но совершить важнейший выбор, соответствующий духу времени, отвечающий высокой общественной потребности и существенной метафизической необходимости.

Точно так же относятся к решению поступать во ВГИК Александр Гордон и его будущие однокурсники, среди которых и Андрей Тарковский, впервые появляющийся на страницах книги не как-нибудь, а с «Войною и миром» под мышкой. Юноши и девушки эпохи оттепели неспроста подвергались бесконечным обвинениям в мещанстве, в забвении идеалов казенного советского коллективизма. Они во всем стремились выделиться, при всей бедноте и скудности быта были «стилягами», следовательно, тонко чувствовали стиль во всем: в одежде, в искусстве, в философских беседах о бытии. В те годы считалось «стильным» не только носить белый свитер либо желтый галстук, но и непременно отличать Рубенса от Рембрандта.

При описании первых месяцев и лет своей студенческой жизни в знаменитой вгиковской мастерской Михаила Ромма А. Гордон не сосредоточивает внимание только на более или менее знаменитых однокурсниках – Тарковском, Василии Шукшине, Александре Митте. В главе «Знакомство по алфавиту» пунктуально упомянуты имена *всех* сокурсников, включая тех, кто вскорости сменил профессию или был отчислен за «профнепригодность». Известный

режиссер Юлий Файт, рано ушедший из жизни талантливый поэт Володя Китайский, греческая политэмигрантка Мария Бейку, первая жена Тарковского Ирма Рауш – о каждом из сокурсников в книге рассказано ярко, лаконично, емко – в жанре портретной миниатюры.

Подробности работы Тарковского, Шукшина и других над их первыми, учебными и ученическими фильмами поистине бесценны: чего стоят хотя бы описания съемок фильма по рассказу Хемингуэя «Убийцы»: принесенные студентами из дому предметы реквизита, призванные воссоздать атмосферу американского бара, попытки молодых москвичей изнутри «железного занавеса» воссоздать атмосферу «дикого Запада» – все это описано бесконечно талантливо, с мягкой иронией. Замечу попутно, что многие из старых фильмов, в которых в качестве актера и режиссера работал юный Андрей Тарковский, сохранились в недрах фильмохранилищ советской эпохи. На фоне этих лент дипломный фильм Тарковского «Каток и скрипка» кажется абсолютной классикой, и все же интерес к ним не угасает. Ранние фильмы с участием учеников Ромма время от времени демонстрируются и в наши дни, и соответствующие страницы воспоминаний А. Гордона служат к ним незаменимым комментарием.

И – не только к этим, учебным фильмам. Столь же любопытны и незаменимы, например, описанные в книге Гордона подробности завершения работы над фильмом «Сергей Лазо» (1967). Нервный, ироничный гений Андрея Тарковского, на завершающей стадии подключившегося к съемкам, превращает канонический советский сюжет о герое гражданской войны в повествование о всегданшем и неизбывном одиночестве сильного и талантливого человека, принимающего мученическую смерть за свои убеждения. И вот уже звучит за кадром полузапретный Вагнер, вот Адомайтис-Лазо молитвенно и непокорно раскидывает руки в вечном жесте распятого, но не сломленного страдальца...

В этой примечательной финальной сцене, поставленной режиссером Тарковским «внутри» фильма режиссера Гордона, читается много символического и важного для судьбы будущего автора «Зеркала», сыгравшего здесь «иронически улыбающегося и неврастеничного» атамана Бочкарева. Прав был высокий советский чин от кинематографа, позднее сказавший: «Да вы понимаете, в кого стреляет Тарковский? Он в нас стреляет! Он в коммунистов стреляет!».

Впрочем, автор книги ясно подчеркивает в характере своего великого друга иное: Тарковский боролся не с коммунизмом, не с коммунистами как таковыми. Прямолинейный диссидентский пафос был ему, пожалуй, чужд. У Андрея Тарковского были свои собеседники, свои зрители, свои оппоненты, по преимуществу существовавшие не в обыденном подлунном мире, но именно в мире лунном, высоком, вечном.

«Иная, лучшая потребна мне свобода...» Тарковский чурался иносказаний и эзоповых перифраз. Дорогого стоит его знаменитый ответ на вопрос о символическом смысле образов-деталей в «Сталкере»: «Я должен вас разочаровать. Собака в фильме означает... собаку». Иносказание если и присутствует, то не служит средством укрادкой «протащить» на экран недовозможное. Тарковский не играет по мелочи, он говорит о самом главном и существенном, причем всегда – с последней мандельштамовской прямоотой.

Многие страницы книги посвящены, как это принято неукложе формулировать, «личной жизни» Андрея Тарковского. Отношения с любимыми женщинами, с сестрой, отцом и матерью – разговор об этих деликатных материях А. Гордон ведет с истинной сдержанностью, не предполагающей, однако, стыдливых умолчаний о недостатках его героя и – тем более – какой бы то ни было ложной героизации либо сусальности. Все повествование строится на том, что Андрей с годами отдаляется от родителей и сестры, перестает быть соавтором рассказчика: появляются другие – Андрон Кончаловский, Мишарин...

Исключительно важны то и дело возникающие на страницах книги документальные материалы, в особенности – архивные записи обсуждений фильмов Тарковского, проливающие свет на подробности его творческой биогра-

фии советского периода. А. Гордон не претендует на глобальные обобщения и гипотезы. Он пишет только про то, что знает, – из жизни либо из документов. Автор книги честно говорит, что с определенного времени «родственность взяла верх над дружественностью», его место заняли Ромадин, Шпаликов, Юсов...

И все же обобщения в книге присутствуют. И главное из них, пожалуй, состоит в том, что в характере Андрея Тарковского непостижимым образом уживаются смирение и непримиримость. Сходным образом дан и портрет Тарковского-старшего, поэта: «В нем угадывался фаталист, открытый всем ветрам жизни. На лице его читалось то христианское смирение, то стойкое упорство в противостоянии ударам судьбы».

Именно эти непостижимые схождения противоположных чувств описывает свидетель и участник событий, талантливый рассказчик Александр Гордон, позиция которого равным образом далека и от услужливой секретарской дотошности Эккермана при Гете, и от невзыскательного свидетельствования Серенуса Цейтблома, биографа великого композитора Леверкюна в великом романе Томаса Манна. В книге Гордона рассказчик чувствует себя равным своему герою, однако это равенство не перерастает в амикошонство, явно (и – не удержусь! – бесстыдно) присутствующее в некоторых недавно увидевших свет биографических сочинениях об Андрее Тарковском.

С тою же мерой осторожной деликатности описаны все члены семьи Тарковских – люди словно бы не от мира сего, умеющие в любых обстоятельствах «держат удар» судьбы и недруга, жить не видной постороннему взгляду глубокой внутренней жизнью. Автор книги пишет: «Тогда мне все Тарковские казались похожими на сектантов или заговорщиков». Это происходило только по первости, когда еще не были постигнуты на опыте определяющие черты мироотношения Тарковских – самоуважение и самоотверженность, молчаливая сдержанность, тихая причастность тайнам жизни, не терпящая показных эффектов. В общении великих отца и сына их ближайший родственник А. Гордон нередко чувствует себя лишним и прямо говорит об этом: «Видеть, как отец и сын общаются наедине, ведут веселую и мудрую беседу о тайнах искусства, мне приходилось нечасто. Когда я заходил к ним в комнату, на моих глазах закрывались створки их душ».

Немало нынче людей, чьи сновидения тревожат великие тени, в том числе и тень Андрея Тарковского. Как много эти люди изрекают запоздалых признаний, разоблачений, упреков... Биографическая и – одновременно – автобиографическая книга Александра Гордона устроена по-другому: здесь явление теней в мир свидетелей и потомков происходит органично и естественно, с соблюдением соразмерности личностей героев, требований вкуса и принципов уважительной терпимости к прошлому.

Сергей СОЛОУХ

СКЛОНЕНИЕ ГЕНДЕЛЕВА

Михаил Генделев. Книга о вкусной и нездоровой пище, или Еда русских в Израиле: Ученые записки «Общества чистых тарелок». – М.: Время, 2006.

Вообразите себе учебник сопромата или двухтомник матанализа, который гонится таким примерно вот макар-макарычем.

Рекомендую, задумайтесь (даже представительницы прекрасного пола и неопределившиеся), какую большую (блин, не охватишь) роль в алгебре (плебейской, скажем прямо так, утехе недоучек) играют (Коперник, Галилей,

Иегуда Меир) теоремы, решающие вопрос о том, сколько решений (вообще-то да) имеет та или другая система алгебраических уравнений. Бех-хайй – чтоб я так жил. Не верите? Пример. Немедленно же приведу. Такова, буквально, основная теорема алгебры (увы, и вновь поживы нищих духом), утверждающая, что многочлен n -й степени всегда имеет ровно n корней (считая с их кратностями). Ага.

Теперь запомните навечно, бэ'вакаша (пожалуйста): точно так и в нашей благородной (где синий орел и форель золотая) теории дифференциальных уравнений (уравнений, уравнений – знаю, что говорю, зарубите, где можете, товарищи по алии) важным теоретическим вопросом является вопрос (пишите, девушка, и вы, курсант Фигнер, потом проверю, бэ'гах – конечно) о том, насколько много решений имеет дифференциальное уравнение. И хумус с фалафелем.

Стоп! Черту здесь не подводим (ни фи́га!) – это начало лекции, студент! Только начало.

Вообразили? Легко? И сразу поняли, что метод изложения (подход-напор) вовсе не заточен для понимания собственно предмета – матана или сопромата, а исключительно и только для наслаждения личностью академика. Именно так. На современном педагогическом жаргоне подобное шекспироведение зовется авторским учебником. Как вариант – справочником. Как вариант – поваренной книгой. Да. «Книга о вкусной и нездоровой пище, или Еда русских в Израиле: Ученые записки «Общества чистых тарелок» – это такой учебник грамматики, в котором все примеры на одно слово. Исключительно. Именительный падеж – Генделев, родительный – Генделева, дательный – Генделеву, винительный... творительный... ну в самом крайнем случае еще на два других... предложный – о Михаиле Самуэлевиче, что внешне и по сути тот же Генделев, только в профиль. В общем, гарантирую, вы его очень хорошо рассмотрите, поэт и фудпроцессора, и так, и сжк, и вполоборота. Не скажу, что зрелище неаппетитное. Скорее наоборот, есть образ. Образ есть. Другое дело, что погружение в него немного утомляет. Все-таки 24 печатных листа разновременных статей на одну и ту же тему одного и того же автора.. Гарнитурой Баскривиль Ц. Даже 24 и 4 десятых. С прицепом. Что-то вроде сборника «Зе бест...» какого-нибудь заслуженного блюзового Слима Фета, с легкой досадой вынуждающего констатировать – м-да, все хиты, однако, с восходящего пятьдесят третьего по нисходящий шестьдесят восьмой натурально в одной тоналности – Е (ми то ешь). I, me, mine.

Руки по швам. Запомнить. Всякие два решения (и без мой команды не стрелять) с одинаковыми начальными условиями (ну что там за улыбочка на задней парте? Фигнер, побрею и зарезу одним движением, в виду имейте) совпадают на общей части их интервалов определения. Б'эгах – конечно, если уравнение линейно, то есть (посколь уже бэсэ'дер – все хоккей) многочлен f имеет степень 1, то для любых начальных значений (а теперь пошли, пошли, дружно и с песней) существует решение, определенное на всем (жевузанпри) интервале (не жалею, не зову, не плачу) $q_1 < t < q_2$. И гнется швед, поскольку пальчики облизешь.

Термех – по методу «иерусалим не копенгаген». Не уважает? Есть чуть-чуть. Но кто сказал, что человеческий документ – это исключительно воспоминания пасынка, отредактированные отчимом? Философия для женья всех сердец во всех местах. И на всех языках. Отнюдь нет. Очень личная и труднопроизводимая на хинди и тайском коллекция автобусных билетов или почтовых квитанций (с комментариями автора – х'эшув (це важно!) не менее красноречива. Или вот набор вырезок из кулинарного отдела журналов «Работница», «Крестьянка», «Кругозор». Трудов Молоховец, Похлебкина, Шарля де Костера и Ярослава Гашека. Чем не повод рассказать о себе? Начав, что нетрадиционно (изюминка) для наших резко континентальных просторов, с супов холодных, зато уж закругляясь строго по канону (посошок) – опохмелителями. «Слезам комсомолки» поверх бессмертных «Устриц прерий». И получается вполне достойно о Михаиле Самуэлевиче. Генделевым, Генделеву,

Генделев. Таким, каким он хочет, чтобы его увидели (с котом и без кота) мы, читатели журналов «Футбол-Хоккей», «Плейбой» и «Домовой» – люди, стихов не разумеющие. Есть образ. Есть.

Для разумеющих стихи (читателей, советчиков, врачей) другая книга того же, впрочем, издательства. «Из русской поэзии. Стихотворения и поэмы: 2004-2005» (М.: Время, 2006). Здесь Генделев нам предстает таким, каким хотел бы быть перед Богом. Но мы ведь не об этом. Мы здесь о мыслеформе Генделева, Генделеву, Генделевым на фоне холодильника «Чинар-7М». Она прекрасна. Красива и бесконечно влюблена в саму себя, как Лада Дэнс, Андрей Малахов и автор предисловия – артист с гитарой Макаревич.

Ох'эль, что, в общем, ма ше ешь, оказывается (один стажер, я вижу, просекает, а вот за вас мне стыдно, Фигнер), что каждое дифференциальное уравнение (раз, раз – и в дамки) имеет континуальное множество решений (я на пароходе «Маяковский», а в душе Есенина березки), и потому приходится ставить вопрос не о числе решений, а о том, как (стоять, бояться, дама! красный свет, а вы с ребенком) можно описать совокупность всех решений данного дифференциального уравнения. Бэ'вакаша, спасибо то есть. Ответ на этот вопрос (и с полпинка, коллега) дает теорема существования и единственности, которая (товарищ Сталин, вы большой ученый, но, мля, беда, обед вот вот, прощай то есть) приводится здесь без доказательства. Не то что в художной алгебре (запомните, бойцы) – науке малоохольных. Але! И оп.

Ага. Таким манер-манерычем. Но прочитайте советую. И действительно. Только частями. Маленькими. Главку за главкой. Так, собственно, и было задумано. Для смеха. По одной в месяц. Но все целиком. Даже если вы и не собираетесь овладеть простецкой техникой приготовления свекольника «Народного» (стр. 76: «Сварить яблочный компот без сахара. Сварить мангольд в лимонном соке...»), почитать надо непременно до конца. Потрудиться. Потому что наградой вам будет ответ на главный вопрос столетия. В прошлом, как известно, народы беспокоил вопрос еврейский. Но он снялся благодаря стремительным действиям двух разных армий. Красной и ЦАХАЛа. Ушел совсем. Но после себя оставил мелкий, но в то же время острый – вопрос кошерный. Так вот, поваренная книга Михаила Самуэльевича Генделева его снимает. Последний, так сказать, проклятый. Изящно, как некогда «Золотой теленок» Ильфа и Петрова снял первый, старший по званию. Что же наглядно нам демонстрирует поэт своими кулинарными двадцать четыре и четыре? Одно простое обстоятельство – кошерное есть, есть, конечно, есть, куда бы ему деться. А вот кошерного вопроса нет. Потому... Потому что можно все. В смысле хавчика, конечно. Ну да. И это возвышает.

Владислав ПОЛЯКОВСКИЙ

ВЕК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ

Марианна Гейде. Слизни Гарроты. Стихи. – М.: Арго-риск, 2006.

Нет, никогда, ничей я не был современник...

Если первая поэтическая книга Гейде, «Время опыления вещей» (М.: ОГИ, 2005), составлена скорее как хронологический сборник, то «Слизни...» вопреки названию имеют упорядоченную структуру авторской книги стихов в понимании Серебряного века и французских символистов: строгое разделение на части, подробные философские «автокомментарии» к некоторым текстам. Книгу открывает эпиграф, объясняющий название, если кто запомнил Стругацких.

Далее начинается сама Гейде:

зеркало отражает удар моего лица,
начинает и выигрывает партию,
но от удара в лицо разбивается,
зыркало одним, теперь пятью.

может ли целое меньше, чем его часть?
но я один и тот же в любой из пяти.
может лицо у меня украсть
и всегда держать взаперти?

Для Гейде и раньше был характерен риторический пафос, вопросы, местами стилизованные (а местами – и вполне подлинные) обращения к Богу; теперь к этому добавилось четкое сознание столкновения реального мира с его метафизическим отражением. Высказывание персонажа Гейде философски-рефлексивно, причем в правильном понимании слова «философски» (по образованию Марианна – философ); в прежних вещах это маркировалось сложными отсылками к классической литературе (см., например, стихотворение «там, на земле, теперь разрешено тела на части разнимать» – подражание Расину), сейчас – скорее оптикой философско-аналитического мировоззрения. Гейде в принципе свойственна философско-аналитическая рефлексия, проявляющаяся в том числе в определенной пассионарности по отношению к собственным текстам: первый автокомментарий Гейде был опубликован в НЛО № 62 в рамках проекта, где поэты анализировали собственные стихи, – но Гейде стала единственной, кто продолжил писать такие автокомментарии и дальше. Как следствие, мы видим в «Слизнях Гарроты» раздел «Автокомментарии».

Сухо у Христа за пазухой,
Влажно у дьявола за щекой,
Хочется воздуха, свежего воздуха,
А этот какой-то ни такой, ни сякой.

Почему столкновение здесь так принципиально? В чем уникальность метода Гейде? Во-первых, как написано в предисловии к книге «Время опыления вещей», в специфике создаваемого автором ландшафта. Ландшафт этот неприветлив, жизнь из него выхолощена, вычищена, вытравлена кислотой, при этом в нем легко узнаются черты реального города. Этот мир – место обитания «полых людей», лишенных наполнения, и одинокого лирического героя-гамлета, внутреннего философа, единственного, сохранившего жизнь в себе. Гейде рисует реальность, предъявляя этой реальности свои метафизические претензии:

незнакомые звуки пинали меня под дых,
незнакомые звуки хотели, чтобы я сдох,
колотили крылами в лоб,
претворяли в воду и хлеб,
мучили, словно бы я их раб
или я их спас,
мучили, словно бы я был труп,
а потом воскрес,
а потом ушли,
оставили помнить горлом и ртом
белый шум,
ненадобный на земле.

В отличие от традиционного для романтической поэзии несоответствия реальности существующей и реальности необходимой («того, что есть» и «того, что должно быть») несоответствие Гейде кроется в конфликте бесцветного физического мира и полного красок и смыслов мира метафизического. Вернемся опять к первой книге, к стихотворению «Фейерверк в Переславле-Залесском»:

и римский колокол с раздетым языком
швырял слюной, на привязи пляша,
так небо падает горящим дуршлагом
и три секунды не дает дышать.

и кто-то говорит, крича:
– Что мне с того, что я насквозь проколот?
Я весь из букв.
Я утолю твой голод
и осветю твой стол.
Я – римская свеча.

Говорящий образ свечи (ср. у А. Тарковского: «Я свеча, я сгорел на пиру...») рождает емкую метафору утраты культурной связи, культурной преемственности: жестокий ритуал адаптирован к увеселительному процессу. В автокомментарии Гейде пишет: «В данном случае ключевая метафора текста возникла в процессе чтения сказки Оскара Уальда «The Remarkable Rocket», когда автор обратил внимание на то, что названия пиротехнических приспособлений в английском (а отчасти и русском) языке отсылают к христианской мартирологии: The Catherine Wheel (Колесо Св. Катерины), The Roman Candle (Римская свеча) – фактически речь идет о превращении обычая, практикуемого римлянами в первые века, во времена гонения христианства, – освещать пиршества обмазанными смолой и подожженными телами христиан – во вполне мирную праздничную забаву – фейерверк (не путать с салютом)». При этом именно фейерверк оказывается носителем мистерии и, как комментирует Гейде, между фейерверком и ландшафтом происходит основной конфликт. Можно сказать, что Гейде диалектически развивает макабричность Элиота: «Мы полые люди... <...> Смысла нет в наших толках...» (пер. С. Степанова), а зона живого смысла уходит из ландшафта (физического, реального мира) в фейерверк (вещный, метафизический мир).

Тем временем мир физический переживает у Гейде каждодневный частный, внутренний Аушвиц. Можно ли писать стихи после того, как тридцать человек смотрели, как среди бела дня в центре города женщину забили на смерть?

Одну женщину по имени Кити Дженовезе
Ногами забили посреди большого города.
Тридцать восемь человек смотрели на это из окон,

Они даже не вышли из подъезда...

...Что сказать о людях еще?
Сказать, что они ублюдки,
Или что я люблю их?

Во всяком случае, те, кто спали, – не в счет.

Персонаж Гейде, ощущая разрыв между реальностью, противоречащей пониманию человечности, и зоной культуры, преломления смыслов, пытается «вернуть» жизнь, вернуть смыслы в физическую сферу, «сшить» оба мира воедино:

Забыто начисто немецкое наречье,
А мы зато заговорим на птичьем,
Обычай у людей, известно дело –
Мучить и увечить,
И скоро нам наскучит.
.....

В мире есть разные зеркала,
Во все смотреть не стоит,
Этот кофе скоро стынет,

Скоро станет ледяным,
Было у старика и старухи три сына,
Все трое стали дым,
Было у царя три сына,
Эти тоже стали дым,
Невыносимо, невыносимо, невыносимо,
А мы снова повторим:
Мы горим и говорим,
Погорим и догорим,
Договорим и догорим.

Такой мучительный катарсис автоматически вызывает параллель с желанием Мандельштама «своею кровью склеить двух столетий позвонки». Лирический герой Гейде вослед герою Мандельштама выступает именно в этой роли «соединителя», возвращающего жизнь туда, где ее нет, восстановителя непрерывности культурной цепи с помощью искусства. Метафорой «возврата через искусство» служит ключевое слово «говорить» (противопоставленное молчанию). Разница в том, что для Мандельштама носителем жизни является предыдущий век, а для Гейде жизнь сосредоточена в метафизическом отражении реального мира; соответственно, Мандельштам «склеивает» два столетия, а Гейде разрешает конфликт, соединяя реальный и ирреальный, метафизический миры. Допущение о противопоставлении и столкновении реальности и метафизики заставляет отметить еще одну переключку с Элиотом и его эволюцией 20-х годов. Если в ранних произведениях мир Элиота напоминает дантовский «Ад» – это мир полых людей и бесплодной земли, то в 20-х в сознании Элиота происходит перелом: он обращается к поиску положительных ценностей (в религии, классической культуре), противопоставляя их реальности.

Логичный вопрос: если Мандельштам в 1923 году остро чувствует разобщенность двух веков и разрыв культурного процесса, что обусловлено значительными социальными и культурными потрясениями (революция, первая мировая война), то почему это вновь становится актуальным для Гейде? Быть может, потому, что Гейде принадлежит к поколению родившихся в 80-е, а на долю нашего поколения выпала уникальная социокультурная ситуация.

Мандельштам встретил революцию молодым, но совершенно сложившимся человеком. Поколение, предшествующее нашему, поколение 30-летних, чья юность пришлась на период распада Советского Союза, пережило смену ориентиров будучи уже сформировавшимися личностями с четким представлением об истинных и мнимых ценностях. Старый мир рухнул, но ценности остались или адаптировались к новым реалиям. Наше же поколение столкнулось с кризисной ситуацией в практически детском возрасте: система ценностей не успела развиться до такой степени, чтобы успеть перестроиться. Ее развитие как раз совпало с ситуацией разлома двух периодов культуры. Поэтому и система ценностей в принципе базируется на ощущении кризиса и нестабильности социальных и культурных процессов и ищет выхода – иного направления построения культуры.

Принципиальная новизна поэтики Гейде – как раз в попытке предъявить реальности свои претензии, разложить по полочкам ее антигуманность и разобщенность; в осознании заката культуры (понимаемой как жизнь) и старания «сшить, склеить» ее с предыдущей, восстановив непрерывность культурного процесса. Герой Гейде берется восстанавливать культурную связь – и оказывается, что «жизнь» никуда не пропала, просто переселилась из людей – в вещи и понятия. Тут лирический субъект принимает на себя обязанность «своею кровью склеить двух столетий позвонки» и – пугало посреди пустого мира – начинает петь.



Евгений СИДОРОВ

СВЕТЛЫЙ ДАР

Евгений Храмов. Куда вы уходите, люди. – М.: Булат, 2007.

Евгений Львович Храмов (1932-2001), поэт по судьбе и призванию, был одним из самых светлых людей, повстречавшихся мне в жизни.

Он излучал культуру и доброжелательность. В нем каким-то непостижимым образом воскрес дух XIX века, первой его половины. Он был повесой, но больше всего на свете любил хорошие стихи и вообще литературу. Москвич с Кривоарбатского переулка, он ощущал себя арбатским дворянином (в стиле Булата Окуджавы, с которым приятельствовал) и являлся отменным знатоком отечественной истории. Я не говорю уже о шахматах: кандидат в мастера (среди профессиональных литераторов это редкость), Храмов играл на первой доске у нас на юридическом факультете МГУ и, конечно же, в последующих писательских турнирных ристалищах.

И еще один талант, ему присущий, – талант дружбы. С какой неподдельно сердечной интонацией он говорил и писал о своих товарищах по поэтическому цеху: Олеге Дмитриеве, Владимире Кострове, Дмитриии Сухареве! На вечере его памяти ЦДЛ ломился от публики разных возрастов – друзья, воспитанники из его литературной студии, почитатели поэтического таланта. Читали стихи Храмова. Я выбрал вот это, которое впервые услышал от него у себя дома, в коммуналке на Таганке, в шестьдесят первом году:

Как в родном селе Хотьково
от рябин в глазах рябит.
Крепкий месяц, как подковой,
над рябинами прибит.

Мне нравится, как Женя виртуозно строит стих, празднично играющий рябиновой аллитерацией.

Но вот – сюжет, стихотворение движется дальше:

В клубе женщина рыдает –
итальянское кино,
и село мое страдает
с итальянкой заодно.

Поэта, городского человека, это мало трогает. Он уже видел фильм, у него другие намерения. Но сама картинка русского женского сострадания героине неореалистического фильма весьма красноречива при минимуме поэтических средств.

Наконец –

Отстрадает итальянка,
И тогда, на радость мне,
Начинается гулянка –
деревенская вполне.
Как выходит справа пава,
да как слева – королева,
То ли мне идти направо,
То ли мне идти налево.

Начинаешь понимать, почему стих вновь обретает акцентированную фонетическую музыку, слегка отодвинутую на время итальянским фильмом. Внезапная прозаическая перебивка все объясняет:

А посередине – Тамара Коновалова.

Замечательна эта эффектная пауза. Деревенская кадрили замирает на мгновение, и мы вместе с поэтом смотрим на красавицу Тамару, слегка сопережи-

вая его порыву, но и не принимая совсем уж всерьез последующую любовную неудачу автора (или героя). Слишком артистична картина, слишком много поэзии и элегантно юмора в стихе, чтобы быть простой житейской правдой. И это очень хорошо!

Вдова поэта Людмила Кренкель и Рита Вебер составили книгу «Куда вы уходите, люди», вобравшую избранные стихотворения Храмова, некоторые его переводы, мемуарные обрывки, письма к автору и заметки о его творчестве. Книга получилась содержательной, раскрывающей разные грани жизни и облика поэта.

В письме Храмову от 27 июня 1988 года Давид Самойлов пишет: «...медитации в поэзии надоели, и надо писать сюжетные стихи. Эта стихотворная проза «случаев из жизни» мне всегда интересна, ибо жизненных фактов намного больше, чем поэтических мыслей. Поэт даже в интимной и философической лирике должен быть «погружен в среду». Мне это по душе. Ты пишешь стихотворный роман своей жизни, и читать его мне интересно».

Но мне выдано это время,
этих дней черно-белых вязь,
чтоб делил я его со всеми,
не печалюсь и не хвальнось,

чтоб сказал на листе бумажном
обо всем, что было со мной,
а в скольких там томах – неважно.
Может, даже строкой одной.

Храмов, конечно, знал себе цену; его скромность шла от воспитания, не была показной или расчетливой. Лучшие его стихотворения звучат в памяти долгие годы. «Да здравствует русская проза...»; «Стихи поручика Турбина» («Прощай! Мы уходим, Россия, Россия, Россия!»); «Поэты» («А Кюхельбекер слепнул за Уралом»); «Есть в тишине московских переулков...»; «Соловей» («Дух диванных и гостиных тех особняков старинных...»); «Человек, приглядишься к человеку, – вот что надобно прежде всего»; «Посмотрите, как красиво эта женщина идет...» и другое. Дорогие строки рассыпаны по книге, в них – негромкая любовь к отчизне, к ее старикам; почтительное восхищение Пушкиным, Ходасевичем...

Особая статья – переводы, о которых Храмов в свое золотое время сказал с грустным предчувствием: «...иль хмуру уйдешь в переводы, как старая лошадь в обоз». Однако переводческая работа поэта стала творческим и весьма интересным сюжетом его жизни. Он переводил и стихи, и прозу: К.И. Галчинского, Р.М. Рильке, Генри Миллера.

Никогда в жизни я не слышал, чтобы Храмов сказал дурное слово о каком-нибудь человеке. Он был деятельно отзывчив: когда я и моя будущая жена временно оказались без жилья, Женя с Люсей тут же предложили нам поселиться в их квартире на Якиманке. Жест поэтический и человеческий.

Его закатные стихи, когда болезнь уже выносила свой приговор, полны печалью прощания, но нигде он не теряет мужества перед лицом неизбежного: «Так что оставляю я, когда меня не будет?»; «Осенняя песенка» – эти стихотворения одни из лучших в книге.

Доброе вчувствование в человека естественно усиливается у друзей после его ухода. Тут возможны простительные преувеличения, но, что странно, в случае Храмова они бессильны. Поэт словно бы смотрит на нас с иронией и поощряет: «Давайте, давайте, ребята, ведь при жизни я бы такого никогда вам не позволил, да и вы были не слишком любезны и внимательны ко мне».

И тогда ты понимаешь, что и здесь вкус ему не изменил.



Андрей ВОЛОС

Больше раствора?

О КНИГЕ СЕРГЕЯ ФИЛАТОВА «ПО ОБЕ СТОРОНЫ»

За горами, за долами, за морями, за таможнями – стоит на краю обрыва старинный храм. Солнце всходит на востоке от него, садится на западе. Так же оно всходило и закатывалось, когда кто-то положил первый камень в основание.

Возводили храм шестьсот лет. Закончить долгострой мешали многочисленные исторические обстоятельства. Только двинется работа – найдут на страну персы. Либо монголы. Либо иные завоеватели. Война есть война, ничего не попишешь. Тех, кто за оружие схватился, убьют. А иных мужчин, что покрепче – среди них и каменщиков, – уведут в полон...

Потечет глухое время ига. Но мало-помалу исчерпается. Начнет жизнь приходить в себя, возвращаться в нормальное русло. Подросшие подмастерья примутся осваивать начала ремесла. Трудно им будет самим, без навыки мастера... Но все же мало-помалу просыпается стройка. Сначала через силу, на надрыве. Потом чуть живее идет дело, сноровистей – точнее ложатся камни, изящнее выглядит кладка...

Как вдруг на тебе: снова войско чужеземное приходит!

Прежний подмастерье, отрастивший усы и уж совсем было ставший мастером, берет меч, лук, колчан, садится на коня... а через двадцать не то тридцать лет подросший его сын, чудом выживший мальцом в недавнее лихолетье, примеряется к отцовской работе, раскидывает собственным умом: как ловчее колотить неподатливый камень? каким боком класть?.. Показать-то ему некому, отец с войны не вернулся. Недоуменно глядит он на высокие образцы, оставленные дедами, – нет у него ни опыта, ни сноровки, чтобы понять их строгие законы...

В общем, ходишь вокруг этого удивительного храма – история сама лезет в глаза. Вот фундамент. Крепкий фундамент, из гладких, чистых, любовно, без спешки отесанных глыб. На фундаменте – несколько рядов виртуозной кладки. Каждый камень резан по-особому. На каждом камне свой рельеф – здесь тигр рвет лань, там витязь рубит тигра. Конечно, время чуть попортило остроту наведенных некогда фасок. Но все равно – посмотришь и ахнешь: красота! мастерство!

И вдруг – три следующих ряда из каких-то кривых булыганов. Ну вот будто вчера их принесли от реки. Раствора наплюхали побольше – да и сунули как есть. Сикось-накось. Криво. Через пень-колоду, что называется...

А! – смекаешь. – Это, должно быть, именно после персов... когда заново учились... точно!

Но жизнь-то не кончается. Уходит на время в песок, стынет, прячется, скрадывает самое себя. А все же когда-нибудь снова пробьется...

И вот опять – ряд за рядом, ряд за рядом... Каждый следующий точнее и чище предыдущего... каждый ровнее и надежнее... вот уже и резец робко коснулся грани правильного известнякового параллелепипеда... вот уже и кудря-

вую лозу пустил мастер по отшлифованной плоскости... и тигр выглядит из густых зарослей... и витязь скачет на коне!..

Бац!

Опять булыганы, валуны, черт-те какое нагромождение, сделанное хоть и старательной, хоть и богобоязненной, но явно неумелой рукой...

А! – смекаешь. – Турки-сельджуки навалились, жизнь сломали... все испортили...

Впрочем, чуть выше – явные знаки, что она кое-как начала восстанавливаться... А еще выше – уже и довольно ровненько... А вот уж, стало быть, и резьба!..

Потом снова булыганы. Снова, значит, все прахом пошло... И все же – гляди-ка! – кое-как выправилось!..

И такими слоями уродства и красоты – до самого верха, до креста.

Удивительный это храм.

Почему-то именно он то и дело вспоминался, когда я читал книгу Сергея Александровича Филатова «По обе стороны...» (М., 2006).

Надо сказать, не такое уж легкое чтение.

Да что там – не такое уж легкое. Прямо скажем – трудное чтение. Тяжелое.

И дело совсем не в том, что по составу книга разнородна, как может быть разнородно сочинение человека, стремившегося втиснуть под одну обложку всю свою жизнь: все убеждения, все надежды, все разочарования... всех друзей, всех противников... и снова надежды, и снова разочарования... все завоевания, все поражения и утраты... и снова надежды.

От этой тяжести не избавляет ни ясный язык, ни то, что можно было бы назвать живостью изложения, – если бы не чинность, временами даже сугубая практическая слога, сквозь которую брезжит убеждение автора, что трактуемые им предметы не требуют искусственного оживления, поскольку относятся к самой жизни.

Да, к жизни. По большей части – к жизни политической.

Конечно же – в России нужно жить долго. Но, как долго ни живи, все равно будешь жить в удивительное время. Такая страна, никуда не деться.

Страна – и политика. Политика – и власть. Власть – и люди. Вот треугольник (замкнутый, разумеется, как всякий треугольник, по определению), в котором автор пытается найти линию, которая бы выводила к свету. Может быть, это одна из медиан? Да нет, какие уж медианы при таком-то уровне коррупции... стороны делаются далеко, далеко не поровну. Одна из высот? – бросьте, где уж здесь высоты: «Романтизм из власти ушел. Но ушел и прагматизм. Их сменил цинизм». Тогда, возможно, в числе биссектрис есть искомая?.. Еще раз пролистав книгу, только тяжело вздохнешь.

«Власть отвратительна...» – убежденно сказал поэт. Но не уточнил: отвратительна для властвующих? или для подвластных?

Очень спокойным, очень трезвым голосом автор говорит о том, что снова пришло время собирать камни – собирать камни на берегах рек. Потому что утрачены инструменты, запрещены, забыты, поруганы навыки, позволявшие некоторое время назад пытаться отесывать известняковые глыбы.

Впрочем, о мастерстве былых (совсем недавних) каменотесов автор тоже не весьма высокого мнения. Он понимает: они были честны. Или старались быть таковыми. Но честность не искупает неумелости – им ведь тоже не у кого было научиться...

В общем, печальная какая-то книга. При всей взвешенности оценок. При всей рассудочности изложения. Печальная, да.

«Эта политическая система не новинка в мире, она применялась в некоторых странах. При ней оппозиция заседает в парламенте, а не сидит в тюрьме, регулярно проводятся выборы, нет массовых репрессий, существует свободная пресса, но с ограниченной аудиторией, можно критиковать правительство, нет пожизненного диктатора, и политическая элита заранее договаривается о механизмах передачи власти. Именно такую систему

сформировали в нашей стране чиновники Кремля, и, похоже, она предназначена существовать ближайшие годы».

Так говорит автор.

Однако социологические опросы показывают, что все большая часть россиян желает пожизненного правления нынешнего президента. Уже чуть ли не каждый третий желает. То есть не нужен теперь вообще никакой механизм передачи власти.

Вот уж действительно: «Жизнь опережает мечту»! Правда ли это? – правда. Истина? – так точно.

Ну и хорошо, коли так...

Но нам-то что делать? – нам, кого Бог догадал родиться здесь, в России... ну пусть не с талантом, нет!.. но с какой-никакой все-таки душой! Ведь все-таки с душой, а? Что нам-то делать?!

Вероятно, все то же самое.

Нельзя тесать – клади как есть.

Раствору побольше – плюх, и готово.



Григорий ЗАСЛАВСКИЙ

Мечта о невесомости

Из Канады в Москву по приглашению Чеховского фестиваля впервые приехал театр Робера Лепаж *Ex Machina*. Один известный режиссер спросил меня после спектакля: «А чем занимался Чеховский фестиваль раньше, если Лепаж они привезли только сейчас?» Пришлось рассказать, что «раньше» благодаря Чеховскому фестивалю в Москве побывали Петер Штайн, Андрей Щербан, Мэтью Боурн, Ариан Мнушкин, Деклан Доннеллан и многие-многие другие. Находясь в Москве, на каком-то обеде Доннеллан назвал Лепаж режиссером №1 сегодняшнего театра. Понятна относительность такого рода «рейтингов»: здесь важно признание коллеги. Валерий Шадрин, директор Фестиваля имени Чехова, давно уже пытался позвать Лепаж в Москву, но Лепаж стоит дорого. Даже свой моноспектакль «Обратная сторона Луны», с которого начались нынешние гастроли театра *Ex Machina*, Лепаж сумел напичкать техникой, что называется, под завязку.

Пять спектаклей на сцене МХТ имени Чехова, после каждого – долгая овация, в первый вечер, можно сказать, равно адресованная и Лепажу, который, было видно, готов был прослезиться от такого приема, и дважды герою Советского Союза летчику-космонавту СССР Алексею Леонову. Леонов – один из героев спектакля Лепаж, хотя познакомились они в Москве прошедшей зимой, когда Лепаж приехал в Россию выбрать площадку и в посольстве Канады был устроен прием в его честь. Занятно было видеть, как режиссер бросал «случайные» взгляды, наблюдая за человеком, который первым вышел в открытый космос. Герой Лепаж из «Обратной стороны Луны» мечтает встретиться с Леоновым, чтобы поговорить с ним о том, как это – жить после того, как случилось в твоей жизни самое главное... И что вообще такое – главное в жизни? Спектакль Лепаж – о двух братьях, которые находятся в вялотекущей ссоре, общаются, но не дружат, в данный момент – делят наследство только что умершей матери. Один – богатый – ведет метеонювости на телевидении, другой – куда менее успешный – увлечен какими-то завиральными космическими идеями, пытается (на наших глазах) защитить диссертацию о Циолковском, космические теории которого будто бы выросли из детской любви к сказкам... И вот теперь этот, малоуспешный, попросту говоря – неудачник, или – на идише – шлемазл, чем-то похожий на героев Вуди Аллена (а еще – чуть-чуть – на нашего Гришковца), сидит в баре отеля в Монреале, где остановился Алексей Леонов, ждет встречи с ним и ведет нескончаемый диалог то ли с барменом, то ли с официантом. «Я жду здесь Алексея Леонова... Это – очень известный человек... Нет, он не хоккеист, он – космонавт... Да, у русских тоже была программа освоения космоса, почти одновременно с американцами... Откуда я это знаю? Это все знают... Нет, он не астронавт, он – космонавт. Это не одно и то же. Астронавт – тот, который летит к звездам, а космос – это гармония, красота, поэтому космос и косметика – слова одного корня. Но космонавт – это не значит «в поисках косметики», это – «в поисках гармонии, красоты»... В слове «космонавт» есть что-то вдохновенное, а астронавт... Тот, которого хорошо профинансировали». Зал смеется, зал замирает, кто-то смахивает слезу, потому что спектакль Лепаж – это горький рассказ о смерти матери. Воспоминаниями о ней и болью пронизан весь спектакль...

В «Обратной стороне Луны» Лепаж играет и обоих братьев, «уподобленных» двум сторонам Луны, их молодую мать, только что ушедшую из жизни, как утверждает врач (которого тоже играет Лепаж), по собственной воле, то есть покончившую самоубийством, короче говоря – всех. Но прежде чем о самом спектакле, следует сказать о тексте, поразительном, чрезвычайно поэтическом (или – поэтичном?). В нем увлечение автора научно-техническим прогрессом (в данном случае – советской программой освоения космоса) не отменяет юмора, а юмор мирно сосуществует с трезвостью неожиданно жестоких суждений (например, герой говорит: когда родители умирают, вдруг выясняется, что они, того не желая, закрывали собой горизонт; и в этих словах жестокость к родителям – одновременно и жестокость к самому себе).

Чрезвычайно простой, составленный из череды монологов, спектакль Лепаж вместе с тем и чрезвычайно сложен. Монологи здесь – это каждый раз «половина разговора», другую часть которого мы легко достраиваем по ответам одного из участников, того, который в данную минуту на сцене обращается к кому-то, кто сейчас «за кадром» или «висит» на другой телефонной трубке. Диалог, в котором один не видит или не слышит другого, хотя вроде бы хочет услышать и понять. Пронзительность детской мечты полететь в космос, знакомая, вероятно, не только советским детям, которые сгрудились вокруг радиоприемников, прислушиваясь к рассказу о первом полете в космос (с хорошо нам знакомым «Поехали!»), но, как выясняется, и их ровесникам по ту сторону океана. Конфликт двух братьев – метафора состязания США и СССР в покорении космоса, где «Союз» и «Аполлон», соединившись на какое-то космическое мгновение, снова разлетелись по своим разным орбитам... Детский взгляд и детские воспоминания то и дело возвращаются в спектакль, где и сам космонавт уподоблен ребенку. Мать, которую играет Лепаж, обращается с ним как с новорожденным: отрывает трос-пуповину и шлепает по попе, отправляя жить. Тоска по бесконечности и другим мирам сочетается в спектакле с пониманием, что надо как-то смириться и искать смысл жизни в этом мире, увы, конечном.

Лепаж – режиссер, которого совершенно не с кем сравнить. Вроде бы простая история – как в «Обратной стороне Луны» – у него все время «заглядывает» то в одну, то в другую сторону. Он то возвращается в детство двух братьев, чтобы разыграть пантомиму, в которой Андре, нынешний телеведущий, заводит какую-то детскую механическую игрушку, исполняющую, если ее завести, «Лунную сонату» Бетховена, слушает джаз, пробует курить и – со всеми вытекающими подробностями – любовно листает страницы эротического журнала, спрятанного от чужих глаз на полу, под этажеркой. Этажерка разделяет их с братом комнату, и мать назвала ее поэтому «стеной позора». А у брата вдруг обнаруживают опухоль в мозгу, и теперь он вынужден регулярно проходить рентгенологическое обследование... В кабинете Лепаж в Квебеке – не только многочисленные альбомы и книги на русском, но и целые полки, заставленные журналами, по содержанию схожими с нашими «Наукой и жизнью», «Химией и жизнью»; новости нейрохирургии и даже отоларингологии ему тоже очень интересны. Узнавая что-то новое, он спешит поделиться со зрителями (в его новом спектакле «Дубляж», который, бог даст, придет в Москву на следующий Чеховский фестиваль, немало места уделено технике «имитации» голоса, необходимой людям, в силу разных причин голоса лишенным, – такой аппарат, кстати, был изготовлен для Иоанна Павла Второго, ставшего одним из эпизодических героев спектакля). Эта наукоемкость уже не только спектаклей, но шире – театра Лепаж – и делает его *несравнимым*. Хрупкость и беспомощность человека на фоне всемогущих высоких технологий, смешная конечность жизни и печальное одиночество человека во Вселенной – обо всем этом он рассуждает с воодушевлением знатока и простодушием своего alter ego, лузера или шлемазла, которого может вывести на сцену в «чужом», актерском обличье, а может выйти и сам, как это делает Вуди Аллен.

Получается, сделать шаг в открытый космос – чуть ли не проще, чем помириться с братом. Узнав, что в его отсутствие – он улетел в Москву, на какую-то научную конференцию, – брат «уморил» золотую рыбку, Филипп кричит на Андре, что рыбка – единственное живое существо, которое связывало его с покойной матерью. А тот совершенно справедливо замечает: единственное живое существо, которое связывает его с матерью, это – он, его брат Андре...

Финальная сцена «погружается» в аплодисменты и трогает до слез. Заезженная музыка «Лунной сонаты» (рыбку, которая тоже умерла, мать, выигравшая ее в какую-то лотерею, назвала почему-то Бетховеном!) тут – снова! – оказывается кстати. Ожидая своего рейса в московском аэропорту, герой Лепаж вдруг ощущает невесомость: лежа на полу и отраженный в зеркале, над ним нависшем, Лепаж проделывает этот головокружительный и, в общем, незамысловатый фокус. Он катается по полу, а в зеркале – отрывается от своего кресла и парит, парит, задевает рукой или ногой баллон с питьевой водой, и тот тоже катится по полу, а в зеркале кажется – будто взлетает вверх.

Мечта сбывается. Как только в сказках бывает. А теперь еще – в спектаклях Лепаж.



Октябрь

Уважаемые читатели!

Подписку на журнал «Октябрь» можно оформить
в любом почтовом отделении

по Объединенному каталогу "Пресса России"

подписка на полугодие – индекс **73293**

годовая подписка – индекс **72375**

по каталогу "Почта России"

подписка на полугодие – индекс **12624**

По льготной цене в редакции
(Москва, ул. Правды, 11/13) можно
подписаться на журнал с очередного номера
или купить отдельные номера журнала
Справки по тел. (095) 614 31 23.

За рубежом

журнал «Октябрь» распространяет американская фирма
«Ист Вью Пабליкейшенс» (East View Publications, Inc.
3020 Harbor Lane, North Minneapolis, MN 55447 USA
Tel. (612) 550 09 61, fax (612) 559 29 31)
Тел в Москве (095) 777 65 58, факс (095) 318 08 81

Круглый год

Читайте в следующем номере

НОВУЮ
ПОВЕСТЬ
АЛЕКСАНДРА
ХУРГИНА



Индекс 73293

ISSN0132-0637. Октябрь, 2007. №9. 1-192
Отпечатано в ОАО "Типография "Новости"